

ВИКТОР КОРОТАЕВ

КОЗЫРНАЯ ДАМА

(Почти документальная повесть с эпилогом
о том, как убили поэта Н. М. Рубцова)

Вологда ИЧП «Крис-Кричфалуший» 1991

Часть I

Ж И З Н Ь

I

В последнее время ему снились тяжелые и нелепые сны. Будто он сидит в тюрьме и не помнит — за что. И главное, не знает, сколько осталось до конца срока. Это тяготит больше всего. И он пристаёт к надзирателям, молит, чтобы сказали точно, когда освободят. Но те сами не знают. Говорят: «Сиди. Кончится срок — выпустим...» И от ужаса, что замурован навечно, Рубцов просыпается.

Ему хочется, не медля, куда-нибудь уехать, уйти, забиться в глушь, где никто его не помнит и не знает. Хочется укрыться от опостылевших крикливых и любопытствующих соседок; не встречаться с прыщавым вислогубым домоуправом, который всякий раз напомнит при встрече, что подходит черед мыть лестницу или отрабатывать на субботнике по благоустройству их образцового двора; или ещё придумает какую-нибудь зацепку, но без назидания либо замечания мимо не пропустит. Уехать бы от всего этого...

Но уезжать все труднее. И не потому, что стал тяжел на подъем. Нет, другое...

Не первый раз нахлынуло это в пути... А перепады атмосферного давления, похоже, содействовали накотившему безумию. Вдруг нестерпимо захотелось лететь туда, где осталась эта рыжеволосая, пышногрудая бестия. И откуда она взялась? Как узнала адрес? Ведь он почти не задерживался на одном месте и часто сам не знал, не предполагал даже, где окажется через месяц, через неделю, через день... Его раскручивало все неистовее и чаще, и он обнаруживал себя то на Архангельском причале, то на берегу Катуня, то в каракумских дюнах.

А она каким-то звериным нюхом почувствовала: искать надо здесь. Знала, что, где бы ни носило его неумную просквоженную душу, он непременно вернется сюда. «Был в этой женщине

знак провидения», — неожиданно для себя заключил он стихотворной строчкой.

Они познакомились в Москве в общежитии Литературного института, куда его вызвали на очередную сессию. Экзамены остались позади, а впереди снова зияла неопределенность — где жить, чем заняться, кроме стихов, которые едва могли прокормить своих создателей.

В комнате было душно, хотя окна почти не закрывались. Стоял горячий полдень, и плотный зной над деревьями зримо дрожал, как колеблемая ветром синяя марля. Рубцов курил, облокотясь на подоконник, и наблюдал за колебаниями этой марли, а за спиной гомонили сокурсники и все приставали к нему, требуя участия в общем разговоре.

— Рубцов опять нетленку гонит? — обнял его за плечи сосед по комнате, зная привычку того сочинять без ручки и бумаги, прокручивая строчки в голове.

— Драмоделам этого не понять, — огрызнулся Николай, норовя задеть за живое молодого драматурга, пьесы которого часто ругали на обсуждениях.

— Да, говорят, я пал, — не впервые пожаловался этот простодушный парень.

— Скорее не успел подняться, — поправил Рубцов, — но не переживай. Ты еще зеленый, а зелень — цвет роста. Так что все впереди.

— Мне жениться пора, Коля. Давно ждет девушка, а все не могу выбиться в люди, — в его нетрезвых словах было столько жалости и доверия, что Рубцов расхохотался:

— А с выбором надо осторожней. Я знаю, жены драмоделов смотрят на произведения супругов только с одной стороны: сколько из новой пьесы выкроишь новых юбок.

— Не все такие!

— Может быть. Но чаще именно драматургические жены носят на шеях по целому состоянию.

— Ты женоненавистник, Рубцов.

— Напротив. Я боготворю истинных жриц любви. И когда встречаю высокую красивую женщину, мне хочется встать на цыпочки.

— А надо падать на колени!

— Падать не надо ни перед кем. Привыкли к театральности на сцене, не можете от нее отделаться и в жизни. С современной женщиной надо держать ухо востро, — Рубцов в упор взглянул на собеседника.

— Их положено боготворить вообще-то, — недовольно промычал драматург.

— Вообще-то положено... было. Но времена меняются. И приходится вносить поправки, чтоб не выглядеть окончательным лопухом.

— То есть?

— Современные женщины умудряются изменять не только мужьям, но и любовникам.

— Тебя кто-то крепко обидел, Коля,— пожалел драматург.

Рубцов замолчал, хотя хотелось сегодня дерзить, и он с утра этим только и занимался. А тут потускнел, склонил преждевременно облетевшую голову и вздохнул:

— Может, ты и прав. Что-то слишком много накопилось яду.

И сделался неожиданно покорным, тихим, легко поддался уговору соседа и присоединился к застолью, молча слушал разгоряченных однокашников, которые шумели и размахивали руками, но пока еще сохраняли в разговоре здравый смысл и сочность фразы.

Вспомнились собственные стихи:

*О чем шумят
Друзья мои, поэты,
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.*

*Уже их мысли
Силой налились!
С чего ж начнут?
Какое слово скажут?
Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!*

А друзья между тем расходились все больше.

— Этот поэт холоден, как кафельный пол,— утверждал один.

— Он настолько рационален, что даже в поздравительном тексте ищет грамматические ошибки,— поддержал другой.

Третий возражал второму и защищал обсуждаемого:

— Он не холодный, а разумный. Вещи разные. Неужели лучше изъясняться слогом прежних романтиков вроде: «Она мечтала жить во дворце моего сердца, а поселилась в его развалинах»?

— Зачем передергивать! — набрасывались на него, и конца этим спорам не было видно.

Рубцов не заметил, как она появилась в их комнате и кто ее привел, но когда взгляды их встретились, невольно замер. Что тогда поразило в ней, он бы, наверное, не смог ответить. Но она так смело и прямо смотрела в глаза незнакомого мужчины, что Рубцов сначала ступешался и только потом, с опозданием, поклонился, до конца не овладев собой. Долго и подробно разглядывал ее уже позднее.

Ярко-рыжие выющиеся волосы незнакомки рассыпались по плечам, и высокая грудь распирала тесноватую кофточку с незамысловатой кружевной отделкой. Крепкие и крупные колени в светлом капроне вызываяще розовели.

«Ядреная девица,— подумал Рубцов возбужденно.— Эта в обиду себя не даст. Но почему так долго молчит? Ведь ни одного звука не произнесла, а сидит не меньше получаса»,— и строго прикрикнул на своих товарищей:

— Может, вы дадите слово гостье? — А на нее посмотрел в упор.— Все-таки хозяин комнаты я.

Она, похоже, засмушалась и кротко улыбнулась.

— Спасибо, я лучше послушаю,— пролепетала еле слышно, и Рубцов обомлел: у нее оказался ангельский голос.

«Прямо глас небес» — забеспокоился он, и неодолимо захотелось слушать и слушать ее.

— Ну хоть скажите, кто вы и откуда?

— Из Вологодской области,— откликнулась она.

— Не может быть,— изумился Рубцов.— Я сам оттуда. Значит, землячка?

— Выходит так,— тоненько засмеялась она, и он снова изумился мелодичности ее смеха.

«Господи, действительно ангел»,— внутренне простонал он, загораясь все больше.

— А из каких мест? — любопытство его возрастало.

— Из Верховажья.

— Так вы ж моя соседка, Верховажье рядом с Тотьмой! — он почему-то обрадовался этому особенно.

— А зовут вас, наверное, Вера? — в радостном ожидании спросил Рубцов, предчувствуя согласный ответ.

— Нет, Надя,— возразила игриво гостья.

— Не намного ошибся: все равно из классической тройки. А вы что, живете в этом общежитии?

— Нет, я пришла по делу, а хозяина дома не оказалось.

— Наверное, стихи показать принесли? — догадался Рубцов.

— Принесла,— с некоторым вызовом ответила Надя.

— Так покажите нам, мы в них тоже немного кумекаем.

— Правда, правда, почитайте,— поддержали Рубцова остальные.— Мы-то друг дружке давно надоели.

— Смотря кто кому,— уточнил Рубцов, и студенты притихли; она поняла, что авторитет его здесь велик.

— Вы можете и не читать,— помог Рубцов, заметив заминку.— Даже лучше читать с листа... А то такой голос может и без стихов вскружить голову.

Она опять тоненько засмеялась, явно польщенная, однако оговорила на всякий случай:

— Скажете тоже...

— Но ведь не наврал же. Наверняка, вам и до меня это говорили.

— Бывало...

— Так что вы привыкли к комплиментам.

— К этому привыкнуть невозможно.

— Согласен, это щекочет всегда,— сказал небрежно Рубцов.— И может зашекотать насмерть,— закончил уже ядовито.

— Мне, по-моему, не грозит,— посерьезнев, призналась она.

— Всем грозит, да не все понимают опасность,— на этот раз он вложил в слова какой-то потаенный смысл, и она почувствовала, и даже на время замолчала, не смея размыывать игривостью серьезность сказанного.

— У вас много друзей в Москве? — спросил Рубцов почему-то.

— Почти никого.

— Тогда нам лучше держаться вместе. У меня — тоже,— невольно пожаловался он.

— А мне показалось...

— Мало ли что может показаться,— перебил он; бегло, но с вызовом оглядел собравшихся, и она поняла, что со своими сокашниками Рубцов церемонился не лишка. Ей сделалось неловко, и она встала.

— Вы нас покидаете?

— Мне надо зайти еще к одному человеку,— вроде оправдываясь, проговорила она.

— Я провожу вас,— твердо сказал Рубцов, и она поняла, что возражать бессмысленно: этот не отступит.

Они спустились этажом ниже, и она несколько раз безуспешно постучала в обшарпанную запертую дверь. На лице ее появилась не только растерянность, но и досада, даже обида.

— Да что это такое? — похоже, закипела она.— Пригласить, а самому не явиться.

— М-да,— протянул Рубцов.— Поцелуй пробой да иди домой.

— Он еще об этом пожалеет! — заявила она, и в ее ангельском голосе зазвенели металлические нотки. Крупные голубова-

тые глаза отвердели, и от них потянуло сталистым холодком. А может, так показалось, потому что в коридоре было прохладней и сумрачней, чем в комнате.

— А вы не такая уж кроткая, — посмотрел на нее подозрительно Рубцов. — А, Надя?

— Я не кроткая совсем, — резко сказала она. — Скорее наоборот.

— Чем же вам помочь? — забеспокоился он. — Может, передать что?

— Я привыкла обходиться без помощи.

— Ну, зачем же так расстраиваться, — угадал он ее состояние.

— Простите, — помягчала она. — Но так все нелепо...

— К кому мы стучали?

— К Александру Городкову, — настороженно ответила Надя, — а что?

Рубцов внимательно посмотрел на нее и снисходительно улыбнулся. Он знал этого селадона, выпивоху, необязательного и болтливового человека, известного крикливыми стишками, которые тот с удовольствием читал в людных компаниях, особенно в присутствии неопытных девушек, искренне заглатывающих любую рифмованную чепуху. «Нашла из-за кого терзаться», — насмешливо посмотрел Рубцов на статную и выразительную спутницу, и нечто вроде зависти или ревности шевельнулось в нем ощутимо и неприятно. «Этого еще не хватало», — укорил он себя тут же и отвлекся на проходящего по коридору знакомого лохматого парня.

— Послушай, — остановил его и отвел в сторону. — Не знаешь, где Городков? Тут к нему гостья.

— Вижу, — усмехнулся парень, — что очередная жертва...

Лохматый произнес это сдержанным шепотом, но Рубцов побоялся, что Надя услышит и угрожающе выкатил на парня глаза:

— Спокойно. Так где он?

— Заходил с утра, спрашивал, нет ли пустых бутылок, дабы сдать на опохмелку. Я ему выделил пару, он спустился на нижние этажи, видимо, добирать остальные.

— Ясно, — промышчал Рубцов и вернулся к спутнице:

— Видимо, придет не скоро.

— Я поняла, — отозвалась она глухо и плотно сжала губы. Лицо ее заострилось и побледнело. — Извините, что доставила вам столько хлопот.

— Ну, что вы, — начал успокаивать Рубцов.

— Я попадала в сложные положения, но в таком глупом — впервые, — нервно сказала она с обидой.

— Ничего страшного, по-моему, не произошло, — снова попытался утешить Рубцов. — Можно подождать, или я скажу, чтоб он вам позвонил.

— Ну уж, нет! — покачала она головой, и в голосе ее зазвучала угроза.

Рубцов не знал, что предложить еще и перетоптывался рядом.

— Знаете что, — вдруг предложила она. — Давайте наплюнем на все и погуляем в вашем скверике.

Это было сказано с такой неожиданностью и лихостью, что Рубцов не сразу нашелся.

— А что, — наконец включился он, — и в самом деле: погода за нас, а мы за нее.

И они направились к лифту.

На улице Надя скоро пришла в себя и, казалось, напроць за-была недавно перенесенные неудобства и горечь. Рассказывала о том, как она любит кошек и собак, сколько подобрала их, бездомных и раненых, на улице, вылечила и приютила, и как они признательны и благодарны ей, и какой верностью и постоянством платят.

— Люди так не умеют, — пожалела она, и Рубцов, глянув сбоку, увидел на ее лице сожаление и даже печаль и отнес их на счет недавней и неразвевявшейся еще обиды.

— Для подобной мизантропии, по-моему, слишком незначительный повод, — попенял он, но она заявила:

— Вы думаете, я из-за сегодняшнего? Нет. Причин для таких размышлений накопилось довольно.

— Все-таки не надо кошек выводить на первый план. Лично я к ним отношусь настороженно. Особенно к ночным. Уставятся в глаза и не поймешь, что замышляют: то ли просят милостыню, то ли сожалеют, что не могут съесть тебя, как мышь, с потрохами.

— Вы злой.

— Не злой, а наблюдательный.

— То, что наблюдательный, я уже отметила.

— Когда ж успели?

— А когда сидела в уголке и помалкивала.

— Значит, молчание было не от стеснения, а от заданности?

— Я люблю изучать людей, когда они об этом не подозревают.

— Вы опасная женщина, — полушутя-полусерьезно сказал Рубцов.

— Для кого как... Вам пока ничего не угрожает.

— Ах, все-таки пока?

Она засмеялась легко и непринужденно, обнажив крепкие молодые зубы:

— Вечна только смерть, а в жизни все — пока... А я смотрю, вы не храбрец.

- Почему? Я спокойно принимаю, что смерть вечна, как жизнь.
- Вам очень хочется верить, что жизнь — вечна?
- Разумеется.
- А опасность мировой катастрофы?
- Угнетает, но не лишает веры.
- Какие мы оптимисты! — усмехнулась она. — И вы не допускаете, что смерть может наступить где-нибудь за соседним углом?
- Однако с вами надо ухо держать востро, — снова подозрительно покосился Рубцов.
- Да! — засмеялась она. — Я роковая женщина. Из-за меня в детстве один мальчик выбросился с балкона и разбился насмерть. У меня даже стихи такие есть.
- Вот как...
- Хотите прочту?
- Любопытно...

*Волчица я. Ты понял слишком поздно,
 Какая надвигается гроза.
 В твои глаза в упор глядят не звезды,
 А раскаленные мои глаза.
 Железной шерстью дыбятся загривок,
 И нет сомненья ни в одном глазу.
 Как я свою соперницу игриво,
 Почуяв, загоню и загрызу!*

Рубцов слушал и поражался несоответствию нежного голоса и этого беспощадного текста. Он опять подозрительно вгляделся в лицо спутницы: чистый овал, широко раскрытые голубоватые глаза и даже вздернутый носик... Вот тебе и на!...

- Вы читаете свои стихи? — недоверчиво спросил Рубцов.
- А что, бездарны?
- Не в этом дело, — не знал он, как объяснить смятение, охватившее его. — Понимаете, как-то неожиданно для женщины.
- А вы привыкли к слезам, слюням, жалобам? — она уже язвила.
- У меня старомодные представления о женской душе.
- Возможно, у меня — мужская, — заявила спутница.
- Помилуйте, но это патология, — растерянно произнес Рубцов, внутренне закипая.
- Поэты все ненормальные, — повторила она расхожую истину.
- Вы, конечно, имеете в виду прежде всего Пушкина? — усмехнулся он криво. — Придумали себе игрушку, теперь забавля-

ются.— Рубцов начал распалиться.— Да поэзия — высшая гармония. Как же гармонию может создать ненормальный человек? Творчество — преимущество благородных людей.

— А великие сатирики? Их материал — уродство, — не согласилась она. — Вряд ли это поднимает душу.

— Ох, и не люблю я этих «сатириков», но они творят тоже из потребности обнажить и искоренить зло.

Он возбудился не на шутку. По скалам гуляли жесткие желваки, брови сдвинулись к переносице; он сжимал кулаки и порою ими колотил в узкую грудь, видя, что его слова не достигают цели, и от этого смущался и проклинал собственную беспомощность. Голос постепенно тускнел и глож.

Рубцов опустил глаза и смотрел под ноги, боясь встретиться с нею взглядом. Ему казалось, что Надя прочтет его смятенность и восторжествует, но не хотелось выглядеть слабее, потому что глубоко чувствовал и осознавал свою правоту. Его учили Пушкин и Блок, Тютчев и Есенин. А постоянным наставником был мудрый и смелый старик Решетов, к которому неизменно тянуло его «во дни сомнений и тягостных раздумий». Слишком выношенными и укоренившимися были нынешние мысли и чувства, и нельзя позволить кому-то поколебать их или усомниться в истинности.

Она тоже уловила, что разговор чрезмерно обострился и Рубцов разнервничался; а не стоило бы для первого раза так раскалять отношения. К тому же она верила, что сегодняшняя встреча — только начало, и впереди немало таких будет. Тем более уже дала понять, что не из тех, кто покорно смотрит в рот просвещенному собеседнику и умеет постоять за свои принципы и взгляды, даже если они представляются ошибочными.

Надя не сказала, что читала Николая Рубцова в журналах и давно для себя отметила силу и красоту его слога, но, может быть, именно поэтому решила внушить ему мысль о собственной независимости и самостоятельности. Ей всегда хотелось быть сильной личностью, и она лепила свой характер истово и методично, без сожаления и сомнения вытравливая из него уступчивость и податливость, мягкость и слабость — все, что считала бабским позором и ущербностью.

Именно поэтому она давно разошлась с мужем, который не захотел ее понять и обзывал целенаправленную волю бредом и солдафонством. Причем она не стала делить с ним барахло и жилплощадь, а взяла только свои тряпки и дочкины куклы, побросала в чемоданы и укатила к родителям. Сначала он думал: это временная блажь или психическая атака против его твердых семейных устоев; но потом почуял, что дело сложнее и безнадеж-

нее. Поняв, что поправить ничего невозможно, он согласился на развод и отпустил свою Надю на все четыре стороны.

— А как ваша фамилия,— спросил Рубцов после некоторого молчания.

— Д... А что?

— Надо иметь привлекательную фамилию, чтоб не отпугивать читателя.

— Это у меня от бывшего мужа осталась. Печатаюсь я как Долинина.

— Вы уже печатаетесь?

— Немного.

— И стихи о волчице опубликованы?

— Представьте себе, и даже в статье похвалены.

— Интересно — за что?

— За экспрессию, за характер, даже за лексику.

— Ну, что ж, вам есть чем гордиться,— с тайной издевкой сказал Рубцов, но именно ее она и не заметила.

Вернувшись в общежитие, он встретил Александра Городкова и сказал, кто к нему приходил.

— Она уже ушла? — спросил тот.

— Да, я проводил ее на троллейбус.

— Бойся ее, Рубцов,— нетрезво погрозил Городков пальцем.

— Ты видел, какие у нее глаза? Такие глаза могут испелить.

— Зато какая грудь,— подтрунил над ним Рубцов.— Можно уснуть и век не просыпаться.

— Во-во! — ухватился за фразу Городков.— Поэтому я и бегу, что боюсь однажды не проснуться.

— Отчаянный у нас пошел поэт! — посмеялся Рубцов.— От женской красоты в кусты забирается. А кто же недавно читал такие оптимистические стихи: «Шагай вперед, мой экскаватор, ведь на тебе сидит новатор!» Не ты ли?

— Техника другое дело,— покладисто заявил Городков.— Она управляема. А тут — женщина. Да еще — какая! Она любые оглобли переломает, а из саней выскочит.

— Я понял, Городков: ты хочешь перевалить на меня всю ответственность за благополучие своей пассивности.

— В данном случае я пекусь о твоём благополучии.

— А вот это — лишнее. Я ведь бывший военный моряк, побывал не в одном шторме и, как видишь, добрался до берега. А уж на родной-то земле как-нибудь устою.

— Гляди, тятя, тебе жить,— закончил Городков и нетвердо направился к своей двери.

Рубцов проводил его ироническим взглядом. Он недолюбливал этого беззаботного сытого лентяя прежде всего за то, что тот,

учась в институте и упорно желая выбиться в литературу, не брезговал никакими связями и средствами. Но больше всего за то, что пьянствовал на деньги пожилого отца, фронтовика, который регулярно сдавал кровь, а донорскую выручку посылал сынку. Отец очень, видимо, надеялся, что сын прославит их негромкую фамилию. Городков-младший тщательно скрывал, на какие деньги бражничал, но шила в мешке не утаишь. И Рубцову нестерпимо и во что бы то ни стало захотелось оттянуть от него Надю, и этим еще раз выказать неприятие и даже враждебность бесталанному хлыщу, утолить вдруг неведомо отчего разыгравшееся чувство неожиданной ревности.

II

Поездка оказалась удивительной, и Николай Рубцов внутренне благодарил Мишу Колябина, уговорившего его отправиться в этот неблизкий район.

Город утомлял Рубцова порой до раздражения, хотя и без города жизнь уже не получалась.

Здесь жили главные друзья, без которых невозможно стало обойтись даже короткое время. Они, как аккумуляторы, заряжали энергией, будоражили мысль и душу, а иногда и охлаждали чрезмерную горячность.

Но деревня нужна была постоянно. Как воздух, как нехлорированная вода, как здоровый восстанавливающий сон.

Они приехали по первым осенним холодам. В избе хозяйки держали поросенка. Он спокойно похрюкивал, стучал копытцами то на кухне, то под кроватью, то норовил поддеть розовым пяточком широкую штанину новоявленного гостя...

— Ну-ко, Яшка, отступись,— отпихивала его ногой старшая из хозяек, Марфа Никандровна.— Дай людям покой.

Но, видя, что слова не действуют, взяла поросенка в охомятку и сунула куда-то в голбец, где, видимо, было для него отгорожено.

— Надо маленько подкультуриться,— решительно заявила Марфа Никандровна, и вскоре, подоткнув подол широкого сарафана, нашаркивала по полу надетым на ногу старым ступнем, заменявшим на этот случай голик.

Вода скатывалась от порога к окошкам, и Рубцов отметил про себя, что перёд избы заметно осел: не чувствовалось мужицкой руки.

Но в доме было светло от промытых окон, где между рам укладывались для тепла завернутые в газету жгуты сена, а

поверх газет насыпались свежие стружки. Чтоб красивее смотрелось окошко и снутри, и снаружи. А от сырости под сено подкладывались крупные березовые угли,— это Рубцов знал точно по давнему деревенскому опыту. Радовали глаз и чистые проглаженные полотенца, свисавшие с темных настенных рамок со множеством фотографий и угловой иконы, перед которой горела лампадка и поблескивали в ровном свете дешевенькие елочные игрушки.

Гости достали из дорожных сумок гостинцы, и хозяйка ахнула, увидев несколько буханок пышного белого хлеба.

— До чего бел да красив,— гладила она верхнюю блестящую корочку.— Да дорог, поди-ко, до того, что и есть боязно,— а сама посмеивалась, довольнехонька.

— Ничего, мы вас тоже отпотчует,— пообещала она и вскоре принялась бойко чистить картошку, закусив кончик повязанного на голову платка, чтоб не мешал.

— Жалко, музыки нету,— посетовала хозяйка.— Радиво-то отключают до пяти часов вечера. Чтоб не отвлекало колхозников от работы.

— А ты нам сама попоёшь,— подсказал Миша Колябин.— А мы послушаем.

— Что ты, Михаил, ведь я не пьяная, чтоб песни распевать.

— А мы напоим.

— Ну, тогда другое дело,— хитро подмигнула она.— Выпью, так спою. Хмель-от и бока мёлёт.

— Вот-вот, давай побыстрее управляйся с картошкой да и начнем,— и нагнувшись к ее уху, незаметно от Рубцова, шепнул.— Это ведь большой русский поэт. Уважь его. Я сговорил приехать сюда, наобещал, что песни послушаем. Смотри, не подведи.

— Ну, тогда подводить нельзя,— серьезно ответила она и с особым интересом посмотрела на Рубцова.

Он был нестар лицом, но почти лыс, и это озадачило хозяйку; лишь на висках да за ушами, да на самой макушке топорщились невзрачные и неухоженные волосенки. Пытливые темные глаза он постоянно прищуривал, внимательно оглядываясь — вернее, изучая каждый предмет и словно бы одновременно сопоставляя с чем-то виденным раньше, отчего лицо напряженно обострялось и все время вытягивалось вперед; и даже когда он съеживался и, словно озябнув, вжимался в легкий пиджачок и горбил спину, лицо жило как бы отдельно, не теряя своей сосредоточенности; и все тянулось навстречу какому-то лишь ему ведомому смыслу. Длинные густые ресницы добавляли глубины и без того темным глазам. Узковатые плечи и некрупная грудь придавали облику впечатление тщедушности, почти что слабости, но цепкие охватившие колено руки с торчащими коготышками

и резко обозначенными жилами невольно приковывали сторонний взгляд и убеждали в силе.

Но хозяйка больше смотрела на лысину и простодушно жалела гостя: «Видно, много пережить да передумать пришлось,— сокрушалась она.— Совсем молоденькой, а уж обзаволосел. Не лишка, значит, сладкого в жизни похлебал...»

А Рубцов сидел на лавке и напряженно глядел в окно. Что-то в душе его творилось непонятное. Давно угнетала неустроенность. За плечами и детдом, и работа на Кировском заводе, и служба на корабле, и траловый флот... А своего угла нет до сих пор. И теперь-то согласился поехать сюда с Мишей Колябиным лишь потому, что неловко стало стеснять доброго и терпеливого друга своего, у которого обретался в последнее время. Все-таки там и жена, и дети, и старуха-мать... Что из того, что трехкомнатная квартира? На такую ораву едва ли этого лишка. К тому же хозяева старались выделить целую комнату лично ему, а сами толкались в двух остальных. Запрещали детям открывать к нему дверь, зная, что Рубцов работает над большой вещью. А какая работа, если сердце не на месте и холодок бездомности, везде настигая, все слышнее с годами посвистывает над «полубосой» головой...

Пора уже, пора бы и с семьей наладить отношения, а то дочка Лена пишет в письмах: «Папа, когда мы будем вместе?»— а он и сам не знает.

Можно бы жить с ними в Николе, но теща делает все, чтоб отвадить его от дому. И Генриетте, жене, напевает, что не по себе срубила дерево: «Какой это мужик, если не может ни дров заготовить, ни крышу покрыть, ни огород вспахать. Одни только стишки да газетки на уме. А какой от них прок? Мало ли что по радио передавали... Денег-то прислали — курам на смех. Ленке платьишко купили, а на ботинки пришлось добавлять пятерку. Вот Гринька Мазин, сосед рядовой, как получка — так за две сотни. Ну и что из того, что выпивает? От эдаких доходов не убыток и поллитру купить. А этот грамотей как-то захотел — давно, правда,— выпить, так все порожные бутылки в дому собрал: из-под керосину, из-под масла, из-под дегтю... да нагрел воды, полную детскую ванну — и давай отмывать, отскребать, отскабливать. Сдал, а едва хватило на «красноту». Принес еще девочке две карамелинки. Нищий-нищий, а не согнет головы, не попросит у тещи, понизко считает. А раз гордость одолевает, так ходил бы клюкву собирать али бруснику, теперь дорого принимают. Так нет, он, видишь ли, больше грибы любит искать, полохало лешеву...»

Знал, знал Рубцов все тещины недовольства на свой счет и

не любил тревожить ее покой. Надоело и опротивело перехватывать за обеденным столом ее недовольные взгляды, когда он выуживал из миски очередную разваренную картофелину или дольку доморощенной свеклы. Конечно, все здесь создано и выпестовано тещиними руками, и она вправе смотреть на зятя как на нахлебника. Но зачем подчеркивать это беспрестанно. Он и так давно не притрагивался к мясу. Особенно с тех пор, как пришлось помогать резать овцу.

Она долго вырывалась из рук, видимо, предчувствуя, что тащат под нож, и, насмотревшись на судороги и жалобное предсмертное блеяние животного, он не мог выносить баранины. В глазах и сейчас зримо всплывала только что отрезанная овечья голова, поставленная на лавку прямо перед ним: голова смотрит на него очумелыми немигающими глазами и беззвучно открывает рот и высовывает розовый язык. То ли дразнится, то ли молит о помощи...

Рубцова передернуло от воспоминаний, и, чтобы окончательно от них отделаться, он вслушался, о чем толкуют Миша Колябин с хозяйкой.

— Ты ведь знал Лаврушку-то? — допытывалась старушка у Миши.

— Как не знал!

— Вот и спрашиваю сегодня у сестреницы его: увезли, говорю, Лаврушку-то? Нет, говорит, еще. Сапоги у него худые, поедут в Верховино за новыми. Так пока и лежит в гробу босой.

— О, господи, и вы о смерти, — недовольно пробурчал Рубцов.

— А куда от нее деваешься, — спокойно возразила хозяйка. — От милиционера можно убежать, а от нее никуда не засунешься.

— Действительно, давайте сменим пластинку, — согласился Миша Колябин, заметив угнетенность своего немногословного друга.

Хозяйка моментально преобразилась. Улыбка освежила лицо, хотя и не убавила морщин, и бледно-голубые глаза задорно вспыхнули:

— Так садитесь к столу да командуйте.

— А вы садитесь на самое видное место за хозяина, — попросил Рубцов.

— А хозяин, говорят, как чирей: куда захочет, туда и сядет, — отсмеялась Марфа Никандровна.

Потихоньку уселись.

— Ты вот, Михаил, не первый раз сюда приезжаешь, а, поди-ко, забыл опять батареек да лампочек привезти? Вижу, что не

достаешь. У нас ведь нет столбов-то с огнем, а на улице тёмно. Таиска с фермы каждый раз с пуд грязи в избу принесет. С фонариком-то все бы повиднее.

— Извините, Марфа Никандровна, забыл, правда, — посокрушался Миша. — Но я почтой вышло.

— Ладно, коли — будем ждать, — согласилась Марфа Никандровна и поправила на голове платок шалашиком.

— Какая у вас большая печь, — похвалил Рубцов, рассматривая главное сооружение избы.

— Да, просторная, — согласилась хозяйка. — Так раньше мылись в них, да целыми семьями, меньше-то нельзя было — не влезешь.

— Ни разу не приходилось мыться в печи, — вроде бы посожалел Рубцов.

— Так полезай, я сегодня истопила, — весело предложила Марфа Никандровна, и ее глазки озорно вспыхнули и ярче заголубели.

Гость возбужденно хохотнул и закинул ногу на ногу, причудливо переплетя одной другую так, что ботинок вынырнул из-под самой икры поставленной на пол ноги.

— Ишь ты, как наловчился! — удивилась хозяйка.

— Это у нас наследственное. Моя дочка совсем малютка, а научилась сидеть по-папиному.

— Сколько дочке-то?

— Еще в куклы играет...

И вспомнилось ему, как однажды искал он для своей Лены куклу. Много магазинов московских обошел — не попадалось подходящей. Наконец выбрал сероглазую, в красном — горошками — платье, с крупным бантом в сиреневых волосах. Почти всю стипендию в нее вбухал, едва на билет в общем вагоне наскреб. Ехал в тесноте, поспать почти не удалось; все верхние полки были заняты. И вот вывалился на вологодский перрон — помятый, усталый, злой. А тут еще дождик осенний моросит. Пальтишко продувает насквозь, ботинки не просыхали не одну неделю, шляпа в дорогах измялась до того, что не каждый грибник по рыжики в такой пойдет.

Вокзальный милиционер издали посмотрел внимательно на новоявленного субъекта и не спеша направился в его сторону. Рубцов понимал, что тот идет навстречу не для того, чтобы поздравить с благополучным прибытием на родину, и резко свернул к привокзальной постройке, надеясь затеряться среди полуночного народа. Благо освещение тогда не резало глаза... Но он недооценил профессиональных достоинств блюстителя порядка. Милиционер в звании сержанта скоро отыскал его между дремлющими на скамейке мужиками и приступил вплотную:

— Ваши документы!

— Я студент Литературного института. Паспорт сдан на прописку, а студенческий билет остался в общежитии.

Сержант, тоже уставший за ночное дежурство от всевозможных вокзальных приключений, разумеется, не поверил, поэтому еле заметно усмехнулся.

— Ну, и куда вы направляетесь, товарищ студент?

— Домой, в деревню Николу.

— А откуда?

— Из Москвы.

— Из Москвы... — недоверчиво протянул сержант. — Из столицы нашей Родины? В таком виде... Да вас там забрали бы на первом углу.

— Послушайте, вам что, скучно в неурочное время, и вы решили поразвлечься?

— Но-но, — вяло остановил сержант. — Откройте ваш чемодан. Что в нем, знаете? — и он пытливо посмотрел на Рубцова.

— Конечно, знаю, — невозмутимо ответил тот. — Там кукла.

— Что-что? — не понял милиционер. — А ну, откройте!

— Я потерял ключ, — не захотел сдаваться Рубцов.

— Ничего, такие сейфы мы — не глядя, — сказал сержант и достал перочинный ножик.

Мужики на лавке давно проснулись и молча наблюдали за разыгравшейся сценой. Какой-то прибалтанный шибздик, явно подыгрывая начальству, суетливо вертелся рядом и льстиво тараторил, обнажая в ухмылке неухоженные зубы, и причмокивал:

— Сержант службу знает, у него не проскочишь.

Чемодан наконец открылся, и все увидели на его дне большую нарядную куклу, прикрывшую свои непорочные глаза длинными синтетическими ресницами, словно стыдясь или пугаясь заспанных небритых мужиков; или боясь, что милиционер сейчас и у нее потребует удостоверение личности или уведет в участок, и она не попадет к белокурой девочке Лене, которая должна стать ее подружкой.

— Что?.. — спросил обескураженно сержант. — И все? — он почувствовал себя неловко.

— Как видите.

Рубцова оставили в покое, и он ушел в осеннюю непогоду, в сторону пристани. До парохода оставалось ждать недолго, и можно было скоротать время на причале.

Куклу дочери он тогда все-таки довез...

— Жёнка-то тебя далёко? — спросила Марфа Никандровна.

— А у меня вроде как и нету ее, — вяло ответил Рубцов.

— Как это? — недоуменно уставилась хозяйка. — Дочка есть, а женки нет. Померла, что ли?

— Нет, не померла. Просто замуж за меня выходить не хочет.

— Чудеса с потрусáми, — не поверила Марфа Никандровна. — Смеешься над старухой?

— Не смеюсь. Не хочет расписываться. Мать не велит. Поэтому вроде женка, а вроде нет.

— Ну, теперь бабы что хотят, то и накручивают. А ты возьми да и подхвати какую другую, тут она и завертится. Али некого?

— Да теперь подхватывать самому-то почти не приходится, — сказал Рубцов и помрачнел, вспомнив, как недавно занесло его в незнакомую женскую компанию, где было много вина и вольностей, и как одна сонливая девица, прильнув к нему в темном коридоре, начала гладить по затылку, иступленно и мокро целовала в губы и наконец томно прошептала:

— Возьми меня...

Рубцов взглянул в это еще неустоявшееся лицо, в бесстрастные, но ищущие глаза и, отшатнувшись, пришел в себя, нагловато спросил:

— За одну руку или за обе?

Девица хлопнув дверью, ушла в комнату, а Рубцов, отыскав в темной прихожей пальто, ни с кем не попрощавшись, выскользнул на улицу. Ночь была черная, автобусы не ходили, а редкие такси он не останавливал сам. Именно в ту полуночную темень легко и просто сложился экспромт:

Ты спроси меня, спроси:

Ездишь, Коля, на такси?

Я отвечу со смешком:

Лучше двигаться пешком.

Ему стало весело от неожиданной удачи, но, добравшись до ночлега, уставший и голодный, он выкурил в одиночестве у подъезда сигарету и горько усмехнулся.

— Что-то невесел у меня гость, — сказала Марфа Никандровна, внимательно поглядев на Рубцова, — и угощение его не веселит.

— Отвеселило... — мрачно откликнулся он, но тут же спохватился и попросил: — Вы не обращайтесь внимания, ради бога. Я с утра сегодня квелый. Видно, к перемене погоды.

— Неужели на тебя уже и погода действует? — удивилась старушка.

— А как же! Я ж дитя природы, — сказал Рубцов и попытался улыбнуться.

— Это вы озябли, ребята, — убежденно сказала Марфа Ни-

кандровна.— Вон на дворе-то как похолодало. Придется отогреть. Топлю — дров не жалею. До того бывает тепло, что всю ночь без одеяла лягаюсь.

— За столом сидеть да мерзнуть... Я этого не принимаю,— сказал Миша Колябин и подмигнул хозяйке, намекая, что она забыла свой сосуд.— Да и песни пора слушать.

Марфа Никандровна понимающе посмотрела на него и оправила кофточку, готовясь к серьезному делу.

— Не знаю, какие вам надо-то?

— А всякие.

— Ну, коли начну с коротышек:

*Я умру — похороните,
Врежьте в гробик рамочку:
Я из гроба услышаю
Дролину тальяночку.*

*Меня, девушку, шатает,
Ровно в поле ивушку.
Того боле зашатает,
Как забреют милушку.*

*С того свету нет ответу
От милого моего.
Повешу буйную головушку,
Поплачу, жаль его.*

Пела она негромко и с такой жалостью, что у Рубцова зашипило глаза и сжало дыхание, и он вполголоса попросил:

— А повеселее можно?

— Али эти худы?

— Нет, нет, что вы! — испугались обидеть ее гости.— Очень даже хорошие. Настоящие. Но хочется повеселей, похулиганистей.

— А коли так, то вот вам,— взыграла Марфа Никандровна и звонко отчебучила:

*Мы ходили во леса,
Увидали чудеса:
Лежит баба на дороге —
Попа шире колеса.*

— Во-во! — завеселились гости.— Это подходяще.

И Марфа Никандровна, прихохатывая, продолжала:

— Это парнечья. Всяко уж не девки придумали про себя.

— Давайте и парнишечью,— подыграл Мишка Колябин, и старушка снова отмочила:

*А я свою Наталию
Прихватил за талию,
Хоть люблю в Наталии
Все, что ниже талии.*

*Ой, милая, милая,
За кого ты вышла —
До колена борода,
Три аришина дышло.*

...Спать легли пораньше — Миша знал, что свет хозяйки отключат. И в темноте Рубцов признался:

— Только здесь и отдыхаешь душой, среди таких бесхитростных и душевных людей. Тебе трудно это понять, ты при матери вырос. А я как встречу хорошую женщину, так и покажется, что и моя мама такой же была.

Он замолчал, и Миша не смел вставить слова, понимая, что любое сейчас будет лишним.

Рубцов неслышно сглатывал набежавшую горечь, и это угадывалось в поздней глубокой тишине, и Миша жалел его всей жалостью души, которая успела не только полюбить Рубцова, но и откликнуться на его болезненную ранимость. Мише редко встречались до этого люди со столь повышенной чувствительностью.

Вспомнилось, как они так же вдвоем ночевали однажды на сеновале в стареньком доме. Легли так же рано, убродившись в лесу и нарыбачившись на местном кувшинковом озере, угорели от избытка хвойного распаренного воздуха и непорочной камышовой тишины. Миша выспался быстро и проснулся от хлопающего по драночной крыше дождя.

— Вот черт,— выругался он.— Только этого и не хватало. Теперь придется чесать по грязи.

— Зачем ты проснулся?..— досадливо проговорил Рубцов.— Все испортил.

— Что? — не понял Миша Колябин.

— Я так люблю слушать дождь,— признался Рубцов.— А ты его чуть не матом...

Миша понял, что Рубцов сочинял, и глупое бурчание спугнуло добрую настроенность друга. Не зная, как загладить вину, Миша замолчал, снова притих, но Рубцов поднялся и тяжело пошел умываться, явно раздосадованный.

В последующие разы Колябин не допускал даже таких нечаян-

ных оплошностей, и теперь боялся перебить Рубцова, давая ему волю высказаться и понимая, как нечасто тот бывает расположен к душевным излияниям.

— Я ведь почти не помню свою мать,— пожаловался вполголоса Рубцов.— Какой-то розовый туман. Самые начальные впечатления. Помнится только ее уютный запах, мягкие руки и какой-то журчащий голос. И полная собственная беззаботность, головокружительное счастье. У меня было свое потайное место, где-то за домом, возле сарая. Там я однажды обнаружил необыкновенной красоты цветок. Он рос среди мусора и лопухов, и я боялся, что его кто-нибудь растопчет или сорвет. Тогда я выкопал вокруг сорняки и возвел оградку из всевозможных веток и палок, чтоб случайно не забрели собака или петух и не погубили мой цветок. Каждый день не по одному разу ходил поливать свое детище. Так хотелось порадовать маму аленьким цветочком, а она уже лежала больная и почти не вставала. Помню только, подолгу смотрела на меня сквозь слезы и гладила по голове горячей дрожащей рукой... Вскоре она умерла, и аленький цветочек я положил уже на ее могилку...

— А отец? — осторожно спросил Миша.

— Отец в это время воевал... или сидел и ничего не знал. Нас рассовали по детским домам, кого куда, и мы потерялись и выжили не все. Меня тоже долго считали умершим. Отец вернулся, женился снова. Народились новые дети, а старых он, видимо, не сразу вспомнил. Какое-то время с ним жили мой старший брат и сестра, а меня даже не искали, решили, что — покойник.

— Как же так? — расстроился Миша. — Забыть о своем сыне...

— Ты пойми: люди прошли через такую кровь. А ушли-то молоденькими, и столько смертей насмотрелись, что еще одной больше или меньше — разница не велика. К тому же отца не раз контузило, тоже память поотшибло. Да после такого ада свое-то имя, наверное, с трудом вспоминалось. Не виню его. Когда я вдруг объявился, он меня забрал к себе, но я с мачехой жить не мог. Сам ушел от них — и уже навсегда.

— И он не искал тебя?

— Ему хватало своих забот: трое детей все-таки... А я поступил в лесотехнический техникум. Золотое было времечко. Хоть голодно, холодно... Но — хорошо... Расположился техникум в старом Спасо-Суморинском монастыре. В каждой келье по несколько человек куковало. Здание гулкое, с толстыми стенами. Ночью кто-нибудь рявкнет в коридоре — мороз по коже. А поугагать любили. Или начнут перед сном всякие кладбищенские страхи рассказывать. Заберешься под одеяло, только ухо из-под него выставишь... Так всю ночь и в уборную не ходишь.

— Это и мне знакомо,— откликнулся Миша.

— Но я воспитывал себя, избавлялся от страха. Да влюбился в девочку. Светленькая такая, бойкая, как синичка. И вот стал перед нею напоказ бегать по верхним переходам, героем хотелось выглядеть. Однажды бежал, а шнурок у ботинка и развязался. Я наступил на него, споткнулся. А высота метров двадцать, и пол каменный. Разбился бы вдребезги. Но хорошо ухватился за выступ в стене, ниша была выдолблена, спасла... С тех пор в храмах не озорничал и другим не советую.

— А как ты на флот попал? — спросил Миши Колябин негромко.

— Это была хрустальная мечта детства — стать моряком. Поехал в Ригу поступать в мореходку. И ведь надо же случиться: не хватило одного сантиметра росту. А я уже оставил свой лесотехнический, понял, что не мое. И вдруг такой удар! А учился всегда хорошо. Приехал в Ленинград, устроился на завод. Специальности нет, взяли только в кочегары. С тех пор люблю растапливать печку и глядеть на огонь. А когда пришло время призываться в армию, подрос маленько и выпросился на флот. Тут уж мне не отказали. И четыре года служил на военных кораблях в Северном море.

— Там и писать начал? — попытал Миша.

— Писать начал раньше. Еще в детдоме девчонкам стихотворные записки посылал. Но море... стихия как-никак! Конечно, подняла душу, расшевелила. На море все поэты, только не все пишут. Я к воде с детства неравнодушен. Наш детдом стоял на берегу реки. Как только начинался ледоход, мы не могли сидеть на уроках, без конца сбежали смотреть... Но речушка у нас была маленькая, не судоходная, только лес сплавляли да на долбленках плавали. А пароход я впервые увидел уже на Сухоне. Вместе с другом приехал туда, он как глянул на такого красавца, белого двухпалубного, да как закричит: «Коля, Коля, гляди, церква плывет, церква плывет!» С тех пор у меня так и стоит перед глазами эта плывущая по волнам «церква». Теперь, как увижу затопленный храм, вспоминаю тот изумленный мальчишеский возглас. Только теперь она не плывет, а как будто тонет, оседа кормой и задрав в небо острый нос. Приходилось наблюдать такое?

— Приходилось,— отозвался Миша.— Водохранилища поглотили столько деревень... Разумеется, вместе с церквями. Дома-то увезли, а эти так и стоят. Одни посреди широких вод. Рыбаки говорят, жутко бывает рядом проплывать в темноте. Окна выломаны, и такой ветер воет там! И метровые щуки ходят из пролома в пролом.

— Да, картина...— вздохнул Рубцов.—«На паперти божьего храма», как пели раньше, где нищие собирали милостыню, разбойничают зубастые щуки, пожирают молодых сорожат и окуньков. Идиллия!..

Рубцов глубоко вздохнул и потянулся за сигаретой, но вовремя остановился, сообразив, что к ночи дымить в чужой избе нехорошо.

— Но родина есть родина,— раздумчиво произнес он.— И какая бы она ни была — все равно единственная навек и неизменимая ничем. Воскресни даже мать, и та не смогла бы на чужбине заменить запах отчей земли, рябинку под окошком, тенистого плеса или брусничную кочку.

— Разве ты жил за границей? — недоверчиво спросил Миша.

— Мне там жить не обязательно. Я это знаю и так,— твердо отрезал Рубцов.

И Миша почувствовал непоколебимую прочность этих слов.

— Как прекрасно, Коля, что ты так любишь родину!

— Ты еще не знаешь, как я люблю. Это не выразить прозой. Во всяком случае — мне.

— Тогда пиши стихи.

— А я что делаю?

— Не знаю, ты же почти не читаешь...

— Боюсь, что еще не готов. У меня особое отношение к поэзии. Большинство нынешних слагателей твердят пушкинскую строку, «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». И только тем и занимаются, что торгуют куцыми рукописями, не задумываясь о том, что они не озарены ни единым бликом вдохновенья.

— Я нагляделся на это досыта. Даже в нашей газетке,— подтвердил Миша Колябин.

— Ваша газета еще само целомудрие. В нее приходят хоть искренние графоманы. Они-то не ради денег стараются, а ради славы, их можно понять и простить. А вот как отнестись к тем, которые знают, что в них ничего не заложено, и все-таки прут и прут. Я одному говорю: «Ты бездарь, брось заниматься литературой». А он мне отвечает: «И ты бездарь, чего же не бросаешь?»

— Не может быть! — изумился Миша.

— Все может быть. Я отвечаю ему: «Пусть я бездарь, но я хоть верю, что во мне что-то есть. Это же святое заблуждение. А ты точно знаешь, что в тебе ничего нет (ты умный индивид), и все-таки продолжаешь скоблить и скоблить, торговать и торговать, это, по-моему, высшая безнравственность».

— И остановить некому,— подсадовал Миша.— Критики нынче или молчат, или хвалят.

— Нет, они иногда высказываются и так: зачем, мол, сочинять романы или поэмы. Все равно лучше Пушкина и Толстого не напишете... А сами, конечно, думают, что пишут не хуже Писарева или Белинского.

— Конечно, кто же теперь напишет, как Пушкин...— пожалел Миша.

— А не следует и пыжиться. Он неповторим. И ты работай так, чтоб стать неповторимым. А то — написать как Пушкин, Достоевский. Да мы душу-то понять таких океанов, как Достоевский, не можем... Потому что в этих глубинах нечего делать с нашими аквалангами. Не придумали пока достойных аппаратов. Нас начинает давить и выталкивать обратно на десятиметровой глубине, а океанская бездна измеряется километрами.

Миша не ответил, хотя подумал: какой там Достоевский... до сегодняшнего дня он и Рубцова-то не пытался постичь. Слишком показался невзрачным: худенький, маленький, лысенький. А вот какие мысли его бушуют. Наверняка, Рубцов так не разговаривал бы, не будь с утра возбужден той самой встречей с рыжеволосой женщиной, о которой промолчал, а Миша не спросил; знал, что излишними вопросами можно все погубить. Придет время — скажет, а не захочет — нечего лезть.

Они встретили ее по дороге на аэродром, возле автобусной остановки. Билеты на самолет были уже в кармане. Она увидела Рубцова и пошла прямо на них, но он отвел ее в сторону, сдержанно поговорил минут пять и, не оборачиваясь, побежал к подошедшему автобусу, а она еще долго смотрела им вслед и даже помахала рукой. Но Рубцов намеренно отвернулся от окна и стоял, неестественно напряжен и бледен. Губы плотно сомкнуты, на горле обозначился твердый хрящ.

Миша не понимал причин неожиданного волнения. Он видел Рубцова в разных состояниях и часто поражался его выдержке и самообладанию. Особенно при столкновениях с женщинами. А тут какая-то пятиминутная — на бегу — встреча вывела из равновесия. «Что-то тут не так», — подумал Миша и решил наблюдать, как выйдет Рубцов из положения.

Миша Колябин познакомился с ним давно, еще до армии. Но то было мимолетное знакомство, которое в памяти Рубцова, возможно, и не оставило следа, а в Мишину врезалось. В местных журналистских кругах Рубцов был уже признанным авторитетом, хотя печатался и немного. Каждое появление его на публике носило повышенный интерес, заметное возбуждение, и как всякое подлинное явление вызывало не базарный ажиотаж, а почтительное волнение. Боясь примелькаться, Рубцов выступал нечасто, но в каждое выступление вносил свой четкий штрих, поэтому

появление его запоминалось и подолгу обсуждалось, особенно среди молодежи. Нравились его тревожные ритмы, незатасканность слова, непривычный поворот мысли и настроения. К словам относился он с особой болезненной ревностью. Прочитав армейские стихи Миши, как-то сказал:

— Ты ищешь в слове силы...

— А как же! — недоуменно ответил тот, убежденный, что именно этого и следует добиваться.

— А слову еще нужен трепет, — тихо сказал Рубцов и больше ничего не добавил.

Еще тогда Миша удивился, как же, прожив почти тридцать лет на свете, он сам ни разу об этом не задумывался. И что самое интересное, нигде в печати не встретил такой простой и явной очевидности. А Рубцов пришел к этому сам. Вот и вся разница между ними. Поэтому Миша и чувствовал себя значительно младше, хотя разница в годах была невелика. Да это знание-понимание, наверно, и не зависит от возраста или накопленного жизненного багажа. Откуда-то свыше осеняет подобной мудростью и пронизательностью и похоже — только избранных.

Миша же ощущал себя до сих пор учеником. То одного, то другого, пусть Есенина или Блока, но все равно — учеником.

Ныне он подобострастно внимал Рубцову. Это злило, но освободиться от зависимости он пока был не в силах. Не выросло ядро самостоятельности. Где-то в армии впервые нащупал себя, свой нерв, свою интонацию, но армейская тема не стала определяющей, потому что не сделалась судьбой, а была лишь эпизодом. Пусть ярким, незабываемым, но эпизодом. И после демобилизации возобновились мучительные поиски не только своего места под солнцем, но и своего взгляда на вещи, своей нежности и злости, а не взятых напрокат у полюбившихся авторов. Пока же получалось, что он, Михаил Колябин, живет чужими страстями, поэтому пользуется и словами заемными, не выстраданными, легко пришедшими через цепкую память из нарядных и утвердившихся книг. Не хватало чувства своей единственной земли, почвы, в которую бы врос корнями и питался ее соками, дрожал ее дрожью и стонал ее стоном. Вот чего не хватало до зубовного скрежета, до ожесточения и отчаяния.

Может, он слишком беззаботно живет? Служит в молодежной газете, — необременительно служит, — рецензирует молодых авторов, иногда печатает лирические зарисовки или бытовые заметки, ладит с редактором и даже попадает с бойкими материалами на красную доску; живет на твердую зарплату, которой, в общем-то, хватает, а если денег недостает, всегда можно обратиться к маме, Александре Ивановне, она не откажет, а напротив, вместо

десятки сунет две. И рубашки у него отглажены, и костюм сидит по фигуре, подородневшей не по возрасту; он осматривал себя в зеркале, постригал густую черную бороду, носить которую вошло в привычку, причесывал волнистые волосы и вдруг, разозлившись на самого себя, плевал в ухоженное трезвое зеркальное отражение.

— Тьфу тебе в рожу! — говорил гневно он и подолгу потом не подходил к трюму.

«Видимо, не зря говорят, что только страдание учит,— размышлял он,— благополучная и сытая жизнь убаюкивает сердце. Может быть, лишь Толстой, живя в роскоши, не позволял совести обрасти жирком. И именно нравственные мучения сделали его великим Толстым».

Рубцов тоже страдает, и это видно невооруженным глазом, хотя тщательно скрывает любые неурядицы и не терпит ничего вмешательства. Но какие же светлые образы порождает он, преодолевая и физические недуги, и внутреннее неустройство, и все время подсмеивается над собой, подтрунивает. И как все это задорно и весело у него получается. Иногда навирает на себя сознательно:

*Родилась у Геты Ленка,
Веселей пошло житье.
Ленка сядет на коленко
И посмотрит на нее.
Им обоим очень трудно.
Как же быть в конце концов?
Трое суток беспробудно
Где-то буйствует Рубцов...*

Вот уж никакого любования собой! Наоборот, даже некоторое самоуничтожение. Хотя «прихлебывать», как выражается Марфа Никандровна, он стал действительно излишне. А в разогретом состоянии становится почти неузнаваемым. Обычно деликатный и доброжелательный, вдруг делается подозрительным и агрессивным, много говорит и чаще всего не на пользу себе. Конечно, можно объяснить это и тяжелым детством, и семейной неслаженностью, и бездомностью, и слишком долгим пребыванием на траловом флоте, но закрывать глаза на неблагоприятное положение Миша не мог. Ему хотелось помочь Рубцову обрести хотя бы внешний покой, соединить с дочкой, которую тот очень любил; и не раз Миша вторгался в недозволенные пределы, уловив особенную размягченность Рубцова и доступность его.

— А твоя жена, Коля? — невинно спрашивал он и извинялся за свое любопытство. — Я почти не знаю ее.

Рубцов пытливо смотрел в глаза и недоверчиво спрашивал:

— Тебе действительно интересно?

— Разумеется.

— Обыкновенная женщина, заведует сѣльским клубом, воспитывает дочь, слушается маму.

— А коль она такая положительная, что ж не живешь с ней?

Рубцов снова взглядывал на него остро и резко, и намеренно, почти со злостью, чеканил каждое слово:

— А то, что иногда хочется еще о чем-то поговорить...

— Неужели в ней нет ничего замечательного? — недоумевал Миша.

— Если в ней и есть что-нибудь замечательное, так это тещины глаза. Без проблеска, — фраза произносилась с заметным раздражением. И Миша, чувствуя, что влез не в свой огород, пристыженно отводил разговор в другую сторону.

Но особенно пугала Мишу необоснованная Рубцовская ревность и подозрительность. Они распространялись на всех без исключения, даже на тех, кому Рубцов в трезвости безраздельно доверял. Наверное, это исходило от обыкновенного комплекса неполноценности, который выпирал постоянно, стоило завести разговор о мужских достоинствах. Особенно физических. Рубцов словно весь скукоживался, по лицу пробегала еле уловимая тень то ли обиды на судьбу, обошедшую ростом и статью, то ли недовольство товарищами, невзначай напомнившими о собственных преимуществах.

Чаще всего сам-то предмет, как говорят, отнюдь не предрасполагал к чрезмерному и настойчивому вниманию со стороны окружающих Рубцова людей. Было обычное выражение почтения и деликатного участия, но ему почему-то мерещилось обязательно вероломное посягательство на честь и достоинство его пассивности. Он страдал от этой болезненной подозрительности и, опомнившись, просил у оскорбленных прощения. Но никто всерьез не принимал его покаяния и не обижался надолго, зная, что все неизбежно повторится на ближайшей праздничной вечеринке.

«Это уже синдром, — мрачно роняли некоторые, наблюдавшие за Рубцовым не день и не два. — И это может дурно кончиться. Хотя мы отнюдь не собираемся накаркивать беду».

III

На движущуюся воду Рубцов мог смотреть часами. Служа на Северном море, каждую свободную от вахты минуту он проводил у борта или на корме, всматривался в волнующуюся ширь и забывал о друзьях и времени. Безоглядная стихия словно растворяла

его в себе, и он чувствовал головокружительную удивительную легкость и наполненность души. И не случайно после службы не смог сразу расстаться с морем и устроился работать на траловый флот.

В Вологде ему, наконец, повезло: дали комнату на берегу реки. И просыпаясь по утрам, он первым делом смотрел в окошко, словно убеждаясь, что за ночь речка никуда не убежала, и счастливо бормотал:

— Морской привет речному флоту!

Он часто таскал Мишу на пристань: посмотреть и послушать теплоходы. И нередко, без всякой видимой цели, брал в кассе самый дешевый билет и отчаливал то в Кириллов, то в Тотьму, то в Устюг.

Местные газетенки охотно его печатали, даже платили авансы под будущие стихотворные подборки, и худо-бедно он наскребал на гостиничную койку и небогатые харчи.

К тому же спал Рубцов мало, а ел и того меньше. Как птичка-синичка, ткнет вилкой в блюдечко раз-другой — и сыт. И номер отдельный он получить не шибко стремился, поскольку к чернильнице и ручке бивачная жизнь не приучила.

Стихи складывал чаще всего в голове, уходя куда-нибудь берегом подальше от людей. Память имел отменную, не однажды удивлял ею знакомых и друзей.

Как-то пропала у Рубцова рукопись, которую нужно было срочно отправить в издательство. Много людей терлось около него и всякие были; видимо, кому-то она оказалась нужней... Своей пишущей машинки тогда не было, в прокате тоже взять не удалось; тогда он договорился с редакционной машинисткой, она согласилась помочь в нерабочее время. Он пришел вечером.

— Ну, давайте,— сказала машинистка.

— Что давать? — спросил Рубцов.

— Рукопись.

— Ее нет.

— А с чего же печатать?

— С голоса.

— Вы все помните?

— Конечно.

Он продиктовал больше сотни стихотворений и вовремя отправил первый экземпляр.

Долго на одном месте Рубцов не задерживался: слишком быстро обрастал друзьями, мешавшими одиночеству, а значит, и работе. А одиночество он полюбил и ревниво оберегал. Видимо, потому, что всю жизнь, начиная с детдома, приходилось колготиться в массах шумного и разноликого народа, а это в конце

концов надоело и утомило. Однажды он сказал Мише Колябину, решившему познакомиться с очередным поклонником рубцовского таланта:

— Не знакомь меня с каждым встречным-поперечным. Ты парень коммуникабельный, любишь общество, шум, гам. А я скорей наоборот. Они начинают выпрашивать, влезать в душу, а я субъект скрытный, замкнутый даже. Пора бы уже понять.

Сказано это было жестко, даже обидно, и Миша, не найдя, что возразить, пролепетал:

— Извини, больше не буду.

Разговор тот произошел на пристани. Они надолго замолкли. Рубцов ушел в себя, сосредоточенно смотрел на воду и не сразу услышал, когда его окликнули.

— Кажется, тебя, Коля,— сказал Миша, обернувшись.

— Что? — не понял Рубцов.

— Зовут,— повторил Миша и посмотрел на молодую рыжеволосую женщину, махавшую с тротуара обнаженной рукой. Голос незнакомки был негромок, но удивительно мелодичен и чист.

Рубцов вздрогнул и пристально взгляделся в женщину. Потом глухо сказал:

— Кажется, я покидаю тебя,— и направился в ее сторону. Недолго поговорив, они перешли дорогу и исчезли за углом.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он Надю: это была она.

— Ищу тебя,— они еще в Москве перешли на ты.

— С чего тебе вздумалось? — не очень любезно спросил Рубцов.

— Не вздумалось, а решилось. Я здесь уже не первую неделю.

— Вот как! И чем же занималась все эти недели?

— Работала. И жила. Я вместе с дочкой приехала. И уже прописалась.

— Лихо,— покачал Рубцов головой.— Я только недавно сумел определиться более-менее, а ты... У тебя что, могучие покровители?

— Для того, чтобы устроиться в сельскую библиотеку, они не обязательны. К тому же с дипломом Ленинградского библиотечного института,— несколько надменно отпарировала она.

— Значит, судьба,— тихо, под нос произнес Рубцов, словно сам для себя.

— Что ты сказал? — не поняла Надя.

— Хорошо, говорю, что приехала. Жить будем по-соседски.

— А где ты живешь?

— Сейчас покажу, тут рядом,— посветлев, сказал Рубцов.—

И очень кстати появилась ты. Я поселился совсем недавно. Еще и новоселье не справлял. Будешь первой гостьей.

Надя сделала удивленные глаза и несколько недоверчиво спросила:

— Ты меня разыгрываешь?

— Ничуть. Все чистая правда. И думаю, что два таких события надо отметить.

— А какое второе?

— Твой приезд, нашу встречу. Это судьба! — громко и радостно объявил Рубцов.

Он был всегда подвержен настроению, моменту, и сейчас оно резко изменилось в лучшую сторону, а ощущение счастливой легкости наполнило все существо; захотелось быть добрым и щедрым, и он любезно спросил:

— Какие ты предпочитаешь напитки?

— Любые.

— Наши вкусы и тут совпадают, — подытожил Рубцов, поворачивая к ближайшему магазину.

И они радостно и согласно рассмеялись.

Дома было не прибрано. Неразвязанные тощие узлы и неразобранные книги свалены по углам, широкий подержанный диван да однотумбовый письменный стол с жестким стулом составляли главное богатство узкой, как пенал, комнаты с одним окном, выходящим прямо на реку. Прежние хозяева, видимо, не очень заботились об отделке временного жилища, а новый пока не успел им заняться, поэтому давно неменянные обои и небеленый потолок бросались в глаза и приводили в невольное уныние.

— И так живут великие поэты?.. — оглядевшись, покачала головой Надя.

— Великие и похлеще живали, — отозвался Рубцов. — А тут крыша не течет и пол не проваливается. Что ж еще желать для счастья?

— Не скажу, что жаден до жизни.

— Я жаден, но не скуп, — он назидательно потряс указательным пальцем.

— А кто твои соседи? — настороженно спросила она, услышав за дверью шарканье тапочек.

— На соседей мне, как всегда, везет, — горько ответил Рубцов. — На этот раз домоуправ с ревизоршей. Я им уже поперек горла. До меня здесь жила, оказывается, старушка, да померла, а эти хотели комнату приграбастать, но не вышло. И они теперь смотрят на меня как на личного врага.

— А куда денешься?

— Квартиру обещают. Вот, говорят, в Союз вступишь — и начнем хлопотать.

— А если не вступишь?

— Этого не произойдет,— уверенно сказал он, и Надя поняла, что Рубцов знает себе цену.

— Ну, все-таки,— допытывалась она.— Вдруг?

— Вдруг бывает у бездарей. Вдруг — вступил... У меня все другое. Мне уже и рекомендации дали,— Рубцов назвал несколько известных имен.

— Даже Яшин? У него, говорят, получить рекомендацию почти невозможно.

— Кому как! — с вызовом ответил Рубцов.

— Ты, оказывается, и хвастун.

— Только после третьей,— сказал он, подавая наполненный стакан, который предварительно сполоснул и протер висевшим у двери полотенцем.— Так за встречу, за твой приезд.

— Ты действительно рад? — пытливо заглянула она в его глаза.

— Неужели я похож на лгуна?

Она засмеялась своим золотистым смехом, и Рубцов опять отметил, что голосом с ней поделились небеса.

— Хватит с тебя, что ты хвастунишка.

— Ты не вздумай меня и впрямь причислять к этому племени,— вдруг посерьезнев, сказал Рубцов.— Мы обязательно пойдем с тобой к Яшину, и ты сама убедишься, что он любит меня.

— Не любить тебя могут только враги,— словно пропела она.

— А ты кто? — посмотрел в упор Рубцов.

— Разве не видно? — с вызовом сказала она.

— А что должно быть видно?

— Что я — друг...

— Ну, смотри: у меня с друзьями особый спрос,— пронизывающе посмотрел он.

Она поежилась под этим взглядом. Прищуренные темные глаза словно просвечивали все ее существо, и нужно было немалое мужество, чтобы выдержать этот натиск и не опустить вдруг отяжелевшие веки. Она выдержала и некоторое время смотрела в упор, не мигая.

— У тебя красивые глаза,— улыбнулся он вдруг.— Но слишком сильные для женщины.

— Я вообще не из слабых.

— Об этом можно не напоминать,— он снова оглядел всю ее рослую напряженную фигуру.

— Лишний раз не помешает,— подняла она воинственно подбородок.

— Мы же не на поле брани, может, не будем бряцать оружием? — предложил он.

— Посмотрим...— неопределенно сказала она.— Я заметила, что ты любишь подминать под себя всех, кто послабей. Со мной подобные номера не проходят...

— Что ты выдумываешь? — недовольно воскликнул Рубцов.— И за кого меня принимаешь?

— За того, кто есть,— настойчиво повторила она.— Именно поэтому я бросила мужа. Ему тоже хотелось всегда быть наверху. Я объелась мужским эгоизмом. И деспотизмом!

— У нас все будет иначе,— мягко пообещал Рубцов.

— Ты уверен, что будет?

— А ты?

— А как же два медведя в одной берлоге? — пытливо глянула она.

— Разве мы медведи...— укоризненно покачал он головой.

— Положим, ты нет. Но я сама назвала себя волчицей, помнишь?

— Это же художественный образ, так надо понимать? — попытался он оправдать ее выпад.

— А кто назвал патологией такое искусство? — лукаво и многозначительно посмотрела она.

— Ты злопамятна,— снова вонзился в нее глазами Рубцов.— А это опасно...

— Скорее мстительна,— поправила она, не отводя взгляда.

— Это еще страшнее!

— Да, не легче...— ей никак не хотелось уступать.

Рубцов, заметив это, пошел на мировую первым:

— Сегодня такой день, а мы гремим доспехами. Может, перевернем пластинку. Имя Надежда должно внушать веру в будущее,— и он приветливо улыбнулся.— И любовь!

Она взяла недопитое вино и покорно подошла к нему.

— Действительно. Я даже не поздравила тебя с новосельем. Так поздравляю! И желаю разумной и долгой жизни — с любовью, советом, счастьем творчества.

И, опорожнив,хватила сосуд об пол так, что осколки разлетелись по всем углам; и за стеной недовольно пробурчал женский голос.

— Совсем забыла, что ты не один,— сконфузилась Надя.

— Эмоциональная дама,— несколько смялся Рубцов.— Так и до выселения достукаться недолго.

— Испугался? — с напускным злорадством сказала она.— А поэзия трусов не любит.

— А кто здесь трус? — неожиданно возвысил голос Рубцов и со всего маху треснул об пол свой стакан.

В стенку неожиданно и резко постучали, и снова послышалось недовольное, почти угрожающее рокотание.

— Как надоело мне это злобное бормотание,— отчаянно проговорил он, косясь на стену.

— Пойдем лучше ко мне,— предложила она.— Мое новоселье тоже почти не отмечалось.

— Не слишком ли много событий для одного дня? — раздумчиво произнес Рубцов, но она уже обхватила его за талию и подталкивала к дверям, и — странно — он не упирался.

— Ты парализуешь мою волю,— насмешливо сказал он.— Но я как будто этому рад.

Они спустились по широкой щербатой лестнице и вышли на берег. Река под слабым ветром рябила и чмокала у берега, как ребенок во сне. Солнце поблескивало среди оставшейся листвы и обнаженных веток, но почти не грело. Уже недалеко было то время, когда окончательно смирится вода и пока еще работающий катер-перевозчик встанет на прикол.

Рубцов остро чувствовал угасание природы и невольно вместе с ней съеживался, кутался в легкое демисезонное пальтецо и поднимал куций воротник, едва-едва прикрывающий голую шею от ветра. И все время норовил повернуться спиной или боком к любому порыву, глубже втягивая голову в плечи, и поправляя на груди поношенный шарф.

Д... смотрела на него вроде бы с материнской жалостью, но в то же время как бы и гордясь, что ей нипочем не только эти осенние похолодания, но и грядущие морозы. Лицо пылало под свежим ветром, рыжие волосы вспыхивали от лучей солнца, просвеченные насквозь до самых корней. Она шла, размашисто и твердо ставя ноги в желтых полусапожках, удачно сочетавшихся с ее прической и розовыми круглыми коленками, дразняще мелькавшими из-под разлетающихся пол светлого пальто. Высокая обтянутая грудь слегка колыбалась при каждом шаге, и Рубцов изредка поглядывал на нее, плотнее сжимал губы и зябко передергивал плечами. Ему все больше нравилась эта женщина, и он не скрывал подкатившего волнения ни от себя, ни от нее.

— Что,— поддразнивала она.— Познабливает?

— Да от таких картин зазнобит,— рассмеялся он, и она, угадав полный смысл фразы, игриво проговорила:

— Недалеко до тепла...

Наконец дошли до автобусной остановки, и она ловко впрыгнула в отворенную дверцу.

Сели рядом, и он даже сквозь одежду вскоре ощутил ровный жар ее молодого и крупного тела.

Оказалось, она жила под самой Вологдой, почти в черте города, в небольшом одноэтажном домике барачного типа. И самым

приятным оказалось то, что у нее свой вход и свое крылечко, на которое Рубцов после дороги с облегчением опустился.

— Благодать,— сказал блаженно.— Забыл, когда в последний раз сидел на деревенском крылечке.

— У нас есть и завалинка,— похвастала она.

— Завалинки да валенки — это еще впереди!

— Валенки-то, кажется, уже не будущее, а настоящее,— улыбнулась она, намекая на то, что в его квартире уже видела пару черных валявшихся в углу катанков.

— Это реликвия. По наследству достались,— неопределенно сказал он.— И очень удобны для работы: ноги не мерзнут.

— Ты ж трудишься на ходу.

— Не всегда. Во всяком случае пора переходить к оседлому образу жизни.

— Пора, мой друг, пора,— поддержала она.

— К тому же «года к суровой прозе клонят», а романы на ходу не сочиняют.

— Значит, запасаясь впрок?

— И начинаю с самого необходимого. Унесу в мастерскую, чтоб подшили. У отца одолжил.

— Ты мне про него ничего не рассказывал.

— Я тебе о многом еще не рассказывал. Но расскажу,— пообещал Рубцов.

— Умею ценить откровенность.

— Но ее надо заслужить.

— Я буду очень стараться.

— А вот стараться как раз не нужно. Лучше на откровенность отвечать откровенностью.

— Согласна,— искренне откликнулась она.

— Тогда заводи в дом да растапливай печку.

— И растоплю. Скоро дочку из садика приведу, она тоже тепло любит.

Рубцов встрепенулся при упоминании о Надиной дочке, видимо, забыл о ее существовании, сразу погрузился, задумался. В памяти произвольно ожил облик собственного ребенка, такого хрупкого и застенчивого, такого похожего на него самого и острыми глазами с частыми ресницами, и даже умением переплетать при сидении ноги так, как немногим из детей удастся. Сколько времени он ее уже не видел, не бывал в Николе? Опять больше полугода... И его туда не зовут, и к нему повидаться не едут. Понятно, теща, как всегда, на страже... И снова перед глазами выросла огромная фигура этой несуразной тетки с седеющими жесткими волосами, которую обычно слышно за версту, если она с кем-нибудь лаялась. А когда ходила по дому, половицы стонали,

прогибались под ее твердокаменным властным шагом. Она словно понимала собственную несуразность и неженственность и, бесясь от невыносимого этого понимания, искала на ком бы выместить злость, и чаще всего обрушивала ее на близких. И тут равно доставалось и зятю, и внучке, и родной дочери.

Глаза у тещи были разные: один карий, другой голубой; и в зависимости от того, какой стороной она к тебе повернется, менялся и ее облик: если стояла в профиль голубым глазом, лицо не было столь суровым и отпугивающим; а если же поворачивалась карим — желание говорить с ней отпадало само собой. Может, Рубцову так одному казалось, вернее, мстилось, но он обращался к теще только в крайних случаях. Обычно вел переговоры через Гету. И сейчас, вспомнив свое прежнее житье-бытье, удивился, как он мог столько времени терпеть такого гренадера в юбке и как, должно быть, несладко приходится сейчас его безответному ребенку.

— Что замолчал да пригорюнился? — донесся до него ласковый голос Нади, совсем отогревшейся дома и помягчавшей.

— Так, ничего...

— Скрываешься? — упрекнула она. — Хотя сам знаешь: выговоришься — и полегчает.

«Как она все угадывает? — подумалось ему. — Неужели родство душ?»

— Вряд ли мне когда-нибудь полегчает, — ответил он глухо, почти безнадежно.

— Не надо отчаиваться. Я знаю, что ты вспомнил свою семью...

— Ты что, ясновидица? — удивился Рубцов и пристально, подозрительно посмотрел на нее.

Но невинное и доверчивое выражение ее крупных глаз рассеяло подозрение, хотя она сказала:

— Не только ясновидица, но и ведьма, — и разлилась мелким бубенчиковым смехом.

— С детства я дружил больше с девчонками, — признался он, — во все их тайны был посвящен, но так в народе этом и не разобрался...

— И не надо пытаться, ибо женщина — это бездна, — сказала она, подойдя к нему сзади и вдруг обвив шею руками. Он услышал возле уха сдавленное горячее дыхание и попытался повернуться к ней лицом.

— Стой, не шевелись, — приказала она. — Ничего не портить...

И он стоял, не шевелясь, покорный и притихший, спиной ощущал упругость сильно прижатых грудей, и невольно потерся шершавой обветренной щекой об ее теплую близкую руку.

— Спасибо тебе,— размягченно прошептал он, почуяв наплыв тоски и нежности, попытался взять Надю за круглый локоть, но она резко отстранилась, как ни в чем не бывало спросила:

— Чай пить будешь?

Он перевел сдавленное дыхание, посмотрел плохо видящими глазами на ее усмехающийся рот и через силу выдавил:

— Ради новоселья?

— Ах, да! — наигранно воскликнула она.— Совсем забыла. Мы-то уж это дело частично sprysнули...

— С кем? — вдруг резко и твердо спросил Рубцов.

— С соседями,— заигрывая и увлекая, ответила она.

— И только?

— А кого бы ты еще хотел?

— Никого, кроме себя!

— Вот как! — вроде бы удивилась она, продолжая кокетничать и хлопать ресницами.— А это не слишком?

— Не слишком! — снова твердо отрезал он.

— Ты, кажется, забыл, что женат,— внятно и спокойно сказала она.— А я свободна...

— Уже не свободна,— заявил он, смотря прямо в лицо и обозначив желваки.— Запомни это!

Рубцов решительно толкнул дверь, прыгнул с крыльца, не касаясь ступенек, и зашагал в сторону шоссе.

Она выскочила за ним, несколько раз позвала укоряющим голосом, но он не отозвался и не оглянулся...

«Вот так пирог...»,— размышлял он, постепенно отходя и раскаиваясь.— Что же получается? Влюбился, что ли? Похоже...» Прежде не было ни такого волнения, ни ревности, ни срывов. В студенчестве увлекся одной сокурсницей... миленькая мордашка, не глупа и даже не лишена способностей. Но разве можно назвать любовью отношения, когда дело доходит до таких фривольностей, после которых смотришь в глаза, уже не испытывая ни робости, ни смущения. И что особенно задело его — она первая начала подбрасывать стихотворные записки во время тягучих лекций. И, конечно, вроде бы от скуки. Одна из них была такая:

*Любил он женщин и вино,
Но —
Износился преждевременно!*

Ему ничего не оставалось делать, как принять вызов и ответить, сделав соответствующее ударение на «Но»:

*Признаться, износился малость,
Но —
На тебя еще осталось.*

Она обрадованно фыркнула в платок, многозначительно глянула на него, и в тот же вечер у них все сотворилось...

А потом он писал уже пространное послание в том же духе. Благо, хватило ума не показывать... хотя бы ей...

*Переулком иду вразвалку я,
Сам себе говоря не спеша:
Ты сегодня такая жалкая,
Что до крика саднит душа.
Вот впилась ты зрачками кошачьими
Жадных, преданных, бабьих глаз.
Ладно, вечером приворачивай,
Пожалею в последний раз.
И походкою, деланно — бодрою,
Приплывешь ты ко мне на крыльцо,
Щеголяя упругими бедрами
И горячим красивым лицом.
И, сгорая в жару неистовом,
Мою шею руками обвив,
Сколько раз этой ночью мгlistою
Ты откроешься мне в любви?
Я смолчу на твои признания,
Про себя отмечая лишь,
Что любовь наша на смерть ранена.
А покойника не воскресишь.*

О какой любви тут говорить?

Смутила покой еще одна женщина. И сейчас наверняка ждет-не дождется его. И всякий раз, встречаясь на улице, скомканная и молчаливая, идет навстречу и заглядывает искательно в глаза. Почти молит! И стыдно делается, и жалко, и больно потому, что нет к ней того, чего ждет она. Хотя он понимает, что достойна; может быть, более всех достойна истинной любви за свою верность и преданность, за безоглядную жертвенность и покорность. Бледное лицо и худые руки, хрупкие плечи и острые коленки, какая-то испуганная, нерешительная походка и еле слышный голосок, вечно тоскующие глаза и смиренная улыбка — все-все надрывало его сердце и лишало покоя и нормального сна. Он дал самую малую надежду, но, оказалось, этого было достаточно, чтоб воспламениться истосковавшемуся от одиночества сердцу немолодой

женщины, которая теперь была согласна на все, лишь бы чувствовать себя нужной хоть чем-то, хоть иногда — и за эту малость была благодарна ему как богу.

Рубцов каялся в собственной безответственности и черствости, пытался разгорячить себя, перебороть нежелание отвечать на ее нежность. Но ничего из этого не выходило, кроме притворства и конфуза. Он ощущал в себе только жалость, а никак не любовь. Не однажды сбегал в длительные командировки и, возвращаясь, неизменно находил в почтовом ящике разноцветные открытки со знакомым запинаящимся почерком, где чаще всего повторялась одна фраза: «Колокольчик мой, где ты звенишь теперь? Я так скучаю по твоему голосу».

Он пытался отговорить ее делать такие надписи, потому что не однажды перехватывал полускрытые ухмылки почтарих, выдававших ему корреспонденцию, и понимал, что те, конечно, регулярно прочитывали подобные послания.

— Вера,— внушал он.— Ты же ставишь меня в нелепое положение.

— Чем,— пугалась она, и на глазах мгновенно появлялись слезы.

На него снова накатывала жалость, и он решал оставить все как есть, боясь, что любое неосторожное слово только добавит страданий ни в чем неповинному человеку.

Друзья, посвященные в их отношения и сочувствующие его неустроенности и одиночеству, намекали, что лучшей заботницы невозможно представить для таких неорганизованных натур, как он. К тому же, у Веры была однокомнатная квартира, куда охотно приглашались и находили непритворное гостеприимство любые его товарищи. Но Рубцов больше всего избегал лишней раз появиться именно в этом доме, чтоб не обременять и без того несвободную душу и память.

И вот возникла Д... Она поглотила воображение сразу, с начальной встречи. Не случайно кто-то сказал, что любовь бывает только с первого взгляда, все остальное — сближение. В этом есть своя сермяга... И не только необычностью облика притягивают некоторые особи, но скрытой внутренней мощью. В Д... несомненно она была и создавала некое магнитное поле, в которое он и попал. Рубцов не считал себя слабым человеком и способен был разорвать любые вериги, но вся загвоздка в том, что тут ничего не хотелось рвать, а наоборот хотелось еще больше запутываться. Это, видимо, и называется «сладкими путями». А то, что она вроде нехотя шла на сближение, только больше распаляло самолюбие и упорство. Он не позволял, чтобы его отталкивали или покидали и, предчувствуя неизбежность разрыва, первый шаг

всегда делал сам. И не однажды повторял, что, кроме гордости и достоинства, природа не отвалила ему других капиталов, поэтому оберегал их с особой щепетильностью и тщательностью. Обостренная бдительность безусловно усугубляла и утяжеляла и без того развившуюся до подозрительности гнетущую и съедающую ревность. Все это Рубцов понимал разумом, но не мог одолеть волей.

IV

Миша Колябин в своей родной молодежной газете разбирал редакционную почту с новыми стихами.

— Ну что, много начирикали? — спросил сосед слева, молодой ушастенький паренек.

— Не та погода. Настоящее чириканье начинается весной. Вот когда отбою не будет, — ответил Миша. — Зато есть перлы в прозе. Хочешь почитаю?

— Давай.

— О Сергее Орлове. Какой-то хмырь пишет, разумеется, считая себя ничуть не ниже мэтра. И — каков стиль!

«Белозерский мужик, чуть рыжеватая бородка — прихоть, дань прошлой моде художников и писателей. Вернее, мода тех известных из XIII—XIX веков, им и подобало носить бороды из-за недостатка времени на церемонию бритья. Время они ценили. А Серега? В его время были в ходу электробритвы. Но он хотел походить на Пушкина. Не будем пенять ему в этой мелочи. Человек силен не по наружности, а тем, что было у него внутри, чем дышал, чем мыслил».

— Идиот, он даже не знает, что Орлов горел в танке, поэтому и носил бороду, — возмутился сосед.

— Не перебивай, слушай дальше. — «... И не его вина, что не успел создать мне протее. Созревший плод упадет на землю раньше, чем он бы желал. Так вот, о нашей встрече. Коренастый, сутулый, вваливается в дверь, как медведь, протягивает руку, круглую, пухлую, левую: Серега! — Юрка, — говорю. — Удивил ты меня. Бывал кое у кого, а у тебя в первый раз. Но, даст бог, не последний. — Сергей, вы меня обижаете. — Обижайся, но не напрягайся». Так произошло мое знакомство с поэтом Белозерским. Вспомнить есть чего! Сейчас спустя много лет, я и не припомню, он ли раньше Александра Яшина пришел, или Яшин пришел ко мне раньше Сергея за какие-то минуты, но суть не в этом. Оба уже известные, мои земляки, были простыми людьми, не было в них выделения себя среди людей. Это мне нравилось. И я был равным среди почитаемых. Ни бахвальства, ни тени высокомерия. Сидим

минут пять молча. Яшин предлагает спеть хором. Что, Сережа Орел, начинай: «Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью». Мы с Александром подхватываем: «Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою...»

— Не зря говорил Яшин: вам скоро будут платить за то, чтобы вы не писали,— на пороге стоял Рубцов, он не входил в комнату во время чтения, чтоб не помешать, но все слышал.— Хотя Яшин сказал это по другому поводу...

— А тут за вас редактору досталось,— сообщил Мишин сосед Рубцову редакционную новость.— За вашу новую подборку. Говорят, вы его поставили под удар.

— То есть? — прищурился Рубцов.— Во-первых, я прежде всех себя ставлю под удар, если печатаю нечто свое. А потом, что это такое: если остро, значит — под удар. И редактора надо пожалеть? Такой молодой — и уже бережет себя. Как же он дальше-то собирается жить и руководить юношеской газетой?

— Может, на этот раз надо было поосторожней? — засомневался ушастенький.

— Тогда надо заниматься не литературой, а филателией,— мрачно посоветовал Рубцов.— Раньше считали: если в газету дали приличные стихи — ей сделали честь! Правда, это считали раньше.

— Вы нам что-нибудь принесли? — снова возник ушастенький, обращаясь к Рубцову.

— Принес, да боюсь показывать, опять заругают...

— Давай, давай, Коля, не ерунди,— протянул Миша руку.— Твое дело творить, наше — отбояриваться.

— Ну, глядите, тогда,— и он протянул небольшую пачечку листов.

Миша тут же пробежал глазами две первые странички.

ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

Взбегу на холм

и упаду

в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

И вдруг картины грозного раздора

Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звездных берегах.

И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг

В крови и в жемчугах

Тупой башмак скуластого Батыя...

*Россия, Русь — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот их у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.*

*Кресты, кресты...
Я больше не могу!*

Миша поднял глаза на Рубцова и, прочитав во взгляде вопрос, коротко ответил:

— Все будет в порядке!

Миша подошел к графину с водой, стоявшему на подоконнике, и, поднеся стакан ко рту, невольно глянул на улицу и удивился, увидев прогуливающуюся между деревьями рыжеволосую знакомую Рубцова.

«Странно,— подумалось ему.— Сидит здесь не меньше полчаса, беседует на литературные темы, а даму заставляет дрогнуть на ветру». Он хотел сказать об этом, но Рубцов, перехватив взгляд, опередил:

— Не надо.

— Ну, пусть зайдет, познакомимся. Я знаю, что она тоже пишет...

— Рано еще,— отрезал он.

— Что рано?

— Печататься.

— Но у нее, говорят, даже книга вышла.

— Это ничего не значит. Подумаешь, в каком-то Воронеже что-то вышло,— пренебрежительно произнес он.— Если б в Вологде...

— Ну, как знаешь,— проямлил Миша, чувствуя, что настаивать бессмысленно.

— Вот подрастет, подбреет — тогда сам принесу.

— Смотри, не передержи в черном теле, — предупредил Миша. — Женщины не выносят замалчивания.

— Я знаю, что делаю, — сказал Рубцов и, коротко пожав обоим журналистам руки, быстро удалился.

Молодой паренек с оттопыренными ушками ничего не понял из разговора.

А Миша задумался... С появлением этой женщины Рубцов стал еще более замкнут и резок. С нею он почти никого не знакомил. Мише, правда, однажды показал издалика и назвал; остальное доходило из разных источников.

— Ты бережешь ее как козырную карту, — попенял как-то Миша Рубцову.

— На туза пока не тянет, — подтвердил тот мрачновато, — но козырная дама — не меньше.

— Раз ты ввел в оборот картежную лексику, то ответь, на кого ты ее припас? — спросил Миша.

— Со временем она многих заткнет за пояс.

— Так талантлива?

— Только не могу переломить дикую силу. Поэтому пока страшно выпускать на люди.

— Но я помню ангельский голосок.

— Ты очень легко идешь на манок, — посмотрел Рубцов на друга. — К сожалению, я тоже.

— А коли манок, то лети от него прочь и далее.

— Мне известен твой радикализм, но он не везде выручает.

В словах Рубцова прозвучало столько тоски, почти обреченности, что Миша не удержался от горького вопроса:

— Что же делать?

— Не надо торопить время. Оно умеет само расставлять все на свои места.

Ответ Мишу Колябина не удовлетворил, и, понимая, что эта женщина отныне стала много значить в жизни друга, которого он любил и оберегал, поставил для себя непременно с ней познакомиться и — если удастся — совместными стараниями и усилиями помочь Рубцову обрести душевное равновесие, поддержать в трудную минуту, успокоить и утешить в непогоду.

V

Рубцов сидел за своим письменным столом и писал письмо давнему флотскому другу. «Валя, привет, привет! Давно, давно собирался написать тебе, да все не мог собраться, в силу своего беспланового, неорганизованного образа жизни. Начну с ленин-

градской эпопеи. Прописан я там все-таки был, но этот случай относится к числу исключительных, ибо там свято и железно чтут указание горисполкома не прописывать граждан из-загорода, тем более из других областей. Появись в городе Диоген, даже Диоген, его все равно не прописали бы здесь ни в одной бочке: бочек хватает и в других городах.

Жил в общежитии, очень благоустроенном. Газ, паровое отопление, красный уголок с телевизором, с книгами и журналами и с симпатичными девушками. Был вестибюль с большим зеркалом напротив входа, с большим количеством столов и стульев.

В комнате было всегда тихо, как в келье. Жили со мной еще три человека. Один — врач (к сожалению, гинеколог), любитель поговорить о стихах Надсона, хотя понимал в поэзии столько же, сколько лошадь в мохеровой ткани. Другой — инженер, полсталетний холостяк с капризным и придурковатым характером и, хуже всего, с болезненной привычкой стонать, охать и кричать, совсем как филин, по ночам. А встанет с похмелья, лучше удирай из комнаты: стонет непрерывно, орет, будто рождает, и, прости за неуместную прямогу, пердит. Он, к счастью, неразговорчивый и редко бывает дома. А придет — все что-то пишет, пишет. Ну, думаю, какой умный человек! Но когда однажды в разговоре он назвал глупым и некрасивым известное выражение «зубная боль в сердце» (помнишь, Горький, решив застрелиться, сказал, что виноват в этом философ, придумавший зубную боль в сердце?), так вот тогда я потерял всякий интерес к устройству мозгов и души у этого инженера.

Третий был за год до меня демобилизованный моряк. На заводе он ударник. Дома — мой напарник по уничтожению пережитков прошлого, вернее одного пережитка: водки. Но сколько бы мы не уничтожали, все равно в магазинах навалом. Так что наши перспективы в этом деле, увы, плачевны. Очень часто вечерами он уходил к соседке, в которую влюблен, иногда приводил ее в нашу комнату. Нежность свою к ней он выражал на удивление своеобразно: грязным пальцем тыкал ей в нос и при этом блаженно улыбался. Еще у него была странная привычка задавать наивные вопросы. Говоришь: «Налей, пожалуйста, чаю». — «Какого чаю?» Или: «Помнишь, Хрущев летал в Индию?» — «Какой Хрущев?»

Повторяю, в комнате у нас было тихо, зато в коридоре... Детей, как цыплят в инкубаторе, то соловьями заливаются (у многих свистульки), то слезами. И все прочее...

На литературных вечерах слушал поэтов. Встречались и с декадентским душком, например, Бродский...

Он, конечно, не завоевывал призов, но в зале не было равно-

душных во время его выступлений. Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал:

У каждого свой храм!

У каждого свой гриоб!

Шуму было! Одни кричат: «Причем тут поэзия?! Долой его!» Другие вопят: «Бродский, еще! Еще! Еще!»

После таких вечеров я долго не мог спать, а утром опаздывал на работу, потому что просыпал. Печальный факт тлетворного влияния поэзии, когда слишком много думаешь о ней, в отрыве от жизни, в отрыве от повседневных гражданских обязанностей! Знал, что завтра на работу, но не придавал этому особого значения, должного значения, и, как видишь, поэтическое настроение в момент приходило в противоречие с задачами семилетки, обращалось в угрызение совести и в деньги, которые мог бы заработать, но не зарабатывал.

Так и в стихах. Поэзия исчезает в них, когда поэт перестает чувствовать землю под ногами и уносится в мир абстрактных идей и размышлений. Как говорится, выше пяток не прыгнешь. Поэзия тоже не может прыгнуть выше жизни. Что не жизнь, все смерть. А что мы, флотские поэты, делали? Часто делали? Не пытались даже присмотреться к ней, к жизни, не старались познать ее в конкретных подробностях, брали готовую, казенную мысль и терпеливо протаскивали ее сквозь весь свой лексикон, надеясь, что чужая мысль обрастет новыми словами. Но — не трепыхайся, будешь все равно бессилён перед законом природы: чужая мысль — чужие слова, твоя мысль — твои слова! А твои мысли, твои слова — только в твоей жизни. Коли есть талант, воспой не то, что тебе предлагают, а то, что видишь ты. Слышишь ты, чувствуешь ты, чем живешь — ты. И если духовно и идеологически ты в авангарде времени, — никогда, никакого отрыва от жизни не произойдет. Казенщина — это явный уход от жизни, отставание. Это не почва для поэзии. Это почва, по которой могут продвигаться лишь стихи-курицы, способные в лучшем случае лишь вспорхнуть на газетную страницу. Прости, что я ударился в разглагольствования.

Наверное, читаешь и думаешь: «Вот дурачина! Мелет всякое!» Можно всю эту философию перечеркнуть и сказать коротко поговоркой: «Сухая ложка рот дерет!» Стихи без жизни — именно сухая ложка.

Пару слов о планах на будущее. Ох, уж ни к черту планы! Их у меня вовсе нет. Просто не знаю, что делать. Вместе с юностью

словно прошла и вся жизнь и нет ни мечты, ни любви к какому либо делу, кроме стихов. Выглядишь бездельником, хотя и без дела не сидишь. Слава богу, я хоть стихи люблю, и мне наплевать, если сам их не научусь писать. Ведь стыдно лезть в поэзию со своими виршами, когда знаешь, что были Шекспир, Пушкин, Тютчев, когда знаешь, что они есть — и Шекспир, и Пушкин, и Тютчев...»

В дверь постучали, Рубцов спрятал письмо в стол и пошел открывать.

— Надя! — обрадовался он, увидев на пороге Д...— Пришла... Ну, проходи, проходи, раздевайся и усаживайся.

— Я не помешала? — кокетливо спросила она.

— Ты не можешь помешать. Во всяком случае — мне.

— Чем занимался? — она оглядела письменный стол, где лежали бумаги и ручка. — Работал?

— Да нет, так, всякие бумажки перекладывал...

— Какие же?

— О, женское любопытство! Вот готовлюсь отвечать редактору Олюшкину, посмотри, какую на меня рецензию накарябал, — и он подал подвернувшийся под руку листок. Она взяла и начала вслух: «Стихи Н. Рубцова привлекают своей едва ли не детской непосредственностью и нравственной свежестью. Они прозрачны и наивны, в них совершенно нет признаков какого-либо, хотя бы небольшого, жизненного опыта. Он пишет обо всем, что видит вокруг, в не очень богатом деревенском мире: о развалинах собора у дороги, о грустной лошади, которая ему повстречалась в пути, об иве, выросшей у беспокойной реки, о вороне в осеннюю погоду и т. д. Лучшие стихи сборника читать приятно. Они будят какую-то светлую грусть и еще какие-то очень светлые чувства...»

— Ну, хватит, — вырвал он листок из ее рук. — Встречу, обязательно набью морду этому Олюшкину.

— А на тебя никогда не писали отрицательных рецензий?

— Писал... один... Внутреннюю.

— Ну, и как ты пережил?

— Я-то пережил. А он на другой день помер.

— Ты всерьез?

— Конечно.

— Ничего себе, — задумалась она. — Значит, ты отмечен богом... И тебя нельзя трогать?

— А тебе это не нравится?

— Что ты! — встрепенулась она. — Лучше богом, чем дьяволом.

— Хочешь, я прочитаю тебе мой ответ одному корифею мысли? Фамилия его Лонпе. Так вот: «Вы пишете, что на вас странное

впечатление произвело стихотворение «Воспоминание». А мне, хочу признаться, странным кажется Ваше впечатление. Что искусственного в том, что первые раздумья о родине связаны в моих воспоминаниях с ловлей налимов, с теми летними вечерами, какие описаны в стихотворении?

Я чувствовал, что люблю свою деревню, реку, где можно ловить налимов, где полощется заря и отражаются кусты смородины, люблю все, что вижу вокруг, и, грешен, не подозревал, что эта любовь неестественна, поскольку она не связана с такими понятиями, как «целина», «спутник», «борьба за мир», «пятилетний план». Вы говорите: «стихи очень традиционны». Согласен. Но этот грех наполовину не мой. Когда-то, читая стихи в газетах, я убедился и был убежден до последнего времени, что, кроме поэзии «ура-патриотической», у нас никакая другая поэзия не принимается. Когда-то я печатался в газете «На страже Заполярья» — газете Северного флота. Там уж я на себе испытал, что значит быть связанным строго заданными темами, не допускающими, так сказать, «художественной самостоятельности»: «Любовь к морю», «Сердце героя», «Служба на корабле», «В строю» и т. д. Все авторы изошряются в выискивании оригинальных деталей, но главная-то мысль все равно не оригинальна, поскольку она газетная, казенная, как матросская шинель, выданная под расписку. Не только там, но и в некоторых других газетах шаблон, казенщина, можно сказать, узакониваются. После каждого напечатанного в такой газете стихотворения можно говорить другу: «Поздравь меня с законным браком».

— Я смотрю, ты ведешь напряженную жизнь,— сказала, помолчав, Д...

— Иной никогда не получалось. Да я и не признаю иной.

— Спасибо, что доверяешь мне такие секреты.

— Какой же секрет в том, что поэтам никогда не дают жить по-человечески?

— Я о другом. Мне дорога твоя откровенность,— с чувством сказала она.

— Но ее не видно с твоей стороны,— в упор посмотрел он на нее.

— Тебе же безразлична моя поэзия, а меня это бесит. Я знаю, что ты сильный... Но нельзя же постоянно оскорблять женщину. А ты все время прижимаешь к стенке. То не так, то не эдак.

— Ты чего завелась-то? — засмеялся Рубцов, удивленный таким поворотом разговора.— Я совсем о другом...

— А я об этом! — настойчиво проговорила она, и ее голубоватые глаза приобрели сталистый оттенок.— Поэзия для меня все. Если ты не признаешь меня как поэтессу, значит, я тебе нужна только как баба.

— Ну, скажем, не баба, а женщина. Что в этом плохого?

— А то, что ты такой же, как все. А ведь ты все-таки поэт... и должен...

— Да, все-таки... Но никому ничего не должен. Почему-то мне никто не должен, а я — всем, — перебил он. — Неплохо устроились. Накрутили, понимаешь, словес о долге, обязанностях... Но только в одну сторону — свою.

— Ты всеми недоволен?

— Прежде всего — собой.

— Ну, уж нет! — возразила она горячо. — Каждую строчку ты лелеешь, не позволяешь даже пошевелить.

— Зато каждую я и выстрадаваю.

— А другие — нет? — ядовито усмехнулась она.

— Не все, но многие.

— Тебе недавно дали на рецензию рукопись Олега Голубя.

— А ты откуда его знаешь? — подозрительно посмотрел он на нее.

— Я многих знаю...

— Про многих не спрашиваю. Откуда ты знаешь Голубя, взявшего себе такой невинный псевдонимчик?

— Приходилось встречаться.

— Где?

— Мало ли...

— Он тебе показывал мою рецензию?

— Я сама у него попросила.

— Где ты могла попросить? Ты была у него дома?

— С чего ты взяла?

— Но не могла же ты на улице читать мою рецензию. Так где же читала?

— У него на работе.

— Ах, вон оно что... Значит, он пригласил тебя на радио? Он же там подвизается — радиот?

— Он подготовил передачу моих стихов.

— А ты обрадовалась? — съязвил он.

— Причин печалиться нет, — с вызовом ответила она, — и не было!

— Он же прозаик, что он понимает в поэзии?

— Не беспокойся, не меньше других.

— Ты хотела сказать: не меньше меня? — недобро прищурился Рубцов.

— Что ты? Больше тебя никто ни в чем не понимает... — съязвила Д...

— Надя, зачем ты изводишь меня? — вдруг печально и болезненно спросил он.

— Ты изводишь себя сам.
— Знаешь, что я боюсь потерять тебя и пользуешься этим?
— Боишься потерять? — переспросила недоверчиво она. — Но я же с тобой.

— Когда говоришь со мной, ты словно говоришь еще с кем-то, — напряженно произнес он.

— Это уже твои домыслы... А может, — бред?

— Возможно, и бред, — безвольно согласился он и вдруг, словно устав, размяк, опустился на диван и сжал голову руками.

— Все происходит от твоей беспричинной ревности, — тихо, но внятно сказала Д...

— Беспричинной? — он поднял глаза. — Причин, по-моему, более чем достаточно.

— Назови хотя бы одну.

— Пожалуйста: Голубь!

— Ха-ха-ха, — наигранно раскатилась она. — Нашел к кому ревновать. Да я его и видела-то всего два-три раза.

— Ты считаешь — мало?

— Ну, вот снова за рыбу деньги, — устало вздохнула она. — Тебе надо лечиться.

— От насморка? Так я освободился от него еще неделю назад.

— От неврозоз, — напористо сказала она. — Я поговорю с врачами, у меня есть знакомые.

— Не успела приехать — уже везде знакомства, — удивился Рубцов. — Поделись опытом.

— Ты не умеешь сходить с людьми, — вроде бы пожалела она.

— А ты слишком легко с ними сходишься. Со всякими! — резко подчеркнул он. — И не смей про меня говорить ни с какими врачами. Не хватало еще пустить слух, что я псих. Кому это надо?

— Прежде всего — тебе. Полечишься хоть...

— Мне такая слава ни к чему, — отрезал он, словно не слышал ее замечания. — Достаточно той, что есть.

— Та, что есть, тоже не лучшая.

— Мне плевать на обывательские разговоры. Обыватель видит и помнит одно: что писатели сидят в ресторанах. А когда они горбятся за письменными столами, он этого видеть не может, потому что туда его не подпускают. Поэтому и помнить не может, и говорить об этом — тоже.

— По-моему, ты не нажил горба за письменным столом, — весело посмотрела она на Рубцова.

— А у меня с детства аллергия на чистый лист бумаги.

И они оба рассмеялись удачной шутке и не сразу увидели, как в комнату вошел Миша Колябин.

— Смотрю, дверь не заперта, в комнате смех, значит, хозяин дома,— сказал он, здороваясь.

— Входи, входи, Миша,— пригласил Рубцов.— Знакомься.

Миша пожал ее руку и отметил не по-женски сильное рукопожатие. Хотел склониться и поцеловать пальцы, но раздумал, поняв, что такую сильную руку как-то неловко лобызать.

— Я много о вас слышала,— сказала она учтиво.

— От кого же? — полюбопытствовал Миша.

— У нее, оказывается, в городе целая сеть осведомителей,— вклинился Рубцов со своим замечанием.

— Опять понесло,— поморщилась она, и Рубцов тут же поправился:

— Кто же о тебе может больше всех говорить? Я, конечно.

— Ну, спасибо. Но чувствую: пока не заслужил такого внимания.

— Ах, ах, какие мы джентльмены,— покривлялся Рубцов и вдруг полушутя-полусерьезно добавил:— Руку-то у женщины можешь отпустить, уже представился.

И тут Миша понял, что до сих пор держит ее пальцы, и засмутился:

— Простите, ради бога...

— На первый раз прощаем,— глуховато сказал Рубцов.— Дальше будем делать выводы.

— Нет, Рубцов, ты невозможный человек,— покачала она головой.— Тебе всюду мерещатся соперники.

— Думаю, что я-то...— начал Миша.

— Не заблуждайтесь и на свой счет,— перебила она.

— Тебе явно хочется столкнуть и нас,— подчеркнул Рубцов,— но это пустой номер. Тут — никаких сомнений!

— Слава богу,— облегченно выдохнула она.— Хотя с одним человеком позволяется спокойно говорить.

— Но не слишком долго и не слишком часто,— предупредил в шутку Рубцов.

— Я смотрю, у вас тут не так безмятежно, как показалось поначалу,— сказал Миша Колябин.

— Совсем напротив,— подтвердил хозяин.— Обсуждаем вопрос, откуда у Голубя (с радио, должен знать) такой ягнячий псевдоним.

— Дался ему этот Голубь,— недовольно сказала Д...— Уж к кому прицепится — не оторвешь.

— Не я к нему прицепился, а он к тебе,— уточнил Рубцов.— Или ты к нему. Пока не выяснил.

— Хватит, Коля,— попросила она устало.— Право, хватит...

Миша действительно видел этого молодца несколько раз. Всег-

да подтянутый, чисто выбритый и любезный, с фасонистыми маленькими усами; черные с пробором вьющиеся волосы аккуратно уложены, влажные темные глаза постоянно и внимательно ощупывают собеседника, и создается впечатление, что он больше изучает, чем слушает. Его материалы регулярно звучали в эфире, поэтому фамилия, что называется, была постоянно «на слуху».

Приносил он свои рассказы Мише в газету, но это были чаще весьма приблизительные зарисовки; характерных вещей он явно не умел писать. Миша с ним поговорил откровенно. Голубь поблагодарил, пообещал заходить и впредь, но больше не показывался, и Миша понял, что тот, хоть и благодарил за товарищескую критику, но обиделся, поэтому и избегает встреч.

— Думаю, не соперник,— вслух высказался Миша.

— Ты недооцениваешь современных мальчиков,— не согласился Рубцов.— Слушал его как-то на одном обсуждении. Он, такой ласковый и воспитанный, навалился на товарища: вы очень много используете просторечий, даже диалектизм... Я вижу — это русский колорит, но мне не понятно, я не знаю этих слов. А тот не будь дурак да и ответь: «А я тут при чем? Вы не знаете, а я виноват?» Молодец, парень! В самое яблочко попал. Надо было только добавить, что они ругают диалекты и народную речь от злости и зависти. Они хотели бы писать так же, ярко и сочно, но им сие недоступно.

— Бедный Голубь,— пожалела Надя.— Теперь ему — точно — не выбиться в люди.

— В люди он уже выбился,— поправил Рубцов.— А в писатели — посмотрим, но вряд ли. А ты что, уже пожалела?

— Как же не пожалеть, если ты отпел его.

— Эти сами отпоют кого хошь.

— Да ладно, нашли тоже тему,— включился Миша.— Пойдемте лучше проветримся.

— И вся-то правда,— поддержал Рубцов.— Заодно зайдем к Решетову, давно приглашал.

— Наконец-то он решил меня вывести в общество,— торжественно и ядовито объявила она.

— А тебе очень хочется?

— Каждая женщина не равнодушна к блеску.

— Там ты меньше всего встретишь именно этого.

— Но Решетов все-таки величина,— звучит на всю страну.

— Большие имена тебе кружат голову.

— Ничего, от головокружений я редко падаю,— рассмеялась

Д...

Дверь им открыла маленькая проворная женщина, приветливо улыбнулась и со всеми поздоровалась за руку.

— Ангелина Ивановна, — представилась она и извинилась. — Простите за беспорядок, после переезда все никак не можем оправиться.

— Грандиозное было мероприятие, — засмеялся Рубцов.

Миша тоже не мог удержаться от улыбки, вспомнив, как они ворочали эти шкафы, диваны, серванты и фортепиано. А Рубцов явился лишь тогда, когда главные тяжести были перевезены, и люди, помогавшие Решетовым, перед последним походом уселись перекурить на оставшуюся мелочь. Миша, например, сидел в тазу с какими-то тряпками, собранными заботливой Ангелиной Ивановной по чисто хозяйской привычке ничего зря не выбрасывать. Мужики, потные, уставшие, понурые и трезвые, затягивались табаком в предвкушении предстоящего угощения. Не в первый раз кто-то спросил:

— А что Рубцов-то не пришел? Ведь обещался.

И вот он появился, попыхивая сигаретой и посверкивая веселыми довольными глазками. На него навалились из разных углов:

— Сачкуешь, дружок?

— Пришел к шапочному разбору...

— И флот не держит слова...

Но он, не вступая в пререкания, обвел всех сучующим взглядом и изрек:

— Плохая вам досталась доля...

Все опять оживились, загудели: «Конечно, не сахарная». Но он, снова не удостоив никого ответом, закончил:

— Живете вы без алкоголя.

И недовольства как не бывало. Весело разобрали остальные вещички и, похохатывая, направились к новому жилищу.

Подхватив приготовленную, увязанную сеточку с какими-то кастрюльками и банками, последовал за толпой и Рубцов, благополучно доправив необременительную ношу до места, поспел к столу, уже уставленному яствами по такому значительному поводу.

...Сейчас за этим самым столом сидел хозяин и угощал своего гостя выдержками из новой повести, попутно комментируя их. Раговор шел явно политический:

— Чем меньше ответственности у правительства, тем больше должно быть ее у писателей, — говорил он. — Особенно в нашу ядерную эпоху. Разумеется, это не относится к тем, для кого литература — выгодная статья дохода. Они пишут только то, что от них требуют, преуспевают в подобной писанине, заполняют

печатные площади. А истинному трудяге место остается только в ящике собственного письменного стола, где и оседают его художнические и гражданские прозрения.

— К сожалению, явление повсеместное, — пожалел собеседник Решетова.

— Ключевский, по-моему, сказал: «Когда у мыслителей быстро вертятся мысли, у немнящей публики кружится голова». Так вот мы слишком беспокоимся, чтобы она не кружилась вовсе, — махнул рукой Решетов, давая понять, что продолжать эту тему не желает, и обратился к Рубцову, нерешительно стоявшему в дверях.

— Проходи, проходи, бард, да освежи душную комнату хорошей строчкой.

— Разрешается сказать глухонемому? — дурашливо выкатил глаза Рубцов. — Допустим, что это начало моего будущего рассказа: «Она начала стареть, и от меня требовались все новые доказательства ее неувядающей прелести».

— А что, неплохо! — похвалил Решетов. — Но я думаю, ты посвятил это не своей спутнице?

— Она из неувядаемых, — сказал Рубцов. — Это и есть Надя, о которой я говорил.

— Ах, ты меня и здесь разрекламировал, — начала было Д..., но Рубцов грубо одернул:

— Не паясничай!

На мгновение все умолкли, и, чтоб разрядить обстановку, Ангелина Ивановна находчиво подлетела на коротеньких, но резвых ножках и заворковала:

— Проходите, проходите в комнату. Мужчины, ухаживайте за дамой. Сейчас я приготовлю чай.

Неловкость была снята, но Д... зло сверкнула глазами на Рубцова и прошла к скамеечке, поставленной у стенки, чтоб не садиться на диван рядом с ним:

— Можно я сяду пониже, чтоб никому не показалось, что не знаю своего места?

Рубцов занервничал, достал сигарету и вышел на кухню. Ангелина Ивановна, брякая чашками, улыбнулась ему.

— Какая она славная у тебя, Коленька!

Он вяло улыбнулся.

— А почему вы решили, что у меня?

— Но она же с тобой пришла...

— Это ровно ничего не значит.

— Ну, для нее-то уж наверняка значит.

— У меня же есть жена и дочка, Ангелина Ивановна, и вы это прекрасно знаете.

— Тогда почему же ты не с ними?

— И это вы знаете... Что они — не со мной, а я — с ними.

Он тяжело затаился табачным дымом и глянул на себя в маленькое настенное зеркальце. В глаза бросилась седина. Она вроде бы всегда росла быстрее остальных волос, топорщилась и выпирала, и первой бросалась в глаза. Ее прибавилось за последнее время, и поперечная морщина между бровей стала глубже и резче.

— Умереть бы... — полусерьезно сказал Рубцов. — И сразу бы — никаких проблем.

— Что ты мелешь! — неподдельно возмутилась Ангелина Ивановна.

— Хотя как раз, оказывается, — не слушая ее, проговорил Рубцов, — что меньше всего хлопот доставляешь, когда живешь: сам ешь, пьешь, ходишь... А покойники сколько внимания требуют! И гроб ему подай, и транспорт, и могилу выкопай, и на руках донеси, и венки припаси... А одних документов оформить — сколько надо...

— Коля, прекрати кошунствовать! — разозлилась хозяйка дома. — Я не терплю такого. Если тебе плохо, то не делай плохо другим. Лучше выпей чего-нибудь и успокойся.

— А что, можно?.. — улыбнулся хитро Рубцов.

— Вон, в холодильнике, — кивнула Ангелина Ивановна.

Решетов появился на кухне, когда Рубцов доедал ломтик сыра. Увидев хозяина, широко улыбнулся и обнял его:

— Какая у тебя хорошая жена, Алексей Петрович.

— Ну вот, — вроде бы недовольный, проговорил Решетов. — Выпьет положенную рюмку и полезет благодарить. Да еще и жену чужую нахваливать.

— И главное — от души, — подтвердил отмякший Рубцов.

— Конечно, за нашими спинами угощают тебя... Грех не похвалить.

— Да не в этом дело, — поморщился Рубцов.

— Дело не в пирогах, дело в загибах, — говаривал еще мой батя.

— Кстати, я считаю, совсем не пить нельзя. Вредно. Не для здоровья, конечно, а для души. На себе испытано. Вдруг начинаешь казаться себе неуязвимым, почти святым. Во всяком случае безгрешным. И окружающие тебя в этом убеждают. Жена не ругает, на службе уважают, премии выписывают, никто не смотрит с упреком или жалостью; и ты начинаешь поглядывать на них с высокомерием и осуждением. Смотрите, мол, какой я хороший, сильный и волевой, а вы что же? И никаких тебе терзаний особенных, испуга, что вчера кого-то обидел, чего-то

наговорил или наделал. А что же с похмелья? Ощущение, что ты хуже всех. Угнетающее чувство вины. И хочется очиститься, исповедаться, покаяться в стихах или в прозе. Покаянные стихи поэтому так и трогают всех. И главное — душа добреет, смягчается, и хочет всем простить их слабости, признаться, что она такая же незащищенная и грешная, как и все остальные.

— Ты посмотри, Лина,— обратился Решетов к жене.— Всего одну рюмку принял — и сколько философии изрек. И все в оправдание постыдного человеческого порока... Видно просит вторую.

— А он больше не хочет,— испытующе посмотрела Ангелина Ивановна на Рубцова.— Правда, Коля?

— Ну, раз вы считаете так, значит, не хочу.

— Вот и ладушки. Дальше будем пить чай. За ним тоже можно говорить умные речи.

Когда вошли в большую комнату и внесли чашки, Д... уже сидела на диване рядом с едва замеченным ранее гостем Решетова. Хозяин любил «выверять» свои свежие страницы на испытанном слушателе, и это был, видимо, один из них. Журналист, собственный корреспондент одной из столичных ведомственных газет. Его звали Аркадий Михайлович Спелов; и был он в меру дороден, холоден и воспитан. Сидел и смотрел на всех с достоинством, словами понапрасну не раскидывался, поэтому определить степень его понимания и зрелости было не просто, но Решетов частенько приглашал Спелова на такие читки, потому что благодарней и терпеливей слушателя трудно было представить; и к тому же он не курил, не сквернословил и почти никогда не возражал.

Рубцов встречал его и раньше, но в разговоры не вступал и не искал к этому повода, хотя тот несколько раз порывался навстречу. Спелов был просто-напросто не интересен Рубцову из-за узости своих ведомственных писаний, заданности и бедности напечатанных материалов, которые изредка попадались на глаза. Не испытывал к нему Рубцов до сегодняшнего дня никаких и других чувств. Но сейчас, увидев его сидящим рядом с Д..., бесцеремонно развалившимся и как бы утомленным, Рубцов сузил потемневшие глаза, когда хозяева снова вышли за чаем на кухню:

— Позвольте нарушить ваше уединение!

Д... сразу отпрянула от собеседника и предпочла пересест в дальний угол дивана, продолжая с интересом за всем наблюдать. Она словно поддразнивала Рубцова своей лукавой улыбкой, хотя и побаивалась его гнева. Рубцов опустил рядом и посмотрел на Спелова.

— А что ж вы прекратили беседу? Ведь я рискнул нарушить только уединение, но не разговор.

— Мы уже наговорились,— вкрадчиво, словно оберегая некий потаенный смысл, и в то же время почти невинно сказала Д...

— Жаль, я бы послушал. К тому же с тобой невозможно наговориться.

— Это я уже слышала,— с некоторым вызовом ответила она.

— Ты много слышишь, но мало запоминаешь,— отвердевшим голосом подчеркнул напрягшийся Рубцов.

— И что же вы предлагаете? — с вызовом спросила она.

— Предлагаю покинуть дом!

Д... вспыхнула. Играя, она явно не ожидала такого поворота, не ожидала, что Рубцов в присутствии посторонних людей может так унижить ее. Причем не тайно, не наедине, а бесцеремонно и грубо. Она замерла на какое-то мгновение, словно оглохла, потом порывисто встала и выскочила в прихожую.

— Коля, зачем же вы так? — недоуменно проговорил Спелов.

— Я вам не Коля! — резко оборвал Рубцов.— Коля я только для друзей, для вас — Николай Михайлович. И потом: с вами у меня будет особый разговор, только немного позже.

— Пожалуйста, я согласен,— пролепетал Спелов, ошеломленный таким натиском.

— А я не спрашиваю вашего согласия,— закончил разговор Рубцов и тоже вышел из комнаты.

— Что с ним? — спросил Спелов Мишу Колябина, стоявшего в это время у окна и не смеющего вмешаться.

— Вам следовало быть осмотрительнее,— с упреком посмотрел Миша на Спелова.

— Но я же ничего такого... не позволял.

— Еще бы вы позволили! — усмехнулся Миша.— Тогда бы уже ничего не предсказать...

— А что тут, собственно, предсказывать,— вдруг с некоторой обидой и вызовом спросил Спелов.

— А этого не знаю даже я,— небрежно ответил Миша и тоже вышел в прихожую, притворив за собой дверь. Спелов, разумеется, остался сидеть на диване.

Д... уже убежала, и Рубцов вполголоса внушал хозяйкам:

— Лучше встречаться чаще, чем не расставаться совсем,— с неопределенной улыбкой философствовал он.

— Ведь нехорошо, Коленька,— корила его Ангелина Ивановна.

— Что тут нехорошего: человеку понадобилось срочно уйти.

— Ладно, Лина,— вмешался Решетов.— Сами разберутся. Твой опыт здесь не годится.

Ангелина Ивановна умолкла. Она никогда вслух не перечила мужу. Так повелось с первых дней их совместной жизни.

А поженились они давно, сразу после войны, с которой оба вернулись израненные, но живые. Начали с нуля. Даже расписываться в ЗАГС ходили в гимнастерках, по этому случаю хорошо постиранных и отглаженных. Ни о каких костюмах и платьях тогда не приходилось говорить. Алексею Петровичу выпало поработать слесарем, и кочегаром, и монтером, и грузчиком, прежде чем невзначай попал в редакцию глухой районной газетенки. Он извел не один центнер бумаги, поставляя в эту маленькую, но прожорливую четырехполоску заметки о доярках, лесорубах, агрономах и пастухах, пока не понял, что нестерпимо хочет заняться серьезным литературным делом. О «вольных хлебах» даже мечтать было боязно. Пошли дети, надо кормить их и одевать. Приходилось прирабатывать то на разгрузке вагонов, то на товарном дворе гомонливой железнодорожной станции. Первые рассказы сочинял в редакционном кабинете, куда его беспрепятственно пропускал на ночь безногий сторож, так неудачно закончивший войну в самые последние месяцы сорок пятого. Этот сторож дядя Вася был и первым слушателем Решетова, уже тогда привыкшего проверять все написанное на каком-нибудь бывалом человеке. Судил о литературе дядя Вася строго и дельно, хотя сам никогда не сочинял. Впрочем, приписывали ему авторство одного сочинения, оставшегося нацарапанным гвоздем на стенке привокзальной уборной, где проезжающие пытались философски осмыслить послевоенное бытие. Обычно почему-то в стихах. И вот однажды, заглянув туда, дядя Вася не сдержал свой гнев, вызванный неряшливостью и неграмотностью анонимных виршеплетов, размашисто начертал на стене ржавым гвоздем: «О, туалетные поэты, стишки кропать немудрено, среди дерьма вы все поэты, среди поэтов — все дерьмо».

Он, правда, от авторства отказывался, но местные дотошные криминалисты закрепили безоговорочно за ним сие изречение.

Дядя Вася здраво рассуждал о неповторимости истинного литератора:

— Вот говорим, что каждый человек — особый, его подменить нельзя. Ладно, попробуем опровергнуть. Ты построил дом. Хороший дом. Очень хороший. Но его все равно и другой мог кто-то сделать. А вот «Я помню чудное мгновенье» (дядя Вася часто распевал этот романс) — такие слова мог написать только Пушкин. И никто другой.

Решетов с интересом слушал безногого сторожа, который, однако, вовремя спохватывался и оставлял его в одиночестве.

— Только не ври, если будешь писать о солдатах,— настаивал он перед уходом.— О нас врать грешно.

И Решетов не врал. Его первые рассказы были неуклюжи и даже неумелы, но от них пахло окопной сыростью и морозным железом, горелым ружейным маслом и вонючей болотной жижей.

Рубцов сразу потянулся к этому человеку, угадав родственную душу,— и не ошибся. Решетов, как и он, прошел детдом и бесхлебье, с детства остался без материнской ласки и надежного крова. Поэтому жене своей Алексей Петрович велел особенно бережно относиться к Рубцову, выделяя его из среды прочих:

— Этот поэт Севера, другой родного города, третий своего домоуправления. А Рубцов — поэт России! Помни это, мать.

— Помню, помню,— бегло соглашалась Ангелина Ивановна.— Я ведь ничего не говорю. Только зачем он обижает тех, кто к нему хорошо-то относится?

— Он сам себе не рад и часто места не находит, разве не видишь. Его собственное дарованье гнетет и давит, не дает покоя, поэтому и мечется. Тебе-то, промаявшейся со мной столько лет, неужели объяснять надо?

— Я с тобой не маялась, а жила,— спокойно возражала Ангелина Ивановна,— твой Рубцов не только себя измучит, а загонит в петлю и других.

— Что ты мелешь! — не выдерживал Алексей Петрович.— Ох, баба ты, баба...

Нервничать мужу Ангелина Ивановна не позволяла, жалела его контузии и ранения, поэтому, не вступая в бой, откатывала свои орудия на запасные позиции, хотя засеченную цель из виду не выпускала.

Она ничего не имела против Рубцова, но не могла допустить, чтобы он при ней приучался и позволял себе в открытую командовать женщинами. Сама втайне мучилась, что так легко позволила Решетову закабалить себя; но тогда было другое дело, надо было выжить, вырастить детей; и ясным разумом она понимала, что такое возможно лишь в полном семейном согласии, в неприменном мужском единоначалии, и что всякое неподчинение твердой воле вождя неминуемо приведет к бедствию, если не к катастрофе. Особо не мучась самой зависимостью — в силу природной мягкости и стоворчивости, — Ангелина Ивановна иногда все же внутренне взбрыкивала, словно норовистая молодая козочка, и в разговорах с близкими подругами порою слишком глубоко вздыхала, не объясняя, впрочем, напрямую причин своего стесненного состояния. Втайне она ждала, что

наступит день, и она вернет утраченную волю, и у нее были такие моменты во время тяжелых мужниных болезней и недугов. Тогда она ощущала полноту собственной власти над ним, он беспрекословно подчинялся ее диктату, выполняя любое требование. Но в сердце ее, как на грех, просыпалась врожденная жалость, а это плохая помощница затаенному эгоизму. И, добровольно сдая почти завоеванные позиции, Ангелина Ивановна не то чтобы страдала, но сердилась на свою слабость, понимая, что упустила еще один случай. А их оставалось все меньше, потому что подкачивала обессиливающая старость и энергии не хватало не только на борьбу за власть, но даже на ежедневное ведение разрастающегося хозяйства. Однако свои затаенные мечты она хоронить не любила и выискивала более доступные пути для утверждения давно выношенных, хотя и глубоко запряженных притязаний. Поскольку муж рано или поздно выздоравливал и восстанавливал прежнее равновесие в доме, ничего не оставалось, как сделать вид, что с ее стороны и не было никаких покушений. И это подтверждали вроде бы непоколебимые послушание и покорность. А главное — всегдашняя готовность по первому зову или оклику являться пред очами.

Сам Решетов, поглощенный постоянной и изнурительной работой, иногда сутками напролет, не замечал, а может, не хотел замечать в жене отклонений, которые мешали бы его продуманному и отлаженному ритму и, гордясь перед друзьями или подбадривая себя, с излишней лихостью и веселостью заявлял, объясняя всегдашнюю неразлучность с ней:

— Лина-то? Да она у меня, как портсигар, без которого ни шагу. Я ее в карман посажу, и мы в любом купе или одноместном номере поместимся.

Однако Лина, чувствуя в душе повышенную ответственность, особенно за пределами дома, научилась из этого самого кармана очень искусно и незаметно управлять стихийными порывами увлекающегося Алексея Петровича, а, доверяя ее практичности и деловитости в семье, он легко и даже охотно передавал на какое-то время руль — чаще всего в поездках — в эти цепкие работающие руки, предаваясь размягченному созерцанию и необременительному философствованию по всякому поводу и даже без такового.

Сам Решетов был натурой порывистой и разбросанной, мог часами говорить о рыбалке и охоте, прочитанных книгах и встреченных когда-то людях, и этой неудержной словоохотливостью загонял себя до полного изнеможения и хрипоты, так, что в конце разговора валился, обессиленный, на диван, и нужно

было какое-то время, чтоб он пришел в чувство и сумел членораздельно попроситься.

В работе тоже не знал меры и пощады. Испысывал за день десятки чистых листов и отбрасывал в сторону авторучку только потому, что от напряжения рябило в глазах и ломило в затылке, а раненая рука не слушалась и ныла в запястье. Откинувшись в кресле, он ощущал, как затекла поясница и сдавлена грудь, давно прижатая к ребру стола и не дышавшая в полную силу. Он не верил в людей, которые не любят работать, поэтому очень верил в Рубцова, дня не прожившего, чтоб чего-нибудь не сочинить. Неважно, что тот не любил и не умел сидеть за столом: долгая бездомная жизнь не приучила к сидению над чернильницей, он работал на ходу, прокручивая в голове десятки вариантов. Не случайно, даря свой сборник, однажды, сделал такую надпись: «Друг, прими мою предпоследнюю книгу. Последняя умрет со мной...»

Решетов содрогнулся, прочитав это. И вдруг увидел, насколько хрупок и раним стоящий перед ним младший брат: «И как ему всегда не хватало и не хватает ласки, обыкновенного житейского тепла. И как часто и серьезно он пишет и говорит о смерти. Неужели что-то и вправду предчувствует?.. Надо его побереечь, обогреть, досыта накормить, заставить выспаться, отдохнуть, отойти от навязчивых разрушительных мыслей. А что за женщина приходила с ним? Рубцов не раз о ней упоминал, но все вскользь, не договаривая, а чаще вообще уходя от разговора. Скрытен и недоверчив, редко случаются минуты, когда весь как на ладони, открыт и беззащитен, хотя ершится и хорохорится, не хочет признавать и обнажать свои слабости. Как его заставить поверить, что рядом друзья, а не просто соседи по литературному цеху? Чем помочь в отчаянную минуту? А их у него, кажется, довольно, даже больше, чем достаточно. Сможет ли эта рыжеволосая стать опорой, создать необходимый уют, вселить уверенность и внести душевное равновесие?.. Уж очень они разные: этот — тощий и хрупкий, как стручок; почти облысевший, с тонкой цыплячьей шеей, вечно обмотанной каким-то стареньким шарфиком... А она необъятная, как трехстворчатый шкаф; полная голова огненных волос, бедраستا, грудаста... Видимо, и вправду природа тяготеет к балансу: у худенькой бабенки всегда под пятой ражий верзила; у невзрачного мужичонки обязательно тельная сильная баба... Но эту, похоже, под каблук не засунешь. Она сама любого заткнет за пояс. Да еще поэтесса... А двум медведям в одной берлоге, как известно, не ужитья. Тем более с Рубцовым. Он же не выносит органически любой посредственности, не переваривает. Неведомо, как

она пишет сейчас, но то, что однажды показывал Рубцов — не блеск. Хотя он, конечно, тянет ее, наверняка, что-то правит; а она, конечно, кочевряжится, упирается, недовольство выражает: ее индивидуальность насилуют! Попроще бы ему надо. В принципе нам всем нужны няньки, а не индивидуальности. Чтoб супом накормили, в мягкую да чистую постель уложили, слово доброе молвили. И что ему не пожилость со своей Генриеттой? Ведь так любит дочь! Сколько рассказов, сколько улыбки, лишь о своей Лене вспомнит. На последние деньжонки сгоношит подарок, но пошлет, не забудет, что подступает день рождения».

Решетов осмотрел Рубцова с ног до головы, подбадривающе подмигнул и подтолкнул в комнату.

— Давай гонять чай. Но прежде я тебе вручу подарочек, который давно припас.— Он достал из письменного стола длинную узкую коробочку с авторучкой и, что-то написав на ней сверху, передал Рубцову. Тот, сощурясь, прочитал: «Пусть твои бессонницы претворятся в стихи!»,— и расстроганный, обнял Алексея Петровича.

— Придется отдариваться,— промычал Рубцов.

— Только стихами! — потребовал хозяин.— И желательно немедленно.

— Вообще-то припасена одна безделица...

— Не тяни, читай!

— ...Значит, так:

*Когда я буду умирать,
А умирать, конечно, буду,
Ты загляни мне под кровать
И сдай порожнюю посуду.*

Все поначалу хохотнули, но Решетов неожиданно сморщился, посерьезнел и произнес:

— Я ждал от тебя гармонии, а ты добавил тревоги.

— Не надо так мрачно, Алексей Петрович,— неунывающим голосом сказал Спелов, до этого смирно сидевший на диване, а теперь почувствовавший себя смелее, видя, что дурное настроение покинуло Рубцова.— Настоящему мастеру позволительно все.

Рубцов посмотрел на него суженными глазами и, помолчав, сообщил:

— Для вас у меня тоже есть стишок.

— Для меня? — удивился Спелов, изумленный и обрадованный.— Когда же вы успели? Вы ж меня не знаете.

— А это не обязательно. Я его сейчас слепил.

— Очень польщен,— театрально приложил руку к сердцу Спелов.— Пожалуйста, прочитайте.

— Прочитать? — спросил Рубцов Решетова, вызываясь взглянув на того.

— Дело хозяйское,— неопределенно ответил Алексей Петрович.

— Хайяма любите? — посмотрел Рубцов на Спелова требовательно.

— Кто же его не любит.

— Так вот, считайте, что он обращается к вам:

*В голосе твоём сегодня лесь.
Ты принес мне радостную весть.
Ты всегда считался быстроногим:
В гастрономе четвертинки есть.*

— Напросился? — засмеявшись, посмотрел Решетов на Спелова.— Так тебе и надо.

— Да я — что? — замялся Спелов.— Мне недолго и сбегать. Ради такого случая.

— Никуда бежать не надо,— вмешалась появившаяся Ангелина Ивановна.— В наш дом еще никому не удавалось пройти со своим. Понадобится — найдем.

— По-моему, Лина, пришел тот самый случай,— сказал Решетов жене, и она быстро развернулась и юркнула на кухню.

— Ну что, пора подмолодиться? — сказал хозяин...— Пожелаем же друг другу честности и мужества. Они требовались от пишущих в любые времена.

Рубцов сидел мрачный, почти не разговаривая. Решетов пытался расшевелить, но безуспешно. На того словно опять упала темная туча, и лицо потухло, хотя видимых причин для этого как будто и не было. Он, забившись в угол, тяжело курил, уже не спрашивая разрешения у хозяев, и, казалось, не слышал застольного говора. Миша тоже пытался отвлечь друга, но Решетов шепнул: «Не трогай»,— и сам, словно нарочно, говорил без умолку, намеренно не втягивая Рубцова. Смешные истории сменяли одна другую, и гости веселились вместе с хозяевами. Только Решетов да Миша Колябин изредка бросали взгляды в угол, где молчал Рубцов, но беспокойства не выказывали, и тот, потихоньку выйдя в прихожую, никого не потревожив, удалился.

В деревянном одноэтажном доме, где обосновалась Д..., большую часть занимала сельская библиотека. Надежде выделили просторную комнату метров в двадцать — на двоих с дочерью хватало. В библиотеке Надежда и работала, не очень перенапрягаясь и не слишком бездельничая. Когда читатели приходили поменять книги и видели на дверях учреждения замок, они огибали дом и поднимались по темному невысокому крылечку и стучали в окошко библиотекарше, и она, простоволосая, в одном халатике вылетала навстречу и скоренько всех обслуживала, так что особых жалоб не поступало.

По этому самому крылечку не впервые вкрадчиво поднялся Рубцов и осторожно стукнул в окно три раза — два подряд и один отдельно, — как делал и раньше. Занавеска отошла не сразу. Лица хозяйки не было видно, потому как лампа светила сзади нее, но Рубцов почувствовал, что она недовольна. Иначе не могло и быть.

«Что тебе?» — недобро посмотрела Д..., дернув головой и плечами.

— Открой, — негромко сказал Рубцов и почти повторил ее жест.

Занавеска задвинулась, внутри долго ничего не было слышно. Похоже открывать не хотели.

Он постучал снова, теперь уже громче и настойчивее.

Снова занавеска отлетела в сторону и последовал немой и недобрый вопрос.

— Я говорю — открой! — повторил Рубцов и сдвинул брови.

Наконец лязгнул засов, и Д... тут же упорхнула, слишком поспешно и легко для такого могучего тела. В освещенном притворе мелькнули только полные икры и развешивающиеся полы пестрого халата.

Войдя, Рубцов увидел дочку Д..., Олю, которая улыбнулась ему и пролепетала:

— Здравствуйте, дядя Коля!

Он протянул ей вынутый из внутреннего кармана оранжевый кленовый листок и продекламировал:

*Дружа со словом светлым и крылатым,
Наследники неслыханных побед,
Мы принесли сегодня делегатам
Наш комсомольский пламенный привет!*

Девочка радостно заулыбалась и приняла нарядный листик.

— Спасибо.

— А стихи тебе понравились?

— Да...

— Это дядя Коля написал для областной конференции.

Д... глянула на него недружелюбно, но кривую улыбку сдержать не смогла...

— Написал... Это сочинил Михалков, лет сто назад.

— Он сочинил, а я подписался, и всем понравилось.

— Неплохо устроился.

— Жизнь заставила,— пожаловался Рубцов, покачивая головой.

— Хлеба захотелось? — иронически посмотрела она.

— Ага, с маслом,— согласился он.— А кому не хочется?

— Ты об этом пришел мне сообщить?

— Нет, о другом.

— Так сообщай.

— Надя, прекрати меня заводить.

— То есть?

— Перестань улыбаться каждому встречному.

— Ну, знаешь... Я тебе пока не жена.

— Ты уже больше чем жена,— спокойно и основательно ответил Рубцов.— Не знаю только, к счастью это или к беде.

— А коль не знаешь, так оставь меня в покое и живи, как хочешь.

— Во-первых, не я к тебе приехал, а ты ко мне, и покой был нарушен не у тебя, а у меня. Во-вторых, коли знаешь, как жить,— научи.

— Могла бы, да ты никого не слушаешь.

— Тебя, во всяком случае, я пока слушаю.

— Вот именно — пока. У тебя все-таки никакой уверенности в будущем...— с горечью и злостью сказала она.

— Хорошо! Если ты хочешь уверенности, выходи за меня замуж.

Она повернулась и молча уставилась на него.

— Вы, конечно, как всегда, Николай Михайлович, шутите? — спросила ядовито.

— Представь себе, не до шуток,— печально произнес он.— Я думаю, мы не будем так истязать друг друга, если поженемся.

— Это кажется только поначалу,— раздумчиво сказала Д...

— Но я тебя, по-моему, полюбил...

— Полюбил...— умехнулась она.— Он, видите ли, полюбил,— повторила она патетически.— Именно он! Но этого недостаточно.

— Что ж еще? — Рубцов сомкнул губы.
— Я требую уважения, — почти выкрикнула она.
— Уважения не требуют, а заслуживают.
— Ты унизил меня перед Решетовым. Я его так ценю, а ты унизил.

— Никто тебя не унижал. Я объяснил, что ты торопишься по делу.

— Ты объяснил, — передразнила она, искривив лицо и понизив голос.

Он рассмеялся на эту гримасу.

— И еще смеется, — опять обиделась она.

— Действительно, смешно. Валяем дурака, словно малые дети, — покрутил головой Рубцов. — Но счастье наше, что мы занимаемся поэзией, и поэтому — вся остальная сорная жизнь летит на полтора метра выше головы. — Немного помолчав, добавил: — Даже не шевеля волос.

— Особенно твоих, — ввернула она, выразительно глянув на его лысину.

— Ну, что для тебя сделать, чтобы ты не бесилась? — вдруг жалобно спросил Рубцов. — Чтоб не злилась сама и меня не злила, — подчеркнул он.

— И ты сделаешь? — в глазах Д... загорелся практический интерес.

— Если выполнимо... отчего ж?

— Выполнимо, выполнимо, — заверила она. — Для тебя это — раз плюнуть, а мне большая поддержка.

— Ну, говори, — нетерпеливо сказал он.

— Вечер поэзии в моей библиотеке!

— У матросов нет вопросов! Хоть завтра. Но только после крепкого сна в твоей теплой избушке. Договорились?

— Ничего не поделаешь. Видит бог, только ради общественного блага иду на личные жертвы, — уже с открытой улыбкой сказала она.

И мир был восстановлен.

...Народу собралось немного, но больше негде и разместить. Д... в новом платье лютикового цвета, с пышно взбитой прической и чуть подкрашенным ртом командовала парадом. Она выглядела необычно ярко среди этой серенькой комнаты, тусклого законного света и невзрачно одетых слушателей разного возраста в основном, похоже, пенсионеров, которым скучно целыми днями сидеть дома и которые к тому же с юности привыкли к всевозможным массовым мероприятиям, сделавшимся неотъемлемой составной их личной жизни.

Глянув на эту разноликую аудиторию, Рубцов пожалел, что

согласился на выступление, но отступать было поздно. Еще не полностью овладев собой от такого многолюдства, некоторой не-свободы и стесненности, он негромко и задумчиво сказал, ни на кого не глядя и, в принципе, никого не видя и не разглядывая, а только смутно чувствуя, что аудитория не его:

— Меня попросили выступить, и хотя я не очень готовился к чтению, и в общем-то не актер, но я кое-что почитаю. Не знаю, с чего и начать... Ну, начну с того, что взбредет в голову,— улыбнулся он.

— Не что взбредет, а что положено,— послышался сзади строгий и требовательный голос.

Рубцов вскинулся и пристально посмотрел в задние ряды, но на всех лицах было ровное спокойствие и внимание, и понять, кто произнес фразу, оказалось невозможным. Тогда Рубцов резко и подчеркнуто ответил, прицельно оглядывая устроившихся в дальних углах примолкших в ожидании слушателей.

— А я вообще пишу только то, что положено,— он сделал значительную паузу, чтобы слова проникли, и закончил, усмехнувшись.— А из этого положенного прочитаю, что взбредет в голову...

Ответ произвел впечатление, и все зашевелились и удовлетворенно запереговаривались, пока какой-то парень не прикрикнул:

— Дайте послушать человека!

Рубцов всмотрелся в него, и ему понравилось волевое сильное лицо, крепкое сложение и осмысленный внимательный взгляд. «Для него и надо читать»,— подумал он, привикший выбирать в зале человека, который душе ближе прочих:

*Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...*

*...Россия! Как грустно! Как странно поникли и
грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынню мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.*

*И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,—
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской
короны,*

*Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых
церквей!..*

*О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!*

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!*

*Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

*Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревьев.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.*

*И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный
всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...*

Далее следовали «Журавли».

*Меж болотных стволов красовался восток
огнеликий...
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг
журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Широко по Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,*

Далеко разгласит улетающий плач журавлей...

*Вот летят, вот летят... Отворите скорее
ворота!*

Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!

Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа

*Оттого, что — молчи! — так никто уж
не выразит их...*

Парень внимательно смотрел в глаза и подался всем корпусом навстречу, видимо, проникаясь музыкой величественных строк и ощутив осенний холод и сиротство. И так он просидел в молчаливом напряжении около часа, отвлекаясь лишь на то, чтобы коротко поаплодировать новому стихотворению, и то как бы досадуя, что заведенный ритуал мешает воспринимать чтение целостно, в едином и переменчивом потоке, и дробит отлитую картину бытия, расчлняя ее на отдельные куски. Он переждал, когда по окончании все покинут библиотечный зальчик, и подошел к Рубцову, скрывавшемуся за книжными стеллажами, и попросил серьезно и настойчиво:

— Позвольте пожать вам руку и сказать «спасибо».

— Да что вы! — застеснялся Рубцов и спросил: — А вы кто?

— Я приехал к матери, она живет поблизости. Проходил рядом, увидел объявление на дверях и решил зайти. И знаете — не пожалел.

— Ну, спасибо, спасибо, — пробормотал Рубцов.

— Может, вы зайдете в гости ко мне? Мать была бы рада.

— Как-нибудь в другой раз...

— Очень жаль. Но я буду здесь еще долго, так что не стесняйтесь. Вон дом моей старушки, — и парень указал на темную избенку напротив библиотеки. — Зовут меня Олег.

— Еще один Олег, — вырвалось у Рубцова.

— Что? — не понял парень, но затревожился, увидев на лице собеседника мелькнувшую тень.

— Да нет, это так. Хорошо, при удобном случае повидаемся.

Рубцов подозрительно посмотрел в удаляющуюся спину новоявленного поклонника. «Что-то уж очень любезен, — подумалось вначале — и... прилипчив. А может, хочет заморочить голову, чтоб отвести подозрения от хозяйки библиотеки?»

Эта мысль всколыхнула кровь. «Все-таки я и в самом деле излишне, по-моему, ревнив», — осадил Рубцов себя, но, увидев, как Д... тепло посмотрела вслед парню, снова сузил глаза и напоследок уперся взглядом в эту гибкую спину.

Парень ушел, а Рубцов затащил Д... за стеллажи и начал допрашивать:

— Ты знаешь этого Олега?

— Первый раз вижу.

— Неужели в первый раз? А он разве не берет у тебя книжки?

— Сегодня брал.

— Значит, не первый, а второй раз... Он же брал книги до того, как я выступал?

— До того, конечно: утром брал.

— Вот видишь. А ты хотела скрыть от меня его первое появление.

— Перестань, Рубцов, это наконец надоело...— занервничала Д...

— А какие книги брал? Про любовь, конечно.

— Не помню. Может, и про любовь. Что в этом плохого?

— Про любовь — хорошо. Только плохо, что он их у тебя берет.

— Ну, знаешь...

— А о чем вы говорили?

— Откуда я помню! Обычные служебные разговоры.

— Так уж и обычные? — ехидно поглядел на нее Рубцов.— Особенно — служебные!

— Тогда думай, как знаешь,— рассердилась Д..., понимая, что сейчас переубедить его невозможно. Она взяла замок и пошла к выходу. Он нехотя поплелся следом.

— Коля, иди домой, а то мы опять поссоримся,— посоветовала Д...

— Мы не будем ссориться,— мягко и примирительно произнес он.

Идя за ней по тропинке вдоль стены, он зацепился за торчавшую из земли проволоку. Д... здесь тоже не однажды записалась в темноте. Но теперь, вспомнив, предусмотрительно обогнула злополучное место, а Рубцова предупредить забыла или не захотела.

Он нащупал железину и с силой рванул на себя так, что обожгло ладони, но не вытащил. Тогда достал из кармана носовой платок и, намотав на правую руку, начал яростно раскручивать проволоку из стороны в сторону.

— Да брось ты возиться,— досадливо и безразлично сказала Д...

— Терпеть не могу,— вскипел Рубцов,— когда вместо деревьев, травы и цветов лезет из земли всякая дрянь,— и еще яростней стал раскачивать проволоку и не отступил, пока

не выдернул и не отбросил далеко в канаву. Д... только покачала головой, пронаблюдав всю сцену, и невольно задумалась, внимательно посмотрев на его тщедушную фигурку.

Уже смеркалось, в доме пора было зажигать свет. Она долго шелкала выключателем, но лампы дневного света не загорались. Потом начали слабо мерцать, словно разгоняясь, чтоб переключиться на полную мощность, и лишь через минуту окончательно вспыхнули.

— У тебя не короче, чем в каменном веке: пока высекала искры, пока разгорался трут, и только теперь появился огонь,— прокомментировал Рубцов.

— У меня все не как у людей,— вяло согласилась Д...— Поищи, где лучше.

— Опять ты за свое,— нетерпеливо сказал Рубцов.— Я же говорил, что мне нужна только ты.

— Только я и все? — пытливо посмотрела она на него.

— И дочка Лена,— грустно признался Рубцов.— Но мне ее все равно не отдадут.

— А когда ты последний раз писал ей?

— Давно...

— А подарок послал?

— Тоже.

— Вот давай сейчас пойдем на почту и отправим посылку.

— Какую посылку? У меня ничего не приготовлено.

— По дороге зайдём в магазин.

Рубцов благодарно посмотрел на Д..., и глаза его повлажнели.

— Ты вправду хочешь, чтоб я послал Лене подарок?

— Я же мать, Коля,— просто сказала она, и он не удержался и обнял ее за плечи.

— Ты бываешь великолепна!

— Неужели заметил? — усмехнулась Д... и засуетилась.— Только я возьму Олю из сада.

— Это прекрасно. И мы пойдем все вместе. Пусть это будет подарком Лене от Оли. Я сегодня как раз получил кой-какие деньжонки. И мы вместе поужинаем в моем любимом «поплавке» (так называл Рубцов ресторанчик на пристани).

Их встретила официантка Катя, улыбчивая и рослая женщина лет тридцати.

— Кто к нам пришел! — радостно приветствовала она Рубцова.

Народу еще не успело набиться, и Катя проводила их в

дальний уголок, усадила за чистый столик у окошка, откуда была хорошо видна река и редкие суденышки на ней.

Заказали хорошую еду, для Оли отыскивали даже виноград, а Рубцову Катя принесла, не спрашивая, графинчик «Хереса».

— Твои вкусы здесь уже изучили,— заметила не без иронии Д...

— Потому что они демократичны,— отшутился Рубцов.— А что ты выпьешь?

— Хочу тоже быть демократкой,— весело ответила она.

— Надя, давай выпьем за нас,— предложил Рубцов.— Чтобы все у нас сладилось.

— Может быть, за что-нибудь попроще? — поморщилась Д...— Хотя бы за твои успехи.

— Моих успехов не может быть без тебя, и я настаиваю на моем тосте.

Д... покачала головой, поразмышляла, покрутила рюмку:

— Не знаю. Я боюсь тебе довериться.

— Ха-ха-ха,— вдруг засмеялся Рубцов непривычно громко, но быстро смолк и несколько сконфуженно огляделся.— Что ж я такое, чтобы меня бояться?

— Талант, и это страшно. Ты же подавляешь всех, не даешь дышать.

— И тебе не даю? — простодушно спросил Рубцов, улыбаясь.

— И мне. И напрасно ты разыгрываешь наивную невинность.

— Никого и никогда я не разыгрываю, и прошу это учесть и запомнить,— внятно сказал он, напрягая, но не повышая голос...

— Ну, вот, ты снова обиделся,— пожалела Д...— Значит, опять никакого разговора не получится.

— Нам давно бы пора от разговоров перейти к делу.

Оля уже съела котлету и расправилась с виноградом, поэтому, устав от взрослых непонятных разговоров, ерзала на стуле и поминутно подбегала к окну и смотрела на речные огоньки. Рубцов заметил детское нетерпение и предложил:

— Хочешь посмотреть на пароходики?

— Ага!

Он открыл дверь на веранду и вывел девочку на свежий воздух.

— Там же холодно,— забеспокоилась Д...— Надо одеться.

— Выкрутимся,— ответил Рубцов и накинул на девочку свой пиджак.

— Нет, я не могу,— поежилась Д... и вернулась к столу, а Рубцов повел Олю вдоль освещенных окон, туда, где виднее покачиваемые на волнах катера. Наверно, девочке сделалось страшно в темноте: она жалась к рубцовскому бедру, а он придерживал одной рукой худенькое плечико, а другой показывал то на одно, то на другое нарядное суденышко.

Когда они возвращались, Рубцов увидел через дверное стекло за своим столом постороннего человека; придерживая шаг, взгляделся и узнал Голубя.

Тот по-домашнему расставил локти на столе и, разминая в пальцах сигарету, что-то говорил Д..., манерно наклоняя ухоженную черноволосую с пробором голову то в одну, то в другую сторону. Узкая длинная спина была обтянута добротной черной кожей финского пиджака, и на манжетах кремовой рубашки поблескивали крупные запонки.

— Вот кукла! — неизвестно о ком сказал Рубцов со злостью и резко толкнул дверь.

— Извините, я вторгся в ваши пределы,— вежливо проговорил Голубь подошедшему Рубцову.

— А зачем же вы вторгаетесь, зная, что пределы чужие? — недружелюбно спросил Рубцов, намеренно не поздоровавшись.

— Простите, я шел на веранду покурить...

— И с богом,— предложил Рубцов.

— Вы не очень любезны.

— Потому что вы не очень воспитанны.

— С чего такое заключение?

— Хотя бы с того, что вы без приглашения сели за чужой стол.

— Ну, знаете...

— А может, вас дама пригласила? — впился глазами в Д... Рубцов.— Тогда совсем другое дело. В таком случае приношу извинения.

— Что ты городишь? — почти взмолилась Д...— Прекрати сейчас же!

— Значит, не приглашала? — снова повернулся Рубцов к Голубю.

— Не приглашала,— глухо и недобро проговорил Голубь, и лицо его побледнело.

— Вот все и выяснили,— с вызовом сказал Рубцов.

— Не все, дорогой, не все! — многообещающе закончил Голубь и вылетел на веранду.

— Ты меня специально ссоришь с нужными людьми? — почти со слезами сказала Д...

— Он тебе нужен? — удивился Рубцов.

— Да, да, нужен, он помогает мне... — она не находила слов.

— Чем же он может помочь? — возмутился Рубцов. — У него же деревянные мозги.

— Откуда ты знаешь? — негодовала Д...

— Я читал его опусы и слушал передачи. — У него две извилины и те торчат в разные стороны, — почти выкрикнул Рубцов.

— Не кричи, — урезонила его Д... — Его друзья уже на тебя смотрят, — и она кивнула на противоположный столик.

— Пусть смотрят. Успокойся и лучше подними бокал.

— Ничего я больше не хочу. Мы с Олей уходим домой.

Оля была напугана разыгравшейся сценой, и Рубцов, опомнившись, конечно, это заметил.

— Не бойся, Оленька, — попытался он успокоить девочку. — Дяди пошумели невзначай. Но это ничего, успокойся.

— Ребенку пора спать, — поднялась Д...

— Я вас провожу, — встал и Рубцов.

— Не выдумывай. Мы — сами.

— Ну, хотя бы схвачу такси.

— Мы люди не гордые, доберемся на автобусе.

Рубцов печально и укоризненно посмотрел на Д..., но не встретив понимания, махнул рукой, сказав:

— Как знаете, — и снова сел на свое место.

Вскоре после ухода Д... к Рубцову неторопливо подошел довольно молодой подтянутый человек с внимательным холодноватым взглядом.

— Вы позволите, Николай Михайлович? — взявшись за спинку стула, учтиво спросил он.

Рубцов, еще не отошедший от недавних треволнений, подозрительно посмотрел на него и мрачно спросил в свою очередь:

— Вы из их компании?

— Из чьей? — не понял тот.

— Из этой, — кивнул Рубцов на противоположный стол, из-за которого, кстати, все дружно ушли.

— Бога ради, — прижал руку к груди подошедший. — Я из райкома партии, — склонившись, тихо проговорил он.

— А-а, тогда простите, — искренне извинился Рубцов. — Присаживайтесь, пожалуйста. Хотите выпить?

— Что вы, что вы? — запротестовал мужчина. — Я не за этим.

— Зачем же? — жестко спросил Рубцов.

— Я думаю, и вам больше не надо. Даже уверен в этом.

— Ах, вот как! — удивился и усмехнулся Рубцов. — А я не уверен.

— Со стороны видней, — резонно заметил собеседник.

— А вы кто такой, что все видите — даже со стороны?

— Я уже сказал...

— Должность! — потребовал Рубцов.

Человек несколько растерялся и нахмурил брови, но назвал:

— Инструктор отдела пропаганды Смирнов Петр Петрович.

— Поэтому вы и решили меня повоспитывать?

— Ну, зачем так...

— А почему бы нет: решили! И, конечно, считаете, что вправе, — Рубцов уже задирался.

— Воспитываем мы в другом месте. Я хотел сделать, как лучше.

— Так вот, — не слушал его Рубцов. — Завтра на вас косо посмотрит секретарь — и вы уже не инструктор. А я сейчас допью эту дрянь, выйду на улицу и грохнусь в канаву... — Рубцов посмотрел на собеседника, внимательно ли тот следит за логикой его мысли, и — продолжал: — и в самую грязную канаву грохнусь! Весь в тине вываляюсь, пьяный-дранный, а все равно — поэт.

— Тогда как знаете, — резко сказал инструктор и встал.

— Всего хорошего, — поклонился ему вслед Рубцов, но легче после этого выпада ему не стало. Он понимал, что зря человека обидел и, похоже, хорошего человека; но с характером своим ему стало все труднее справляться.

Домой Рубцов собрался перед самым закрытием ресторана, без интереса и удовлетворения допив последний фужер терпкого горчащего «Хереса». Подозвав все еще краснощекую, но заметно утомившуюся официантку Катю, молча рассчитался.

— Что-то навесел сегодня, Коленька? — заботливо посмотрела она на него.

— Не с чего веселиться, Катя, — грустно признался Рубцов.

— А что ж тебя одного оставили?

— Такова, видно, моя планида, — покачал он лысоватой головой.

На улице стало полегче. Он вдохнул полную грудь влажного осеннего воздуха и, облокотившись о прохладные пристанские перила, долго смотрел на воду, в которой дрожали, дрожась и разбегаясь, крупные октябрьские звезды. Налетающий сквознящий ветерок шелестел опавшими листьями, которые в свете неоновых фонарей теряли природную естественность цвета и казались тусклым жестяным хламом. Рубцов нагнулся, подобрал один набежавший лист и расправил на ладони. Это, видимо,

был лист сирени, удивительно похожий на рисованное в девичьих альбомах сердце. «Не хватает только пронизывающей стрелы,— подумал Рубцов.— А нам без нее никак нельзя!»— и, достав из нагрудного кармана шариковую ручку, проткнул слабо хрустнувший листок и горько вздохнул.

Около подъезда его окликнули:

— Эй, стихоплет, погоди!

Не сразу сообразив, что обращаются к нему, Рубцов сильно дернул дверь, и она, распахнувшись до предела, зацепилась за какую-то цементную неровность и осталась открытой. К нему подошли двое парней в темных плащах и беретах, с засунутыми в карманы руками.

— Вы что, ко мне? — натянуто спросил Рубцов.

— К тебе, к тебе,— небрежно сказал один.— Угости сигаретой.

— Не курю.

— Тогда дай на сигареты!

— Странная просьба...

— Это не просьба, а приказ!

— Приказывай своей жене,— Рубцов понял, что против него затевается, оглянулся на дверь, но второй парень уже предусмотрительно закрывал ее, зайдя со спины.

— А ну, скидывай джинсы,— скомандовал первый.

— Я не ношу таких тряпок.

— Скидывай, что есть: учить будем!

— Ну, этого вы не дождетесь,— вскрикнул Рубцов и первым хряснул в челюсть обнаглевшего хама. Увидел, как из-за кустов вышел третий человек, и фигура показалась ему знакомой, но лица не разглядел. Больше удара нанести не успел: сзади подскочил кто-то и сбил с ног.

— Бей по башке,— кричал очень знакомый голос, но Рубцов никак не мог определить,— чей.— Бей по башке, чтоб из нее все рифмы высыпались.

Потом пинали по ребрам и животу, и, как он ни закрывал голову, по ней пришлось несколько тяжелых ударов.

Спасло то, что в коридоре на пятом этаже у открытого окна курил сосед по площадке. Он закричал что есть мочи:

— Человека убивают. Милиция, милиция! Скорей вызывайте милицию!

Видимо, крик вовремя охладил разбушевавшуюся троицу, и она рванула за дом, оставив Рубцова валяться возле родного подъезда в холодной грязи и собственной крови.

Д... ничего не знала о случившемся. Она негодовала на невоспитанность Рубцова и переживала, что так бесчеловечно обошелся он с Голубем. «Ну, погоди! — смыкала твердые губы. — Я тебе еще покажу... Ты у меня попляшешь! Никаких авторитетов, видишь ли, для него не существует. Найдется управа и на тебя! Все ему не так, все ему не эдак. Только один все знает и все понимает, только у него получается все, как положено».

Д... сжимала кулаки и металась по своей комнате, мучаясь и не находя выхода бушующей энергии. А этого материала у нее всегда было в избытке. Именно неумная энергия заставила прежнего мужа, тихого и размеренного человека, попросить у нее развода. Она не давала ему покоя ни днем, ни ночью, и совершенно не переносила никаких замечаний в свой адрес.

— Надя, — бывало, скажет он спокойно, — пора бы прибраться в квартире.

— Возьми и приберись! — советовала она спокойно, перелистывая страницу какого-нибудь романа, часами лежа на диване.

— Но ты же видишь, я устал, поздно пришел с работы.

— Я тоже не бабочек ловила.

— Ну, хотя бы перемени ребенку грязное платье, — медленно закипая, говорил он.

— Без тебя знаю. И не лезь в бабьи дела, — огрызалась она, намеренно заводя его. — Побереги гаснущие силы для производства. Для себя ничего не прошу и ни на что не рассчитываю, — не без ехидства намекала Д... мужу на большую разницу между ними в возрасте.

— Ишь расходился, раскошегарился, — лексикон Д... резко менялся. При муже она не стеснялась употреблять и модальные слова самого сомнительного свойства и качества.

— Постыдись, Надя, — уговаривал он ее.

— Стыд не дым, глаза не ест, — обрывала Д..., и он терялся, чувствуя себя пристыженным и бессильным.

Он жалел, что когда-то настоял на их браке, ухаживал за ней настойчиво и неотступно, не берег мужского достоинства, даже ставил на коленях. Он преклонялся перед ее поэтическим даром как человек, ни строки не зарифмовавший во всю жизнь, и как технарь, трезво понимающий взаимосвязь механизмов и начисто избавленный от капризов воображения.

Поначалу она охотно читала ему свои стихи и радовалась, когда он хвалил. Но потом устала от однообразия похвал, поняв, что он ничего не смыслит в её деле. Стала искать связи

с литературной средой и скоро преуспела в этом. Литература поглотила ее всецело, Д... могла, заговорившись с каким-нибудь местным виршеплетом, забыть, что в садике ждет ребенок, который проглядел все глаза, стоя у окна и глотая неутешные слезы; могла неделями не мыть бутылки из-под кефира, и, всякий раз запинаясь за них на кухне, досадовала на мужа, что не догадается этого сделать, хотя носит продукты из молочного отдела именно он.

Она вяло следила за своим туалетом, и пышные яркие волосы небрежно наматывала рыхлым пучком на затылке, хотя понимала, что расчесанные и рассыпанные по плечам, они многих мужчин выбивали из равновесия. И схватывалась и испытывала стеснение лишь тогда, когда близкие подруги делали замечание, заметив сбившуюся бретельку или торчащую из-под подола ночную рубашку не первой свежести.

— Ох, Надька,— качали женщины головами.— Не знаешь себе цены. Да при твоих данных можно такими делами ворочать! — и они зажмуривали глаза, представляя и пугаясь грандиозности возможных дел.

Д... уже печаталась в воронежских газетах и нередко «обмывала» незначительные гонорары с местными благодетелями и наставниками, предпочитая не домашнюю обстановку, а «нейтральные полосы», где не надо самой заботиться о закуске и посуде и где можно послушать музыку, потанцевать и выпить «на брудершafft» с залетным столичным светилом.

Поздние возвращения к родному очагу ее мало смущали, поскольку муж молчаливо переносил их, а нередко и поощрял, если ей удавалось познакомиться с людьми, которые могли пригодиться и ему. Он через нее иногда устраивал встречи с интересными людьми у себя на производстве, и начальство хвалило его за разворотливость, а это не только льстило тщеславию, но и сулило практические выгоды.

Ночевать Д... всегда приходила домой, но зачастую настолько усталая и рассеянная, что, завалившись в постель, совершенно не реагировала на супружеские ласки и, похоже, даже тяготилась ими. Ребенка она частенько сплавляла родителям, чтобы не шибко докучал и не мешал заниматься литературой. Страдала, правда, от этой поглощающей увлеченности служба в библиотеке, поступали жалобы от читателей на небрежное обслуживание или беспорядок на выдаче и халатное отношение к книге, но Д... не боялась, что уволят, потому как работников ее профиля не доставало; а все остальное не задевало ее самолюбия.

Другими страстями жила она и от другого сохла. Давно выбилась в печать... Уже в альманахе прошло несколько сти-

хотворных подборок, рукопись первой книги подготовила. А ее завернули. Сколько вложила она средств и сердца, чтобы показаться «литературным мэтрам», сколько стихов читала на вечерах и вечеринках. Но почему-то больше замечали и хвалили ее голос, а не сами сочинения. И пока издали книгу, Д... вся издергалась, вымоталась, устала и обозлилась. Ущемленное самолюбие страдало и бесилось. Она уже ненавидела редакторов и рецензентов, даже машинисток, возившихся с ее текстами. Словно понимала, что все делалось ими или через силу, или из милости, или по нажиму кого-то сверху; а уважения — тем паче признания художнических достоинств в ее творениях — не было и не будет.

Тогда она обозвала всех про себя «графоманами», ничего не смыслящими в искусстве, и начала искать выходы за пределы непросвещенной провинции.

Тем более какая-никакая, а книга у нее выскочила, и было чем при случае хлопнуть о стол будущего редактора.

Поэтому Д... и встретила с Рубцовым в общежитии Литинститута, где поджидала болтуна Городкова, наобещавшего ей с три короба, хотя самого не подпускали и близко ни к одному порядочному издательству. Д... быстро поняла это, раскусила его и без особых сожалений рассталась с иллюзиями на его счет.

В Рубцове она разглядела необходимую для себя силу и уверовала в нее, предугадав блистательный взлет природного дарования, независимого от случайностей неустойчивой моды. Надеялась она, что возле такого огня можно не только погреться, но и разгореться самой.

И вдруг Рубцов повел себя не так, как предполагал ее свое нравный разум. Похваливал редко и вяло, ничего не устраивал в печать, даже к собственным удачам относился недоверчиво и сурово. А иногда, срываясь, раздражал самые дорогие для нее имена и понятия, уж не говоря о ее неотстоявшихся вещах. Д... плакала и буянила, обзывала его деспотом и мужланом, потом смирялась и садилась за переделки, не выдерживала и рвала в клочья почти законченное не потому, что понимала несостоятельность сделанного, а потому что хотела продемонстрировать бескомпромиссность и беспощадность к себе, хотя в душе негодовала на Рубцова за его неуступчивость и негибкость; все больше замыкаясь в себе, Д... чувствовала, как зреет в ней, набухает неосознанная и злобная мстительность, пугалась и подавляла просыпающегося дьявола, который временами затмевал рассудок и толкал к непокорности и бунту.

Она и сейчас назло Рубцову решила разыскать Голубя и убедить его, что лично она, Д..., ни в коей мере не причастна

к проявленному в ресторане возмутительному хамству и отнюдь не разделяет бредовых идей и притязаний Рубцова. Д... позвонила на радио, и Голубь обрадованно ответил, что с удовольствием встретится с нею.

— Вы простите, Олег, что так нехорошо вышло,— начала она, присев за столик кафе, где он поджидал.

— Вы здесь не при чем,— спокойно и здраво рассудил Голубь.

— Слава богу, хоть вы меня не осуждаете.

— Что вы! Я трезвый человек и знаю, кто что стоит.

— Мне так было неудобно, что я сразу ушла.

— Знаю,— отвечал собеседник невозмутимо.

— Всю ночь не могла уснуть.

— Напрасно.

— Но как же! Он так вас обидел.

— На психов обижаться грех.

— Как вы правы! Ведь он бывает совсем ненормальным,— как бы что-то вспомнив, жарко и торопливо зашептала Д...

— Пора приводить в чувство,— резонно заметил Голубь.

— Я советовала полечиться, но он чуть не залепил мне оплеуху.

— И вы терпите?

— Нет, не терплю. Я ему так шарахнула, что сразу притих.

— Очень правильно сделали. Такая симпатичная видная женщина...

— Скажете тоже...,— закокетничала Д..., но было заметно, что комплименты — ее слабость.

— Говорю не лукавя,— приложил руку к сердцу Голубь.— По сравнению с вами Рубцов просто сморчок.

— Не надо так,— поморщилась и остановила его Д...— Поэт все-таки. И немалый.

— Совершенно верно,— тут же согласился Голубь.— Но тогда он обязан особенно чувствовать и почитать красоту.

— А вот с этим я полностью согласна.

— Не говорю об уважении к женщине,— продолжал Голубь.— Это само собой разумеется. Пишет такие нежности на бумаге, а в жизни хамит.

— Противоречивый человек,— подтвердила Д...

— Это не противоречия, а разболтанность,— поправил Голубь.— Причем безнаказанность только подогревает ее.

— Да вроде ему попадало не однажды, все равно нейдет.

— Значит, худо попадало,— усмехнулся Голубь.

— Думаю, по-всякому было...

— Но это все приходило со стороны. Он не встречал отпора изнутри,— размышлял Голубь, трясая перед своим вислым носом тонким указательным пальцем.

— Что значит — изнутри? — не поняла Д...

— Он равнодушен к Вам?

— Возможно,— уклонилась она от ответа.

— Не скромничайте, видно невооруженным глазом.

— А вооруженным? — хитро глянула она игривым засветившимся взором.

— Еще больше,— засмеялся заговорщицки Голубь.— Вы удивительная женщина!.. Если бы мне вовремя встретился такой экземпляр, как вы...— Голубь закатил глаза.

— И что бы тогда? — поинтересовалась Д..., явно польщенная очередным комплиментом.

— Я бы горы своротил!

— Не надо, а то останутся одни унылые равнины,— попросила Д...

— Ладно, не буду,— пожалел он отечественные пейзажи.— К тому же вдруг климат изменится не в лучшую сторону.

— Вы остроумны и обаятельны,— призналась Д...— И мне с вами легко.

— Если так дальше пойдет, я вас уведу от Рубцова,— пообещал Голубь.

— Но «я не лошадь, не ишак, чтобы меня из стойла выводили»,— попыталась она прочитать Есенина.

— Во всяком случае, на мою дружбу вы можете рассчитывать всегда.

— Спасибо,— расстрогалась Д...

— Поверьте, Надя, мне горько, что Рубцов недооценивает вас. И вы себя — тоже. Вы безусловно талантливый человек, об этом надо помнить и никому не позволять унижать свое достоинство.

— Советовать просто, а выполнять...— Д... покачала пышной прической.

— Вы слишком мягкого характера, поэтому он и ширится. Надо быть поагрессивней. Ведь лучшая защита — нападение. В свое время мне пришлось заниматься борьбой и боксом, и в этом деле я понимаю толк...

— Заметно. Вы так сложены! — польстила Д...

— Поначалу меня тоже били. Но когда я активизировался, все изменилось.

— Но вы забыли, что я женщина, а не воин,— пожаловалась Д...

— У женщин масса преимуществ. В любом экстремальном

случае закон и общество встают на защиту ее, а не мужчины. Так что — смелее!

— Вы меня утешили,— засмеялась Д...— Почти вдохновили!

— Да это я так, между прочим. А главная цель моей встречи — попросить новые стихи. У нас в отделе все в восторге от вашей передачи. Пришли письма от населения,— заверил Голубь.— Поэтому мы решили удовлетворить просьбу трудящихся и снова выпустить вас в эфир. Или вы не хотите? Не пренебрегайте нами. Все-таки больше миллиона слушателей. Аудитория!

— Да нет...— замялась Д...— Кое-что написалось, и можно попытаться...

— Вот и хорошо! Приносите... Забыл сегодня предупредить сразу, чтоб прихватили рукопись.

Когда они выходили из кафе, Д... увидела Мишу Колябина, пересекавшего забитую ревущими машинами дорогу. Направлялся он в их сторону, и она негромко, но торопливо сказала Голубю:

— Олег, не прощаюсь надолго, а сейчас побежала. Идет друг Рубцова. Увидит нас вместе, передаст — и неизбежна новая сцена, а я от них устала.

Они расскочились в разные стороны, но это не ускользнуло от внимательного Мишиного взгляда. К тому же он заметил их давно, и его несколько озадачило столь странное расставание.

Д... осталась в большом волнении, еще раз убедившись в дружелюбии Голубя, в признании и уважении творческих и женских ее достоинств. «Интеллигентного человека сразу видно! — размышляла она.— Он даже сейчас все понял и без упрека ушел, не желая нарываться на возможный скандал. Этот Колябин, по-моему, только и делает, что во всем подражает своему кумиру. Прямо в рот смотрит...»

Миша догнал ее и тронул за плечо:

— Надя, подождите.

Она развернулась навстречу и спокойно, даже чуть вызывающе посмотрела в лицо.

— Вы ничего не знаете,— понял он по ее безмятежному виду.

— А что нужно знать?

— Коля в больнице.

Она оторопела. Всего могла ожидать, но чтобы Рубцов попал в больницу — это не вписывалось в ее схему. Выжидательно помолчала.

— Что-нибудь серьезное?

— Серьезней некуда. Чуть не убили...

— Он дрался? Достукался все-таки... — с горечью злорадствовала она.

— Его били! Около собственного дома. Прямо у подъезда били!

— Кто?

— Пока не знаем, но милиция занимается. Она и сообщила в редакцию.

— Вы ходили к нему?

— Вот иду. Может, и вы со мной?

— А пустят? — недоверчиво спросила Д... — Едва ли, наверное...

— Попробуем пробиться.

— Можно, конечно, — без воодушевления сказала она, и Мишу передернула эта холодноватая фраза.

— Смотрите сами. Лично я пойду.

Она посоображала некоторое время и решилась:

— Действительно, надо сходить.

Колябин уже пожалел, что остановил ее и вроде бы навязал лишние хлопоты, но делать было нечего и они пошли вместе: тревожно молчавший Миша, и раздосадованная нервная Д...

В больнице им сказали, что у Рубцова сейчас следователь и к больному никого не пускают, но Миша Колябин показал журналистское удостоверение, и это возымело силу.

— А она? — кивнул в сторону Д... моложавый, но седеющий врач.

— Жена, — соврал Миша, и снова получил согласный кивок.

Д... слышала разговор, и когда они пошли вглубь коридора, недовольно пробурчала:

— Что за шуточки, Михаил? Откуда вы взяли, что я жена?

— Иначе бы не пропустили...

— Ну, и пусть! В другой бы раз пришла. А вы пустили сплетню. Теперь на меня будут смотреть...

— Бросьте вы! — поморщился Колябин. — Никто не будет смотреть.

— Мне лучше знать!

— Тогда вернитесь и скажите доктору, что вы Рубцову посторонний человек и спокойно отправляйтесь спать, — взорвался Миша, повысив голос.

— А что вы на меня кричите?

— Я не кричу, — устало проговорил Колябин. — Советую.

— Не надо подражать худшим чертам Рубцова. Даже если вы его уважаете, — дидактическим тоном начала Д..., и Колябин снова пожалел, что связался с нею.

— Давайте оставим этот разговор для более подходящего случая,— предложил Миша, видя, что они подходят к нужной палате, из которой вышел молодой человек в накинутах на плечи халате и с папкой.

Миша сообразил, что это следовательно, и спросил:

— Как он?

— А вы ему — кто? — не ответив, посмотрел мужчина на Колябина.

— Друг... Но вообще-то я из газеты.— А когда тот перевел глаза на Д..., Миша поторопился сообщить:— Это со мной,— больше не решился рекомендовать женою пострадавшего.

— Не стоило бы сейчас его тревожить,— начал следовательно, но Рубцов, видимо, услышал голос Д... и почти закричал:

— Надя, ты пришла? Пропустите ее. Доктор, пропустите мою жену!

Следовательно пристально посмотрел на Д... и, видя, что та смутилась, услышав крик из палаты, посоветовал:

— Заходите по одному, его нельзя утомлять. Мне и то отпустили десять минут.

— Что он говорит? Назвал кого-нибудь? — спросил Миша.

— Говорит, что ничего не помнит,— посожалел следовательно.— Или не хочет помнить. Было темно, лиц не разглядел... Может, вы что-нибудь узнаете,— посмотрел он на Мишу Колябина.— Объясните, что вспомнить в его интересах.

— Думаю, Рубцов понимает это не хуже других.

— Понимать-то, может, и понимает, но или боится, или бережет кого-то...

— Кого ему бояться? — усомнилась Д...

— Мало ли...— неопределенно сказал следовательно.— Не так все просто.

— Хорошо, мы попытаемся выяснить, что возможно,— пообещал Миша.

Из-за двери опять послышался требовательный крик:

— Доктор, пропустите мою жену. Я должен ее видеть. Это не помешает здоровью, а только поможет.

И следовательно кивнул ей:

— Идите, что ж вы стали. Он, чего доброго, сорвется с кровати.

И Д... вошла, оставив в коридоре Мишу, решившего повременить.

— Наденька, ты пришла. Я знал, что ты придешь. Я верил,— жарко выдохнул Рубцов.

— Успокойся, успокойся, Коля. Тебе нельзя волноваться,— начала Д... с дежурных слов.

На его глазах показались слезы, и он смотрел сквозь них мучительно и напряженно.

Она присела возле кровати на стул, еще теплый после следователя.

— Наденька,— Рубцов поймал прохладную руку.— Тебя не пускали, но ты все-таки прошла. Вот, какой ты молодец. Я тебе никогда этого не забуду,— говорил он без умолку и все держал руку и крепко сжимал, словно боясь, что та куда-нибудь исчезнет.— Тебя врач не пускал?

— Да нет, ничего,— сбита с толку такой нежностью и многословием пролепетала Д...— она впервые видела Рубцова таким горячим и нежным. Он никогда не говорил столь страстно и искренне, впившись в нее помутневшими глазами, и Д... отнесла это на счет непривычной слабости.

— Врач никого не велел пускать, я знаю,— повторил он.— А ты взяла и прошла. Как я благодарен тебе!

— Успокойся, ради бога,— почти прикрикнула Д... на него.— Иначе вынудишь уйти. Тебе нельзя волноваться.

— Хорошо, хорошо,— торопливо забормотал больной, еще крепче сжимая ее руку.— Как я рад, как я рад!

Говорить ему было непросто. Забинтованная голова тяжело лежала на подушке. Он пытался ее поднять, но всякий раз она обессиленно падала; спекшиеся почерневшие губы нервно вздрагивали и все хотели улыбнуться, но кроме гримасы ничего не выходило. Просохшие глаза возбужденно блестели, и трепетало свободное от бинтов горло; он постоянно сглатывал мешавший говорить влажный комок. Немного овладев собой, Рубцов сказал:

— Вот видишь, как плохо оставаться одному.

— Что с тобой произошло? — спросила она, хотя догадывалась и так.

— «Ничего, я споткнулся о камень. Это к завтраму все заживет»,— ответил он есенинской строкой.

— К завтраму — едва-ли,— вроде приуныла она.

— Заживет! — убежденно повторил он и по привычке плотно сжал губы.

Женское чувство ее обыкновенно страдало при виде жалких и беззащитных существ. Она и вправду, как признавалась, не могла пройти мимо пораненных щенков и бездомных кошек, часто подбирала и приносила домой, откармливала и отмывала, находя в этом не только удовлетворение, но и осознавая определенное благородство и преимущество перед людьми нестрадательными и безразличными. Она, гордясь, показывала потом спасенных и выправленных животных подругам и соседям и охотно рассказывала, в каком плачевном и непотребном состоянии пре-

бывали эти бедолаги до встречи с нею. В довершение брала на руки холеного кота, безнаказанно трепала за загривок и дула в морду, от чего тот недовольно жмурился, отворачивался и подламывал уши, но терпеливо переносил хозяйское своеволие и тиранию, словно в благодарность за спасение и предоставленный кров, где было в избытке неоговоренных харчей и деспотической, непомерной ласки. Д... умела делать добро, но требовала, чтобы оно всегда было замечено и вслух оценено. Безгласное и невидное другим — ее не привлекало. Она любила и пестовала попавших под ее надзор животных истово и самозабвенно до тех пор, пока они были повержены и беззащитны; но стоило подопечным встать на ноги и обнаружить самостоятельность и способность обходиться без ее опеки, как теряла к ним интерес и даже злилась, что так быстро те оправились, лишив возможности о них заботиться и повелевать ими.

При виде забинтованного и неподвижного Рубцова у нее поначалу сжалось сердце; но когда в голосе больного послышались уверенные нотки, неутвердившееся чувство сострадания расслоилось, и к нему примешалась досада, что Рубцов слишком быстро вернул былую уверенность, и ей не удастся в полной мере проявить и показать свое великодушие, чтобы насладиться им и самой.

Ей почему-то захотелось разубедить Рубцова в скором выздоровлении, и таким способом сдержать эту неумную волю, утвердить за собой хотя бы на какое-то время руководящую роль. Эти мысли увлекли, поэтому она рассеянно слушала, что говорил Рубцов. А он пел ей гимны:

— Когда я однажды в Москве отравился и вызвал на снятую квартиру скорую помощь, врач спросил: кто бы мог из друзей посидеть у моей постели пару дней, потому что вставать и ходить мне запрещалось. Я перебрал в памяти знакомых, и ни на ком не мог остановиться. Тогда я понял, что у меня уйма приятелей, но нет близких друзей. Теперь все по-другому: ты сидишь рядом, и я живу!

Д... начала тяготиться непомерными излияниями и вспомнила про Мишу Колябина.

— За дверью тебя поджидает друг.

— Какой друг?

— Колябин.

Рубцов смолк на мгновение, словно вспоминая, кто же это такой, и, обдумав что-то, негромко сказал:

— Да, это друг. Но пусть немного подождет. Этот все поймет. Нам надо побыть вдвоем и поговорить, — и снова сжал ее руку настолько крепко, что она с трудом освободилась.

— Сейчас не время болтать, надо выздоравливать,— уклонилась Д... от ответных слов.— И потом нам отпущено мало времени на встречу, поэтому надо позвать Михаила.

— Да погоди же! — настаивал Рубцов.

Но Д... уже открыла двери и взглядом приглашала Мишу войти. Он встал в ногах Рубцова, чтоб видеть лицо, а Д... снова села на стул и положила белые полные руки на колени, приняв смиренный, монашеский вид. Миша подозрительно, почти неприязненно глянул на нее, уловил заведомую фальшь и промывав приветствие, остановил взгляд на руках Д... «Какие у нее белые, красивые руки. Без единой ссадинки,— подумал он.— Руки, которые наверняка не умеют делать серьезной работы. Ими можно любоваться, но их нельзя уважать».

Но Рубцов нащупал одну и, не стесняясь Колябина, притянул к себе.

— Спасибо вам, что пришли,— проговорил хриловато и хотел что-то дополнить, но вошел врач, и Рубцов умолк. Д..., казалось, только и ждала повода, чтоб освободиться, наконец, от гнетущей обстановки и встала:

— Уходим, уходим,— торопливо сообщила врачу, хотя тот ни слова не сказал о затянувшемся присутствии, и, бегло проговорив необходимые при прощании слова, вышла в коридор.

— Коля, ты можешь мне сказать что-нибудь конкретное? — спросил вполголоса Миша Колябин, ставя ударение на слове «мне».

— Я могу только предполагать,— вдруг ослабев и словно потеряв интерес ко всему, сказал Рубцов.

— Кто?

— Но это слишком слабое предположение,— без энтузиазма закончил он.— Потом разберемся...

Когда Миша вышел из палаты, Д... уже не было; облегченно вздохнув, он отправился восвояси.

А Рубцов впал в забытие. Потеряв много крови, уставал теперь быстро и как-то особенно тяжело и безрадостно. Голова шумела, а лицо, утратившее недавнюю живость и краску, пугало неестественной резкой желтизной. Бросались в глаза исхудалость и вялость рук, сложенных по привычке на груди поверх одеяла. Когда он засыпал в такой позе, медсестра, заходя, всякий раз вздрагивала. Ей казалось, что он умер или при смерти. Дыхание еле прослушивалось, грудь почти не вздымалась, и только вздутые и тугие вены на руках рассеивали страх и убеждали, что по ним, может, и нехотя, но движется неостывшая кровь. Да необычно оттопыренные уши придавали больному не только живой, но даже потешный вид.

Снилось Рубцову всякое. Но вот уже который раз повторился во сне приключившийся с ним в детстве случай.

Тогда он жил вместе с другими детдомовцами в пионерском лагере на берегу быстрой сплавной реки, коварной своими незаметными водоворотами. Ребятам отвели для купания безопасное место в тихой заводи с песчаным дном, где под присмотром молодой вожатой они вволю бултыхались в погожие дни. Вожатая слыла умелой пловчихой-разрядницей, сама любила воду и культивировала эту любовь среди подопечных.

Коле Рубцову надоело муляться в отведенном взбаламученном «лягушатнике», и он норовил отбиться от визгливой компании и выбраться на чистую струю. Привлекала и быстрина, крутившая мчавшиеся вразброс сосновые и еловые бревна, цепляясь за которые, он проплывал, не гребя, с десятков метров. Плавал он тогда плохо, но настырно старался преодолеть течение, яростно загребая против него. Его сносило, и он, выбившись из сил, радовался, нащупывая ногами твердое песчаное дно.

Вожатая загорала, лежа в прогретой траве, и не видела опасных проказ воспитанника. А Коля увлекся всерьез: он заходил подальше вверх по течению, цеплялся за комель близко проплывавшего бревна и беззаботно несся с его помощью, не плескаясь и не фыркая, чтоб не привлекать внимания, лишь изредка касаясь ногами дна для уверенности и спокойствия.

Однажды, никем не замеченный, Коля восторженно миновал «лягушатник» и быстро вылетел почти на середину. По привычке опустил ногу, но опоры не обнаружил. От растерянности не сразу выпустил бревно, и его уносило все дальше. Когда, наконец, решился отцепиться, до берега было уже метров сорок, а быстрина тащила и тащила и дотянула до небольшой, но сильной воронки. Он окунулся враз, но выплыл наверх и хватил воздуха. Когда утянуло снова, перепугался и, выкарабкавшись, успел в полную силу легких крикнуть булькающим и отчаянным голосом. К счастью, вожатая поднялась на ноги, чтобы посмотреть, все ли ладно в «лягушатнике». Молодое зрение помогло сразу заметить опасность, потому что ребяташки, услышавшие крик, прекратили барахтанье и смотрели в сторону утопающего, и многие кричали. Вожатая немедленно соскочила с сыпучего берега в воду и крупными прыжками полетела на зов, высоко выпрыгивая над водой и сверкая крепкими загорелыми икрами. «Держись!» — вопила она, не помня себя от ужаса. «Держись! Я иду!» Это подбодрило Рубцова, к нему вернулись рассудок и воля, и он стал выгребать навстречу. Искажённое от страха лицо вожатой увиделось, наконец, совсем близко. Пловчиха, бешено борясь с водоворотом, схватила Рубцова за худенькую

руку и выдернула из гиблого места. Перевернувшись на спину и сильно работая ногами, отволокла на несколько метров и только тогда выдохнула: «Держись за мое плечо». Рубцов уцепился за лямку купальника, судорожно сжал ее и беспомощно всхлипнул. Вожатая плыла, изредка оглядываясь и подбадривая взглядом и голосом. Почувствовав под ногами зыбкую землю, наконец встала и, схватив спасенного, крепко к себе прижала. Но ее ноги подломились, и она упала, сев на песок, так что вода достигла дрожащего белого горла, и Коля ухватился за спасительницу, напугавшись, что та провалилась в яму, но вожатая, отвернувшись и прикрыв лицо рукою, шлепнула его и прикрикнула: «А ну, на берег!»

Потом долго отлеживалась в траве, а он, окруженный пачанвой, сидел под ивовым кустом и вздрагивал посиневшим телом. Набежавшие нянечки и воспитатели, кем-то, видимо, оповещенные о случившемся, охали и вздыхали, галдели и ругались.

— Ох, негодник. Ведь в тюрьму бы девку усадил.

— Надо же! Что придумал!

— А ну, марш все из воды! — приказала старшая пионервожатая, хотя это было лишним: там уже никого не было... Все жались и ежились на берегу от неожиданности и возбуждения.

Рубцов убежал, придя в себя немного, а вечером его поймала старая повариха тетя Шура, выделявшая и любившая этого востроглазого и ласкового мальчика.

— Напугался, наверно? Конечно, напугался. Шутка ли! Чуть не потонул. Теперь берегись. Дважды из экой беды не выплывают...

Все думали, что Рубцов после такого близко не подойдет к реке. Но он через день уже купался вместе со всеми, а к воде почувствовал особое, хотя и тревожное, доверие и расположенность.

Окончив семь классов, Рубцов запросился в мореходное училище, потому его и возили в Ригу, но подвел малый рост. А мечта о море не оставляла, хотя встреча с ним и откладывалась. Зато сколько было гордости, когда попал служить на флот, а после службы, не желая расставаться со «свободной стихией», выпросился на рыболовецкий сейнер.

Море тоже снилось часто. Хотя, кроме него, — чего только не было... И лесотехнический техникум был, и горный, но из того времени ничего не снилось и почти не вспоминалось. А море — постоянно! И еще — товарищи по детдому. Как они тогда хорошо, дружно жили! Пекли на стрельбище картошку. Катались на попутных машинах. Как-то уехали километров за десять, а об-

ратно добирались пешком. Конечно, их отсутствие заметили и в наказание лишили обеда. Но добрейшая тетя Шура с кухни потихоньку вынесла им кусков и напихала за пазуху.

— Выдумали, головы, наказание! — она ругалась на начальников. — Робята, ну-ко, прошли десять верст, есть-то вон как охота! А им не дают, — и она добавила каждому по паре вареных картошин.

Да, было время... Там он привык со всеми делиться последним. И во взрослой жизни жил так же. Может, поэтому вечно вертелись вокруг какие-то люди, опивали, обманывали, даже обкрадывали порой, умело используя природную доверчивость. С возрастом Рубцов стал менее доступен, но это не утешало. Душа-то все равно тосковала и рвалась к той простоте и отзывчивости, которые объединяли и спасали в детстве.

Через много лет, встретясь с тетей Шурой, они вспоминали былое.

«Да, — качала она сивой головой. — Как только не жили. И голодно, и холодно, и так живали!» — и она почесала за пазухой и рассмеялась чистым нестарушечьим смехом.

«Да, живали и так, — подумал Рубцов. — И все-таки было прекрасно!»

Теперь, лежа в больнице и обрета нездоровый, но длительный досуг и покой, он перебирал в памяти минувшее и давал всему зрелую и определенную оценку, словно и вправду собирался умирать. Хотя не верил и не желал этого. И даже, чтобы отпугнуть нелепую мысль, сочинил шуточные строки с вызывающим запевом:

*Я лежу в своем гробу,
Дым валит через трубу.*

Но больше всего он, конечно, думал о Д... Не предполагал и не чаял, что может еще из-за женщины терять голову. Как получилось такое? И благо это или несчастье? Получив наконец квартиру, вожаемое место труда и отдыха, он писал Гете письма, звал в Вологду на постоянное жительство. Настаивал на оформлении брака. Но та все уходила от прямого ответа, крутила, вертела, ссылаясь на мать, будто бы удерживающую их с Леной.

«Неужели прямо за юбку хватает? — удивлялся Рубцов наивным и безвольным ответам. — А может, кого-то завела и темнит, тянет, ждет прояснения новых отношений?»

Он закипал при этой мысли, обзывал курицей, дурой и пре-

дательницей и снова писал письма, и снова звал и не надеялся на успех.

А Д... не могла не покорить смелостью и решительностью нрава, непохожестью на безликую и безвольную Гету. Характер у этой, чувствовалось, не сахар, но Рубцов надеялся обломать, привести в соответствие с устоявшимися представлениями о женской мягкости и покорности, вынашивал эту мысль спокойно и уверенно.

На поэтические опыты Д... смотрел снисходительно. Бывают же натуры, которые ищут в поэзии не славы, а самозабвения. Возможно, это одна из них. Непонимание мужа, неудовлетворенность собой и глухотой окружающих, позднее осознание собственной личности... да мало ли что подвигает человека к перу: а образуется жизнь, разгорится семейный очаг, успокоится сердце — и сами собой отступят незрелые забавы. Сколько таких примеров видел на своем веку Рубцов? Страдает какая-нибудь девица от неразделенной любви, изводится, бедная, ночей не спит — над листом горбится. А выйдет замуж — как рукой снимет злополучную болезнь и беспокойную привычку мараить бумагу.

И самой облегчение, и государству прибыль: разумного и здорового человека получило в работники...

«Я помогу государству и ей,— весело думал Рубцов о Д...— Исцелю от ходячего недуга. Внушу, что чем писать посредственно, лучше не писать вовсе. Она не глупа и должна согласиться. Еще благодарить будет».

Рубцов не подозревал, как жестоко ошибался на сей счет:

«Выйдя из больницы, он настоит на переезде Д... к нему, и она не сможет отказать нуждающемуся в помощи собрату. Пусть живут они с Оленькой рядом, и он будет любить ее дочку, как свою. А потом, когда Лена подрастет, девочки познакомятся и подружатся и не будут судить строго; им-то он ничего и никогда не желал, кроме добра. Надо только поторопить Д... с оформлением развода. Кажется, ее брак до сих пор официально не расторгнут. «Ну, и пара получается! — усмехнулся про себя Рубцов.— Один не сумел расписаться, другая не может известись...» Не такого бы начала хотелось. Но — «на то не наша воля». Подобные закорючки не должны помешать глубокому чувству». А что это чувство серьезно с обеих сторон — он почему-то не сомневался.

Хотя иногда просыпался среди ночи от мрачных и тяжелых видений, которые не могли не выбить из равновесия и к физическим болям добавляли не менее тяжкие — душевные.

Д... в сновидениях почему-то являлась не одна, а в окружении молчаливых подозрительных людей, которые хмуро и неподвижно

смотрели на Рубцова и не вынимали рук из карманов. Они о чем-то перешептывались, кивали в его сторону и, подняв воротники, исчезали за углом дома; а она, оставшись одна, смотрела в упор и требовала освободить жилплощадь для них с дочкой. Лицо Д... при этом наливалось багровым соком, глаза становились оловянными и вылезали из орбит; перепутанные волосы трепыхались на ветру. Рубцов зло кричал на нее: — «Ах ты, рыжеволосая бестия!» — и, содрогаясь, просыпался. «Такие сны могут окончательно доконать здоровье, а не поправить», — горестно размышлял Рубцов и прогонял сон, боясь продолжения той же чертовщины. — «Только подумать, в каком образе может предстать дорогой человек! Хорошо, что я не суеверен и не придаю значения всяческим химерам, а то можно с ума сойти. Или заподозрить Надежду в связях с дьявольской силой». И он торопился поскорее отделаться от наваждений, переключая внимание и память на более приятные предметы. И подгонял время, чтобы скорее настало новое утро и навестила любимая женщина.

Но она почему-то медлила. Народу приходило много, но все не самые жданные.

Больше других Рубцов обрадовался повторному появлению Миши Колябина, которому мог доверить — пусть не все, — но тайны сердечные...

— Что-то не идет моя ненаглядная, — пожаловался Рубцов несерьезно и в этот раз.

— Работа держит, наверное, — успокоил Миша.

— Вечера есть...

— А вечером — ребенок, — настаивал Колябин.

— Все так, — согласился Рубцов. — Но, может, сходишь к ней, скажешь, что поджидаю?

— Если хочешь...

— Если бы не хотел, не просил, — коротко и строго оборвал Рубцов.

Мише никак не хотелось идти к Д... Он попытался увернуться:

— Может, позвонить?

— В библиотеке нет телефона. Можно только через почту. Но это бежать, обременять людей. Да и не поговоришь по-человечески...

— Хорошо, я схожу, только распиши, как ехать, — решился Миша Колябин с неохотой.

— Вот это по-дружески, — загорелся Рубцов. — От тебя не требуется многого. Передать письмо — и все.

— Ты уже можешь писать?

— Нет, конечно, однако записку черкнуть постараюсь. Только нужны ручка и листок.

Миша достал записную книжку и ручку. К счастью, в кармане оказалось несколько редакционных конвертов без марок. Он все передал Рубцову и отошел к окну, задумавшись и глядя на облетевшие больничные деревья. Они раскачивали верхушки рядом с окнами второго этажа, и каждая веточка была отчетливо видна и словно жила отдельно, чернея от холода и трепыхаясь под ветром. Но в одиночку она не смогла бы так пронзительно спеть, как получалось в общем хоре, и не услышал бы ее никто, как бы ни напрягалась она всем своим существом. Только совместно они наводили тоску и понимали всякого, кто прислушивался и вникал в жалобный вой осенней непогоды. А поскольку деревьев вокруг больницыросло много, то при сильном порыве их отдельные слабые голоса соединялись и меньше всего походили на жалобу, а звучали мощным гласом общего недовольства и возмущения.

— Какова симфония! — торжественно сказал Рубцов, поняв, что Миша заслушался именно ею. — Просыпаюсь среди ночи и часами разбираю по складам. Начинают самые рослые басы — тополя, потом включаются мелодичные березки. Причем различаются взрослые и юные: а уж напоследок тонюсенько подпевают кусты бузины и сирени, когда идет низовой ветер. Да еще кругом провода... Тоже вносят свою лепту. Прямо концертный зал.

— Тоскливо, наверное? — спросил Миша. — Особенно — ночью. Лучше бы в общей палате...

— Я больше тоскую от пустой человеческой речи. А в природе нет тупого. Все заставляет думать и чувствовать.

— Надеюсь, здесь тебе не приходится страдать от нашествия глупости?

— Нашествия, слава богу, нет. Но хватает и единиц... — Рубцов иронически улыбнулся. — Есть тут одна сестричка.

— Что — сестричка?

— Узнала, что я пишу. Почитайте, говорит.

— И ты, конечно, очаровал? — с наигранным пафосом спросил Миша.

— Пытался. Прочитал ей Тютчева. А она говорит: а теперь объясните своими словами.

— Воистину неистребима человеческая глупость, — с сожалением подытожил Миша Колябин.

— Поэтому и дорожишь каждым умным человеком, — философски сказал Рубцов. — Поэтому и держишься за него.

Миша по тону и печальной задумчивости понял, что речь идет о Д... и осторожно спросил:

— А не кажется тебе, что слишком идеализируешь, вернее, романтизируешь?

— Не кажется!

— Не мое, наверное, дело, но, на правах друга я бы хотел предостеречь.

— От чего?

— Излишней экзальтации, например...— начал Миша.

— Не пугает. Обыкновенное бабство приелось и надоело. В женщине должно что-то дразнить!

— Тут, по-моему, не только дразнит, но и настораживает.

— Что именно?

— Чрезмерные претензии, хотя бы,— уклончиво ответил Колябин.

— В каком смысле?

— В поэтическом, прежде всего.

— Она что, и тебе свои стихи подсовывала?

— Зачем — подсовывала: показывала.

— Ну, и..? — уставился Рубцов на Мишу.

— Ну и — я растерялся. Не знаю, что сказать.

— Говорить надо то, что думаешь. Или не обучен? — недовольно упрекнул Рубцов.

— Сказал и, кажется, нажил врага.

— Ничего, переживет.

— Самое страшное, что есть люди, которым выгодно не только хвалить ее, но и настраивать против нас, предварительно, конечно, убедив, что мы — душиатели талантов и любим прежде всего свои опусы. А она их тех, кто с удовольствием воспринимает похвалу — даже заведомо ложную — и решительно восстает против любой критики. Даже самых безобидных замечаний.

— С этим приходится согласиться,— заметил Рубцов.— Убедился лично.

— И, мне думается, круг беспардонных хвалителей и заговорщиков расширяется.

— Не надо так мрачно,— попросил Рубцов.— К тому же против симпатичной женщины...

— Насчет женских достоинств молчу, потому что о вкусах не спорят,— опять уклонился Миша.

— Она тебе не нравится? — удивился Рубцов.

— Мне нравятся другие...

— Потрафил, потрафил. Уж не боишься ли и ты моей ревности?

— Не твоей ревности боюсь, а за тебя побаиваюсь,— серьезно сказал Колябин.

— Успокойся, я не гимназистка,— отшутился Рубцов и протя-

нул заклеенный конверт. — Маршрут автобуса сто один. Доедешь до Лосты, а там спросишь. Все рядом. Работы на полчаса.

С этим Миша Колябин и ушел из больницы. Не стал откладывать в долгий ящик, а сразу направился на остановку сто первого автобуса.

Библиотеку показала первая встречная девочка-школьница. Он постучал в незапертую дверь, но никто не ответил, и Миша дернул за скобу. На выдаче никого не было. Но топящаяся печка и разваленные на столе книги подсказывали, что хозяйка отлучилась ненадолго.

Вскоре послышался оживленный разговор и топот ног, и шумно вошла Д... в сопровождении тонколицего парня в мохнатой шапке и демисезонном пальто стального цвета. Плотный пестрый шарф подпирал и без того высоко поднятый подбородок. Д... смутилась, увидев неведомо как появившегося Мишу, и на какое-то время смешалась. Парень, решив, что перед ним обыкновенный сельский читатель в потертом пальтишке с черными пуговицами и тупоносых немодных ботинках, продолжал оживленно трепаться:

— После такого чаепития можно подумать и о духовной пище.

— Да ладно ты, — махнула на него Д...

— Что — ладно? — не понял парень, и той пришлось округлить глаза и еле заметно кивнуть в Мишину сторону.

— А-а, гм-м, — пробормотал парень, слишком поспешно взяв в руки подвернувшуюся книжку и слишком сосредоточенно начав ее перелистывать.

— Вы ко мне? — наигранно обратилась Д... к Мише.

— Я, собственно, на минуту, — хмуро произнес он и полез в боковой карман.

— Пожалуйста, пожалуйста, — поторопилась Д...

Миша подал письмо и повернулся к двери.

— От кого это? От вас? — спросила Д..., скрывая смущение.

— Что вы... шутите?

— Подождите же! — потребовала она, узнав почерк на конверте и видя, что Колябин уходит: не могла допустить такого красноречивого пренебрежения и нежелания объясниться.

— Мне больше нечего добавить, — холодно сказал Миша.

— Ну, хоть скажите, как там, что?..

— Сходите, увидите сами.

— Но я же работаю.

— Вижу, вижу, — снисходительно согласился Миша.

— Нет, правда: днем — работа, вечером — дочь.

— Именно так я и объяснял ему.

— А он?

— А он ждет. И как видите, пишет письма.— Миша посмотрел на парня и кивнул в его сторону.— Есть выход. Вы на час-другой оставляете вместо себя заместителя — и свободны.

— Мне заместитель не положен,— поняв его выпад, хлестко ответила Д...— И этот человек никакого отношения к библиотеке не имеет.

— Тогда простите.

— Ничего не стоит!

— А в чем, собственно, дело? — отложил парень книгу и небрежно двинулся к Мише.

— Молодой человек выясняет степень твоей причастности к моей библиотеке,— тем же тоном заявила Д...

— А не лучше ли сначала выяснить степень его причастности? — спросил парень.

— Равна нулю,— ответил Миша спокойно.

— Тогда в чем дело?

— Как говорят, в шляпе,— Миша холодно и дерзко посмотрел в глаза собеседнику.

— Не надо надуваться, молодой человек,— с пренебрежительной миной посоветовал парень.

— А то?

— Всяко может получиться,— небрежно скривил он губу.

— Что вы тут затеваете? — забеспокоилась Д...

— Не волнуйся, ничего особенного,— успокоил парень.

— Действительно, не беспокойтесь,— подтвердил Миша.— Пока он один, ничего не произойдет.

— Что вы хотите этим сообщить?

— Только то, что такие, как вы, предпочитают работать втроем против одного. И обычно в темноте, чтоб не выдать лица. К тому же в пустынных дворах: чтоб никто не подоспел на выручку жертве.

— На что вы намекаете? — парень пристально посмотрел на Мишу.

— Я не намекаю, а утверждаю, что это так! Но на сей раз номер не пройдет.

Д..., не вникая в зловещий подтекст мужского разговора, видела лишь внешнюю сторону его недружелюбия, поэтому беспокоилась и повторяла безуспешно:

— Ну, хватит вам!

Но больше всего ее волновали подозрения Колябина насчет появившегося не вовремя этого товарища, и тоже с запиской, только от Голубя. Человек пришел вроде с пустячным делом, а в историю попал неприятную.

Д... не сомневалась, что Колябин все расскажет Рубцову, хотя в принципе нечего было и рассказывать. Ей не хотелось тяжелых сцен, а они неизбежны, если сегодняшний случай дойдет до Рубцова. Опять она может лишиться доверия и расположения и — хотя небольшой — но поддержки, в которой испытывала постоянную нужду на пути к заветному поприщу. Одна была надежда: Колябин пожалеет Рубцова и промолчит, хотя бы пока тот болеет. А за это время можно многое придумать, уладить и выправить.

VIII

Приближались Октябрьские праздники. Рубцова выписали из больницы, и он радовался, что сможет побывать на решетовском дне рождения, падающем как раз на красное число. Припасен был и подарок — большой спелый ананас, одним из почитателей принесенный Рубцову в больницу; из самой Москвы привезен ананас, и Рубцов решил не зорить единолично редкий плод, а порадовать именинника.

Погода отладилась, стояли первые холода; под ногой похрустывала отвердевшая грязь, по которой можно бродить, не пачкая ботинок; и Рубцов по привычке кружил тихими улочками больше часа, решив поработать, но безрезультатно. Складывались неуклюжие путанные строчки, не имеющие внутренней музыки, без которой не мыслил он никакой поэзии.

Рубцов растерялся, напугался даже: раньше с ним такого не бывало. Лежа на больничной койке, он прокручивал порой в памяти написанное прежде и оставался доволен. Навертывались и новые счастливые мелодии, но он не доводил их до логического завершения, быстро уставая и боясь излишнего напряжения. Он несказанно радовался уже тому, что не утеряна, не отшиблена сама возможность творчества; что музыка слова и своенравность мысли продолжают жить в нем, а значит, необходимо сохранить и закрепить способность к прежней главенствующей деятельности. И он покорно принимал все лекарства, подчиняясь предписаниям врача и категоричности режима, надеясь, что, встав на ноги, быстро наверстает упущенное время и возьмет свое. Но, выбравшись из «узилища», как говаривал Твардовский, Рубцов не обнаружил былой легкости и уверенности при сочинении. Каждая тема прорезалась с трудом, всякая строка давалась с усилием. Вымучивание мертвых строк претило, и он вернулся домой угнетенный и обезволенный. Не раздеваясь, плюхнулся на диван и провалился в дремучее беспокойное забытьё.

Над ним носились какие-то черные птицы, сбивая с головы шляпу и обнажая полуголый череп. Пронзительное и прерывистое карканье было несносно и оглушительно. Они захлебывались и давились собственной злостью и горловым криком, а предельно израсходовав взвинченную энергию, отлетали в сторону, уступая место свежим налетчикам. Но им не удавалось по-настоящему отдохнуть и набраться сил: словно чья-то невидимая, но негибаемая и мрачная воля срывала их с ветвей снова и бросала в нескончаемую атаку.

Вдруг все смолкло и перед ним явилась Д..., улыбающаяся, в новом желтом платье, особенно ее красившем и подчеркивающим достоинства сложившейся фигуры.

— Что, напугался? — спросила она, прищурив крупные глаза.

— Напугался,— произнес он просто.

— Если б не я, заклевали б тебя божьи птички...

— Откуда они взялись? Их никогда здесь столько не собиралось,— удивился Рубцов.

— Из моего рукава,— засмеялась она.

— Не наговаривай на себя,— сдавленно попросил он.

— Не веришь? — она опять сузила глаза, словно подражая ему, Рубцову.— Тогда смотри! — и тряхнула правой рукой, и из короткого тесного рукава, галдя и трепыхаясь, вылетели уродливые черные птицы и закружились над его головой, пикируя и гомоня, но не трогая, пока не поступило приказание.

— Кыш! — прошипела негромко Д... и птицы, смолкнув и сужившись, юркнули к ней за пазуху.

— Теперь поверил? — требовательно спросила она, прямо смотря в глаза остановившимся взглядом.

— Теперь поверил...

— Так что смотри у меня!.. — погрозила она пальцем и вдруг повеселела: — А правда, как в сказке?

— Но в сказке из рукава пускают лебедей,— неуверенно поправил Рубцов.

— Это раньше было... — возразила она.— А теперь другие и птицы, и сказки.

— И ты другая,— раздумчиво заметил он.

— Я разная... Ты не придумывай меня, как тебе удобно.

— Но ты же красивая. Тебе больше подходят лебеди.

— Они слишком беззащитны. Их приходится самих охранять, не зря занесены в Красную книгу. А эти понадежней.

— Ты стала практичной.

— Приходится. На тебя ж рассчитывать смешно.

— Ты списала меня на свалку?

— Ну, может, еще не совсем списала...

— Но — спишешь? — с ужасом посмотрел он в ее раскаленные зрачки.

— Как себя поведешь... — неопределенно ответила Д...

Он замер, съжившись, и опустил глаза, втянул голову в торчащий воротник неизменного старенького пальто. А когда поднял взгляд, никого не было. Только шумел ветер в безлистных кронах высоких тополей и за ворот стекала с неба холодная струя осеннего воздуха. Он хотел все это запечатлеть в стихах, сосредоточенно смотрел вверх, словно призывая на помощь кого-то, но кроме беспорядочного шума деревьев ничего не улавливал, и, расстроившись вконец, уронил печальную голову.

Проснулся Рубцов от того, что трясли за плечо. Открыл глаза. Над ним стояла Д... в том же тонком желтом платье с тесным коротким рукавом и обеспокоенно спрашивала:

— Что с тобой, Коля? Что с тобой?

Он поднялся и, ничего не понимая, подозрительно посмотрел на нее:

— Откуда ты появилась? Через балкон влетела?

— Дверь была открыта. Я разделась, смотрю — ты всхлипываешь и дрожишь, — она пригляделась и увидела на его глазах слезы: — Ты плачешь... Что с тобой?

Он сел на диван и провел ладонями по влажному лицу. Горько признался:

— Стихи не получаются...

— И ты из-за этого плачешь! — изумилась она. — Нашел причину...

— А как же! Для меня это все. И страшнее быть не может!

— У тебя не слишком щепетильные отношения с Музой?

— Какие есть... Других не признаю. Я стыжусь встречаться с ней, если на щеке хотя бы прыщик появится. А тут... — и он снова горько сморщился.

Она помолчала и, погладив его по голове, успокоила:

— Ничего. Не мучай себя. Все наладится. Давай лучше собираться к Решетовым.

Честно говоря, идти расхотелось: не то настроение. Но он обещал Алексею Петровичу и Ангелине Ивановне и нехотя начал собираться.

— Гармонь, что ли, взять? — не то спрашивая, не то размышляя, сказал Рубцов.

— К такому человеку с гармонью? — удивилась Д...

— Рояля у меня нет, — жестко обронил Рубцов и достал с полки обшарпанный футляр с дорогим инструментом. — Сам ее подарил, пусть сам и слушает.

— Когда подарил? — удивилась Д...

— Еще в Литинституте. Тут целая история, коль вдуматься.
— Ну-ка, ну-ка, расскажи,— оживилась Д...— У знаменитостей любой случай — история.

— Ты видишь только знаменитостей и не желаешь замечать людей,— обозлился Рубцов.

— Снова хочешь поскандальить,— холодно сказала Д...— Тогда я не пойду ни на какие именины.

— Ничего я не хочу,— примирительно произнес Рубцов, боясь, что она действительно в последний момент откажется и окончательно испортит хорошо задуманный вечер.— Никаких скандалов! Сегодня всеобщий мир!

— Ну, смотри,— предупредила Д... внушительно.— Тогда рассказывай историю.

— А было так,— начал Рубцов, подогревая себя голосом и жестом.— Так как же это было? И было ли вообще? — он уже заигрывал.

— Не валяй дурака,— приказала Д...

— Был у нас на курсе один кавказец,— неторопливо, как сказочник, начал Рубцов.— И до того ему, балбесу, жить надоело... И ничего лучшего не сумел он придумать, как в собственный день рождения вздернуть себя на веревке. Все ходил, бубнил: «Не могу лежать, не могу сидеть, надо бы попробовать повисеть». И попробовал. Привязал вервие к люстре в собственной комнате и...

— Погиб? — глаза Д... расширились от ужаса и любопытства.

— И грохнулся вместе с нею на пол! — засмеялся Рубцов.— С люстрой. Не выдержала, бедная!

— Вечно ты все вышучиваешь,— разочарованно произнесла Д...

— Опять я виноват, что какой-то дурак не смог даже покончить с собой по-человечески.

— А при чем тут Решетов?

— А Решетов был в гостях у студентов и проходил по коридору мимо той самой комнаты, когда раздался грохот.

— И что же?

— Он как сообразительный солдат без стука ворвался (дверь почему-то не заперта была, хотя такие дела лучше творить в недосыгаемом одиночестве),— философствовал Рубцов.

— Хватит тебе,— подгоняла Д...— Дальше!

— А дальше — больше,— невозмутимо продолжал он.— Ворвался и видит: сидит на полу не знакомый ему курчавый отрок, среди осколков и прочих дребезгов и горько плачет. «Что с тобой?» — спрашивает ошарашенный Алексей Петрович.— «Да вот,— говорит.— День рождения настал, а никто даже не поздра-

вил, и я решил повеситься». «Балбес,— говорит ему справедливо Решетов.— Мы фронт прошли, фашистов разгромили, чтоб ты учился и радовался жизни, а ты придумал... Сам себя порешить! Вставай, замети стеклянный хлам, выдвигай стол на середину: будем радоваться твоему появлению на свет». И ушел в магазин, и принес полную сумку яств. А кроме всего — эту гармонь.

— Надо же! — удивленно обрадовалась Д... — Какой человек!

— Большой человек, — подтвердил Рубцов. — Но тут промахнулся.

— Где — тут? — не поняла Д...

— Кавказцу надо зурну дарить, а не гармонь.

— От души ведь... — словно обиделась за Решетова Д...

— Это верно. Повеселел кавказец, про веревку забыл, плясал весь вечер под мою игру. А потом вечер кончился и бедная гармошка затихла и пропылилась в углу спасенного товарища. И решил я выручить ее. В очередной приезд Решетова упрекнул, что не по адресу попала гармонь. Что-то худо было мне. Решетов опять впился в меня глазами, обругал всячески за глупую хандру и пошел в знакомую комнату, где уже сияла новая люстра. И сказал тому товарищу: «Тебя спасла эта гармонь?» Тот ответил: «Да». «Сделай так, чтоб она помогла и другому человеку». «А что для этого нужно?» — спросил кавказец. «Подари Рубцову, ему сейчас нехорошо». И они вместе внесли ее в мое жилище. Тут она поработала в полную силу. Скудно зато студенческое житье, но праздников там больше, чем в сытой организованной жизни. Однажды гармонь в порыве экстаза даже прыгнула в окно, — Рубцов отчаянно покрутил головой, что-то вспомнив, — и ей повезло: упала на кусты и не разбилась. Но, уставшая от бесконечного праздника, вахтерша тетя Лида подобрала ее и унесла домой отдохнуть. А нам сказала, что все, разбита в крахмал и ссыпана в мусоропровод. Тогда я и сочинил стишок:

*Разорвана последняя гитара,
Растоптана последняя гармонь,
И девушка последняя Тамара
Зарезана и брошена в огонь.*

— А как воскресла гармонь? — заинтересовалась Д...

— Приехали мы однажды с Мишей Колябиным в Москву, — продолжал Рубцов. — Зашли, конечно, в общежитие родного Литинститута и встречаем ту самую тетю Лиду, вахтершу нашу сердешную. «Коленька!» — обрадовалась она необычайно. Любили мы с ней друг друга, несмотря ни на что.

— Значит, и вахтерш не пропускал,— насмешливо хмыкнула Д...

— Постыдись,— небрежно упрекнул Рубцов.— Ей за шестьдесят было...

— Я не против,— примирительно сказала Д...— Продолжай.

— Продолжаю,— в тон ей ответил он и как ни в чем не бывало дорассказал.— «Что же, говорит, ты за гармонью-то своей не приходишь?» «Какой гармонью?» — спрашиваю. «Да на которой ночами-то играл». «Так ведь она раскрахмалена». «Да ничего подобного,— смеется.— У меня на комодке целехонька стоит». Принесла она легендарный инструмент, и весь вечер мы, как прежде, веселились. А когда уезжал домой, хотел подарить кому-нибудь из студентов. Все-таки дитя литературного общежития. Но не нашлось достойного преемника: разучились ценить народную забаву, как и играть на ней. И увез я ее в Вологду. Тут надежнее.

— Тогда есть смысл взять и на день рождения,— как бы позволила Д...

— Коль начальник разрешает...— иронически протянул Рубцов и легко пробежался пальцами по белым пуговкам. Лицо его преобразилось: ушла куда-то острота и напряженность, он словно отгородился, отторгнулся от всей мирской суетности и углубился нутром в неведомые недра. Склонил голову и, касаясь теплым и чутким ухом гармони, горько и одиноко, словно для самого себя и в то же время для всех, кто не слышит и не понимает чужой боли, запел хриловатым, но пронимающим — даже прохватывающим насквозь — голосом:

*Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке.*

— Ты кого поешь? — насторожившись и посерьезнев, спросила Д...

— Знаем кого, да не проболтаемся,— ушел от ответа Рубцов.— Потом легко встал и направился к выходу: — Пора!

В дверях Решетовской квартиры их встретили нарядные хозяева, помогли раздеться и повесить пальто.

— Молодец, что прихватил,— обрадовался Алексей Петрович, увидев знакомый футляр.

— Не только это! — сказал Рубцов и, развернув газету, поставил на вытянутую ладонь зеленовато-бурых ананас.

— Присовокупляю к аристократическому плоду демократическое двустигшие:

*Ешь ананасы, рябчиков жуй,
Только не думай, что тоже — буржуй!*

Алексей Петрович обнял Рубцова и похлопал по худым лопаткам.

— Спасибо, друг. Уважил так уважил! Даже слеза навернулась,— и он действительно вытер влажные глаза.

«Слабеет старик,— подумал Рубцов.— Таковую жизнь протопал... Две войны одолел, и финскую, и Отечественную, и культ пережил, и лакировке дань отдал. Долго в тумане-то плутал, много времени зря растратил, слишком поздно прозрел, и теперь не исправишь судьбу. Горько. Поэтому никому спуска и не дает. И в первую очередь — себе. Работает на износ, совсем не бережет здоровья. И беспощаден ко всякой фальши, особенно в молодых, которым грех ловчить, чтоб выбиться в люди. Их никто не понуждает к этому. А ведь некоторые самолично согласны чирикать «Чего изволите?» Вот что особенно ненавистно ему. Они полагают, что кто-то им вторую жизнь даст, чтоб очиститься... Нет, не будет ничего. Писать судьбу надо только набело. Он верит в меня и всячески обороняет от заносов в ложную сторону. И я благодарен ему!»

— Проходите к столу. Все собрались, кто зван,— приветливо проворковала Ангелина Ивановна.

— И кто не зван — тоже,— усмехнулся именинник.

— Леша! — укоризненно глянула она на мужа. — На день рождения, кстати, и не принято звать. Приходит тот, кто помнит.

— Это, ежели по-европейски,— насмешливо и криво посмотрел Решетов на жену.

— А зачем жить по-пошехонски, коли можно по-европейски,— обиженно спросила она.

— Ну, ладно, ладно,— примирительно замахал рукою Решетов, и Рубцов понял, что опять одолела этого медведя юркая и говорливая синичка. И хохотнул даже, чем вызвал неодобрительный взгляд хозяйки.

— Бабы всегда больше мужиков разумеют,— весело, но со скрытой горечью сказал Алексей Петрович.

— И с этим приходится считаться,— поддакнула смело Д...

Хлебосольство Решетовых было известно всему городу. У них постоянно толклось много народу, часто лишнего и ненужного, но здесь не привыкли отказывать в приюте и уюте никому.

Такой расклад позволялось не принимать, но о нем следовало помнить.

Собрание гостей и на этот раз было пестрым, и Рубцов не сразу всех разглядел, но Голубя, сидящего у окна, увидел и выделил моментально.

«И этот тут! — пронеслось в голове, и гулко ударило в сердце. — Везде успевают...»

За руку Рубцов поздоровался только с Мишей Колябиным, остальным коротко поклонился. Во всех углах — пока никто не садился — образовались свои кучки и компании, разговоры велись случайные и сумбурные. Все пока кипело и текло порознь, без общего русла. Чувствовалась необходимость направляющей руки.

— Командуй, Лина, — разрешил Алексей Петрович жене. — Я сегодня именинник, мое дело — комплименты слушать.

Ангелина Ивановна просияла, официально получив главные полномочия, и взялась за дело:

— Все, мужчины! Разговоры продолжим за столом!

Уставшие, видимо, от пустых необязательных слов и затянувшегося ожидания гости с энтузиазмом откликнулись на предложение и начали разбирать стулья, плюхаться в кресла и на диван, охая и крикая.

— Позаботьтесь сначала о дамах, — подсказывала Ангелина Ивановна.

— Не напивайтесь раньше их, — похохатывая, подсказывал именинник.

— Не лишайте слова, — вторил ему кто-то из гостей.

— И свободы действий, — добавлял другой.

— Их теперь лишишь... — угрюмо заканчивал третий под общий двусмысленный смешок.

— Первый тост за именинника, — предложил кто-то.

— погоди ты с тостом! — осадили его. — Первое слово — хозяину: так будет вернее.

— Да, да, хозяину первое слово!

— Хорошо хоть не последнее, — посмеялся тот, — последнего при такой выпивке не выговорить, — и он обвел рукою богато убранный стол.

— Надо попробовать, — вдохновил опять один из гостей.

— Одна попробовала, так знаешь, чего было?..

— Ладно, ладно, остряки, придержите языки, — уже кто-то из стихотворцев включился.

— Хочу поблагодарить всех, что не забыли старика, — вдумчиво и неторопливо сказал Решетов. — Хочу порадоваться, что к закату жизни не растерял друзей, а даже — напротив. Жене хочу сказать «спасибо», что терпела меня и терпит. А то ведь

какие у писателей бывают жены. Я вот знаю одну. Сидит муж за письменным столом, черкает рукопись свою, а она из-за плеча смотрит и думает: «Да что же он, паразит, делает-то? Ведь в доме ни гроша, а он опять черкает. Черкай, черкай,— говорит вслух,— я погляжу завтра, чего ты жрать будешь».

— Вот это жена! — засмеялось сразу несколько человек, присоединяясь к хозяину, который прервал на время речь.

— Понимает толк в литературе!

— А главное — в экономике!

— Так что вдумайтесь и взгляните в своих жен! — вернулся Решетов к слову.— Наверняка вам больше повезло, чем тому товарищу.

— Да, слава богу, черкать пока не запрещают...

— Правда, и писать не дают...

— Ну, у кого — как.

— А моя говорит: «Ваня, черкай, не сдавайся, в случае чего — на картошке прокормлю».

— Вот видишь, и вправду повезло.

— А еще я хочу добавить,— снова вступил Решетов.— Жить надо хорошо, честно... и в меру. Не стоит утомлять других собой и доживать до такого состояния, когда помрешь, а тебя никто и не пожалеет: мол, ну что ж! Давно уже пора. Грустно это...— и хозяин замолчал, и все на мгновение смолкли. Стали слышны осмысленные и согласные вздохи мужчин, но нетерпеливое противодействие женщин смяло недолгую и задумчивую тишину:

— Тоже уж, Алексей Петрович!

— И пожить досыта не дает...

— А я только наметила — лет до ста,— раскатилась молодая, пестро одетая бабенка.

— Может, я и не прав — не судите строго,— засомневался Решетов.

— Вы совершенно правы, Алексей Петрович,— вдруг поставленным голосом подытожил сомнения хозяина Голубь. Он поднялся, расправил грудь и закончил: — Позвольте выпить за ваши умные слова.

Все снова примолкли, внутренне угадав несвоевременность, вернее, преждевременность такого умозаключения, и с недоумением посмотрели на молодого радиожурналиста. И в этой недолгой паузе вроде бы про себя, но внятно и насмешливо Рубцов произнес:

— Разговор гигантов...

Голубь вспыхнул, поняв оплошность, но было поздно. Кто-то прыснул в кулак, кто-то наклонил голову, чтобы скрыть усмешку, и Голубю ничего не оставалось, как огрызнуться:

— Где уж нам уж...

— Выйти замуж.— кто-то подсказал ему, а продолжил сам Голубь:

— Мы уж так уж как-нибудь.

— Гляди, он и фольклор выучил,— снова хмыкнул Рубцов, и Решетов, забеспокоившись, предложил:

— Ладно, ребята, давайте лучше примемся за дело. Длинные да умственные речи за столом противопоказаны.

Обстановка несколько разрядилась, а звяканье посуды заглушило недобрый шепот Д...

— Кажется, ты мне снова устроишь праздник...

— Пожалела своего благодетеля? — еле слышно спросил Рубцов.

— Пожалела! — с вызовом ответила она, и глаза ее смело уперлись ему в переносицу.

— Так иди, приголубь!

— И пойду.

— Всего доброго!

Д... встала и подошла с наполненной рюмкой к Голубю.

— Присоединяюсь к вашим словам и хочу выпить за Алексея Петровича,— потянулась к Решетову, чтоб чокнуться.

Тот благодарно кивнул и отхлебнул глоток.

— Так не за меня надо, а за гостей, то есть и за вас — тоже.

— За гостей успеем. А сейчас — за вас,— и она чмокнула хозяина в бритую дряблую щеку.

— Баба, гляди за мной, а то уведут,— засмеялся Решетов, не видя, как недобро сузились глаза Рубцова, который налил себе до краев пузатый фужер и, ни на кого не глядя, залпом осушил. Не притронувшись к закуске, он посидел неподвижно, склонив голову и словно обдумывая что-то, потом поднялся, отошел к окну и, забившись в угол и скрестив руки на груди, стал угрюмо наблюдать за остальными.

— Я все время хотел написать стихи чистые-чистые, прозрачным небесным языком и завидовал тем, кто владеет им,— говорил чубатый плотный парень.— Но прут постоянно дремучие слова, соленые лесорубовские шутки, с которыми, кажется, родился и, наверное, умру.

— Но ведь сам, наверняка, знаешь,— возражал ему сосед с ясными светлыми глазами и такой же улыбкой,— что эти самые небесные поэты втайне всегда завидуют земным, вот таким, как ты, знающим мужицкую речь и умеющим плотно и сочно писать о жизни. Однако вслух в этом не признаются. Ведь высший смысл все-таки в народности.

Рубцов не ввязывался в беседу, хотя его и подмывало. И еще один разговор пришлось невольно подслушать. Другой на его месте, может, и не достиг бы несовершенным слухом противоположного угла, где он велся, но рубцовский аппарат словно работал на повышенных частотах, и Рубцов порой удивлялся, различая «звуки, которых не слышит никто».

Женщина с капризным крашеным ртом внушала мужу:

— И что все возьмется с ним: поэт, поэт! (Рубцов понял, что разговор о нем). Вот ты, ответственный работник, уважаемый в городе человек, а тоже носишься, как с писаной торбой.

— Пойми ты, дуреха. Поэт всегда на три головы выше любого начальника. Мы помрем, и после нас останется только шкаф ненужных бумаг, а о нем народ будет слагать песни; а легенды уже при жизни создает...

Рубцов еле заметно улыбнулся и подумал: «И почему у крупных серьезных людей такие глупые бабы? Или они обычные, как все, и только рядом со своими развившимися поумневшими мужьями выглядят так глупо. Наверное, в молодости они различались немногим. Но мужья, заведя семью и обретя прочные тылы, начали серьезней жить, больше думать, смелее двигаться в пространстве. А эти... наоборот — успокоились, что удачно устроились, и на этом закончили свое развитие...»

Миша Колябин, потихоньку наблюдая за Рубцовым, решил подойти и развеять его урюмость пустяковым разговором.

— Не надо, дорогой,— остановил Рубцов.— Я вижу и ценю твои старания. Но мне сейчас не до них.

— Не откалывайся хотя бы от общества,— мягко попросил Колябин.

— Какого общества? — почти выкрикнул Рубцов.— Здесь полусброд.

— Коля, успокойся,— забеспокоился Миша.— Тебя могут услышать.

— А я этого и хочу, но меня, к сожалению, никто не желает слушать.

— Это кого не хотят слушать? — с ласковой угрозой спросила Ангелина Ивановна, возникнув неожиданно рядом.

— Успокойтесь, вас слушают все,— с улыбкой и покорностью сказал Рубцов.

— Кроме тебя, Коля! — настаивала хозяйка.

— Что вы, Ангелина Ивановна, да я вас побаиваюсь даже.

— Тогда садись за стол и бери гармошку.

— А выпить сначала можно?

— Сколько угодно,— отмяк голос Ангелины Ивановны.

Рубцов сел на свое место. Ему налили, и он не отказался. Хозяйка проворно достала гармошку из футляра и поставила ему на колени.

— Да, Коленька, сыграй-ка, милый. Давно тебя не слушали,— попросил и хозяин.

— Гармонь! Это прекрасно! — поддержали остальные.

— Для вас, Алексей Петрович,— посмотрел Рубцов расстроганно на Решетова.— Наверняка, не знаете, кого спою.

— А ты скажи!

— Нет, пусть останется тайной.

— Ну, как знаешь. Уверен, что чепухи не споешь.

И опять ушел Рубцов в себя и взором, и мыслью, и ревниво склонил ухо к неизменному инструменту, словно боясь, чтобы он не вздумал произнести неверного звука: и только острое вскинутое коленко выглядывало из-под развернутых малиновых мехов и подрагивало, когда другой ногой он отбивал лишь ему ведомый такт.

*Ах, что я делаю! Зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм.
Ах, по какому же такому случаю:
Ведь люди борются за коммунизм.
Скот размножается, пшеница мелется,
И все на правильном таком пути.
Так замети меня, метель-метелица,
Ох, замети меня, ох замети.
Я пил на полюсе, пил на экваторе —
На протяжении всего пути.
Так замети меня, к едре не матери,
Метель-метелица, ох, замети.*

Молчавшие во время пения гости по окончании все разом зашевелились: кто смеялся, кто стыдливо хихикал, а кто и тревожно смотрел на исполнителя.

Д..., подсевшая снова к Рубцову сзади, видя его возбужденность, попыталась заговорить вкрадчивым голосом:

— Николай Михайлович, так откройте авторство.

Не удостоив ее вниманием, он отставил гармонь в сторону и спросил Ангелину Ивановну:

— Угодил ли хозяйке?

Та вскинула белесые подбритые бровки, тряхнула реденькой кудрявой головкой:

— Конечно, Коленька. Именно этого все и ждали.

— Не надо отвечать за всех,— поправил Рубцов.— Здесь встречаются слова не для интеллигентного уха,— и бегло взглянул на Голубя.

— Что ты, Коля,— шумно запротестовал хозяин.— По интеллигентским ушам только так и надо бить. Чтобы не забывали, откуда они.

— Этим их не проймешь.

— Что, ты сам не интеллигент, что ли? — обиделся кто-то за него.

— Ну, хватили,— засмеялся Рубцов нервно.— Мы — матросы, и у нас свои вопросы.

— Ладно прибедняться,— настоял хозяин.— Давайте еще спляшем — и будет все по-божески.

— Это уже по части Колябина,— сказал Рубцов и передал Мише гармонь.

Пока топали да хлопали, кричали частушки да взвизгивали, Рубцов выпил еще. И когда Миша кончил играть и подсел к другу, тот уже бубнил:

— Идите вы все! Учителя нашлись... Научились лизать задницу начальству, притворяться и обманывать друг друга и думают — научились жить. А у самих в жилах две капли мужской крови — не больше. У, трусы!

— Кого ты причисляешь, Коля? — осторожно спросил Колябин.

— А всех, кто нечесан. Хотя бы вон этого, с лицом гермофродита. Сочиняет критические статьи, учит всех, как писать надо. Пусть сначала приобретет определенные мужские черты.

— Ну, полно, полно,— успокаивал его Миша Колябин,— Ты его почти не знаешь.

— Очень даже знаю. Он обо мне положительную рецензию написал. А в поэзии не смыслит вовсе. Купил с большого гоночара дорогую шубу. Боится в ней даже на улицу выйти. Наденет, походит около подъезда полчаса и скорей бежит домой в сундук прятать. Разве это личность? Он боится даже завывания ветра.

— Откуда ты взял-то? — удивился Миша.

— Я, брат, значительно больше тебя знаю. Потому что я скрытный и больше смотрю и слушаю, чем говорю. А ты доверчивый, и тебе еще худо придется в жизни. Ты считаешь, я не знаю, чего обо мне все сейчас думают? Знаю.

— Ну, что? — недовольно спросил Миша Колябин.

— А чтоб я скорей напился да домой убрался.

— А если будешь шуметь да поливать всех, так ведь и проводим,— вдруг опять неожиданно вклинилась в их разговор Ан-

гелина Ивановна, словно она постоянно только и делала, что следила за Рубцовым.

— А что я говорил! — воскликнул Рубцов, как ужаленный.— А ты не верил мне...— упрекнул он Мишу.

Колябин смирился, увидев перед собой воинственно расставленные ноги Ангелины Ивановны и почувствовав в ее голосе нескрываемое недовольство.

— Я прошу вести себя приличнее,— требовательно сказала Рубцову хозяйка.

— А то — что? — вызывающе спросил он.

— А сам знаешь.

— Вон — бог, а вот — порог?

— Правильно, догадался...

— Ах, так! — Рубцов резко вскочил со стула и полкой пиджака задел за какую-то тарелку. Та брякнулась и вдребезги разбилась, разбросав по полу винегрет и селедку «под шубой».

— Где бьется, там и живется,— ничего не подозревая, откуда-то из толкотни весело крикнул Алексей Петрович.— Гуляй, ребята, да чеши жарче!

— Хватит жару! — не на шутку рассердилась Ангелина Ивановна, и Алексей Петрович понял, что это неспроста.

— А еще творец! — ядовито назидал Голубь, почувствовав, что пришло его время.

— Я с вами не разговариваю,— нервно выкрикнул Рубцов, зло глянув на него.— И не хозяйствуйте хотя бы здесь.

— Это вы себе позволяете глумиться, как у себя на кухне!

— Потому что я друг этому дому!

— Недаром только черепки сыплются...

— Ах ты, паршивец,— ненавистно воскликнул Рубцов, но Миша схватил его за плечи, чтоб не допустить свары.

— Угони своего любимчика,— уже не сдерживая себя, крикнула Ангелина Ивановна подошедшему Решетову.

— Спокойно, спокойно,— зарокотал Алексей Петрович,— без нервов, без напряжения.

— И не стыдно вам, Ангелина Ивановна,— укоризненно покачал головой Рубцов.— Я всегда уважал вас, а вы ведете себя, как обыкновенная дура-баба.

— Вот как!

— Неужели не видите, кто вас окружает...

— Вижу, вижу. И не надо считать себя умнее всех. Перехватил, так взял потихоньку пальто и ушел спать.

— Уйду, уйду!

— погоди, Коля,— попытался остановить его Решетов.— Все-таки мой праздник.

— Так будь на нем хозяином, — требовательно заявил Рубцов. — А то хорохорятся разные... птицы, — и он зыркнул снова в сторону Голубя, но тот уже исчез: видимо, пошел подальше от шума перекурить.

— Опять тебе надо кого-нибудь оскорблять, Коля, — не унималась Ангелина Ивановна. — Надю довел почти до слез, с Олегом поругался, меня дурой обозвал... А тебе хоть бы что, — почти со слезами вскинулась она на мужа.

— Как это хоть бы что? — оскорбился Решетов.

— А так! Ходишь да убаюкиваешь каждого.

— Что ж делать, и мне, что ли, в драку лезть!

— А не надо лезть, указал на дверь — и вся недолга!

Рубцов иронически посмотрел на растерявшегося Решетова.

— Уважь бабью Блажь, — подсказал гость хозяину.

— Не задирайся, Коля, — занервничал Решетов. — Я человек контуженный, могу и сорваться.

— Так уйти?

Решетов немного подумал, посмотрел на раскипятившегося Рубцова, услышал пыхтенье жены за спиной и сказал тяжело:

— Пожалуй...

На другой день у Алексея Петровича трещала голова и болело сердце. Он лежал в постели и не вышел ни к завтраку, ни к обеду. Жена крутилась вокруг, предлагая то брусничного морсу, то клюквенного киселя, но он отмахивался от нее, не вступая в разговоры, и она поняла, что вчера перехватила. Стараясь загладить вину, Ангелина Ивановна ходила покорная и тихая и на каждое шевеленье в постели отзывалась немедленным вопросом:

— Не надо ли чего?

— Не надо! — был один и тот же глухой, односложный и отрицательный ответ.

Вчера торжествовавшая, что настояла на своем, Ангелина Ивановна теперь с горечью признавала, что такие победы ей уже не по плечу. Сколько же понадобится времени, чтоб восстановить в семье лад и покой! И восстановишь ли в том виде, в каком все существовало доселе? Неужели ей не хватало скромной некичливой власти, когда Алексей Петрович, сам того не замечая порою, следовал в конце концов намеченным ею путем, подчинялся ее изворотливому и лукавому уму, хотя покрикивал для виду и на людях выпячивал грудь, изображая из себя капитана семейного корабля. Мало было ей... Так теперь крутись и лебези, и еще неизвестно, чего выкрутишь.

Она с тоскою ждала Рубцова. Хорошо бы пришел, она налила

бы, как прежде, рюмку — хотя теперь и стопки не жаль — угостила бы свежей стряпней, которую тот обожал как ребенок, поговорили бы; она его маленько пожурела бы, и все проблемы. Но она знала: Рубцов больше не придет! Эти детдомовские ребята могут вынести любые оскорбления и унижения от чужих и сторонних людей, но только не от тех, в кого поверили безраздельно и кого почитали чуть ли не за отца и мать. Ангелина Ивановна сама готова была к нему сбегать, извиниться, приволоочь сюда, но знала, что теперь с ним не договоришься. Да и муж не разрешит. Скажет, хватит, ты неплохо выступила.

Ждал каких-то изменений и Решетов.

Но прошло впустую три дня. На четвертый Алексей Петрович молча оделся и направился к Рубцову сам. Тот не выходил из дому тоже все эти дни. На звонки или не откликался, или по привычке, когда бывал в творческой запарке, подходил к двери и, не спрашивая, кто за ней, коротко и жестко говорил: «Нельзя!» — и уходил обратно в комнату.

Алексей Петрович не знал об этой его манере и, тяжело поднявшись на пятый этаж, позвонил. В прихожей послышались шаги. Жесткие решительные флотские шаги. Решетов перевел дыхание, поправил шарф на шее и переступил с ноги на ногу, приготовился. Даже перчатку снял для рукопожатия, но отчетливо услышал: «Нельзя!» Те же твердые шаги удалились. Хлопнула внутренняя дверь. Решетов понял, что — в комнату. Растерянно крикнул:

— Коля, это я.

Но никто его не услышал. Или не захотел услышать. Алексей Петрович решил, что не захотел. Вернулся домой скомканный и донельзя разбитый. Ангелина Ивановна поняла все без слов и ни о чем не спросила, а он только тупо посмотрел на нее и произнес:

— Торжествуй! Ты своего добилась!

И закрылся в кабинете. А через три дня уехал в деревню, не сказав, надолго ли. Впервые не взял ее с собой. Даже не попрощался. Уехал, пока она бегала в магазин за продуктами.

IX

Рубцов не вылезал из дому около недели. Подавленный и оскорбленный, долго ходил из угла в угол, пока немного не успокоился. Стихи приходили, но злые и раздражительные, и он не хотел их записывать.

Однажды поздно вечером спустился в магазин, накупил еды и, слава богу, никого не встретив из знакомых, забрался обратно

в свою конуру и надолго затих. В таком состоянии можно было только читать или писать письма. Правда, скопилось много рукописей, и, начитавшись до одури, он взялся за рецензирование. Его привлекла объемистая папка молодого парнишки, имя которого частенько встречалось и в литературных разговорах, и в местной печати. Да и сам Рубцов пытливо и давно к нему приглядывался. Тому было всего двадцать лет, а он уже представил роман, небольшую повесть и несколько рассказов. С него захотелось и начать. Тем более, тут было над чем поразмышлять. Звали паренька Игорь Лактионов. Ну, что ж! Вполне подходящее для литератора имя.

Рукопись была прочитана недавно, детали помнились хорошо. Рубцов знал, что молодой автор ждет от него большого и делового разговора. Отделаться несколькими общими словами нельзя.

Рубцов еще раз взвесил все аргументы и понял, что готов к необходимой беседе. Он набрал полную грудь воздуха и склонился над белой стопкой приготовленных листов.

Основательно выговорившись, Рубцов почувствовал не то, чтобы усталость, а некую пустоту и апатию, и ему захотелось элементарного движения. Не важно, в какую сторону и по какому делу, а просто потянуло из этой опостылевшей добровольно и самолично запертой клетки — на воздух, на ветер, поближе к людям. Тем более, повод был: надо отпечатать рецензию, сдать в Союз писателей и тем самым заработать на пропитание. Книжки у него в последнее время шли неплохо, но мизерными тиражами, и большого дохода не приносили, поэтому приходилось не только брать рукописи молодых на рецензирование, но и соглашаться на платные выступления. А это было особенно тягостно: раскрывать публично перед посторонними людьми собственную душу, оформлять путевки, просить у какой-нибудь несмышленной заведующей клубом, чтобы она в графе «отзыв о выступлении» написала свое мнение, потом сходила к начальству и шлепнула печать; да не забыла проставить номер расчетного счета предприятия, да не запятовала обозначить служебный адрес и телефон... Бр-р-р! Но жизнь заставляла заниматься и этим малоприятным делом. Так что по сравнению с такими танталовыми муками рецензирование выглядело почти безобидной, но доходной забавой, которая не требует твоего непосредственного присутствия, а в материальной помощи не отказывает.

В Союзе встретилось много знакомого народу. Среди прочих была Д... Она сидела в кресле, около секретарского стола, держа на коленях раскрытую папку, как догадался Рубцов, со

своими стихами. Увидев его, она вспыхнула, и Рубцов понял, что Д... читала вслух, потому как лицо писательского начальника было внимательно, даже сосредоточенно. Д... захлопнула папку и виновато улыбнулась:

— Простите, я вижу, что вам сейчас не до меня.

— Отчего же? Это моя работа.

— Но мне хочется получить официальную рецензию.

— Вы приготовили рукопись к изданию? — спросил секретарь. — Так я понимаю?

— Если будет положительный отзыв, — скромно ответила она.

— Кому бы вы доверили свой труд?

— Я, право, не знаю, — замялась она.

— Ваше дело — решить, мое — кому-нибудь из членов Союза предложить.

— Может быть, Николай Михайлович возьмется? — Д... подняла на Рубцова невинные голубые глаза.

Рубцов осмотрел, словно впервые, ее статную фигуру, скользнул по сильной высокой груди и крупным выпирающим коленям и сжал пересохшие губы.

— Коля, — обратился к нему секретарь, повернув седую лысеющую голову в его сторону. — Найдешь время?

— Для чего? — словно не поняв вопроса, спросил тот.

— Вот автор выбирает тебя...

— Она слишком долго выбирает, все выбрать не может, — недружелюбно проговорил Рубцов.

— Будь джентльменом, — шутиливо посоветовал секретарь.

— Нет, если он не желает... — надула полные губы Д...

— Он желает, да признаться стесняется, — снова хохотнул секретарь.

— Ладно, заверните в газету вашу папку, — наконец согласился Рубцов, и сам облегченно вздохнул.

В это время, постучав, вошел Миша Колябин, и разговор изменился и оживился.

— Привет, пропадающая душа, — обнял он Рубцова.

— Никуда я не пропадал, — возразил тот.

— Сколько раз подходил к двери, столько раз слышал «Нельзя!» и уходил обратно.

— Обижаться нечего, — спокойно рассудил Рубцов. — Работа есть работа. Ответ для всех одинаков.

— Да я не в обиде. Тем более, я не назывался.

— И правильно делал, — похвалил Рубцов. — Назовись — я бы не выдержал. И все полетело... К прахам.

— Он даже меня не пустил, — пожаловалась Д..., встречая в разговор.

— А вот это никуда не годится,— опять весело подытожил секретарь.

— Действительно,— раздумчиво согласился Рубцов.— Но я не открывал никому, святая правда...

— Ладно,— заключил Миша Колябин.— Что старое помнить? Только нервы портить.

Из Союза они вышли вместе. Рубцов много говорил и часто смеялся, и Миша Колябин понял, что причина здесь одна: рядом Д..., и Рубцов уже не помнит зла, не помнит обид и унижений. Хотя кто его знает: может быть, не хочет помнить...

Проходя мимо продуктового магазина, Д... сказала, что ей надо туда зайти и купить чего-нибудь на ужин.

— Мы еще не обедали, а она уже об ужине думает,— весело сказал Рубцов, входя следом в узенькие двери.

Пока Д... присматривалась к витринам, прикидывая и выбирая, он подошел к продавщице, перед которой на прилавке стояли решетки с яйцами и вполголоса о чем-то спросил, ткнув пальцем в одну из них, потом отскочил от нее, громко смеясь.

— Что с тобой, Коля,— изумился Колябин такой несдержанности.

— Погоди, погоди,— остановил его Рубцов.— Это надобно рифмовать.

Они вышли на улицу, оставив Д... стоять в очереди, Рубцов отошел от Миши на несколько шагов, что-то пробормотал про себя, топчась около фонарного столба, и радостно воскликнул:

— Готово!

— Что готово? — никак не мог включиться Миша.

— Слушай, пока она не вышла,— кивнул Рубцов на дверь магазина и вполголоса прочел:

*В провинциальном магазине,
Увидев яйца в корзине,
Мы подошли к кассирше Зине
И так сказали ей, разине:
— Какого хрена ваши яйца
Гораздо мельче, чем у зайца.
Она ответила не глядя:
— Зато крупнее ваших, дядя!*

— Снова взялся за проказы? — восхищенно сказал Миша Колябин.

— На нашей улице, кажется, праздник! — радостно ответил Рубцов.— Что-то снова стало получаться!

— А что, разве не писалось? Ты же говорил, что работал.

— Все не то. И не так. Я ощутил опять свободу в слове. Думал, что потерял...

— Откуда этот страх?

— С той ночи, когда меня чуть не укололи.

— И молчал,— попенял Миша.

— А что, надо залезать на крышу и кричать на всю улицу?

— Их так и не разыскали?

— А что разыскивать? По-моему, я и так знаю!..

— И кто же это? — тревожно спросил Миша.

— Один из наших общих знакомых. Я вспомнил и узнал его голос, когда праздновали именины Решетова.

Миша пытливо посмотрел на него и твердо заключил:

— Значит, все-таки Голубь?

— Голос был его. Это я восстановил в памяти. Но те, что били — другие.

— А эти никогда сами не бьют,— горько обронил Колябин.— Они предпочитают руководить. И направлять.

— Вот-вот! — согласился Рубцов.— И это самое страшное. Их невозможно поймать за руку. Они всегда в тени.

— Значит, будь осторожен,— предупредил Колябин,— поскольку нашла коса на камень.

— Нет уж! — воинственно возразил Рубцов.— Чтобы я на своей земле боялся всяких перелетных птичек... Не бывать тому!

— И все-таки, Коля... — не закончил Миша, увидев, что из дверей магазина выходит Д...

— Ничего, прорвемся,— неунывно ответил Рубцов.

Он глянул на приближающуюся Д... и попросил Мишу:

— Ты сейчас оставь нас одних. Я хочу проводить ее и поговорить.

— Как знаешь. Но смотри, не заводи ее. Она тоже штука еще та...

— Она уже заведена. И не сегодня,— ответил вполголоса Рубцов.— И моя задача ослабить эту пружину.

— Ой, парень,— покрутил Миша Колябин головой.— Смотри, чтоб глаза не выстегнуло этой пружинкой.

— Я натяну защитные очки,— отшутился Рубцов, и Миша, пожав ему руку и раскланявшись с Д..., удалился.

Но тяжелое чувство не только не покидало, но крепло в нем. «Если Голубь действительно подговорил своих «нукеров» избить Рубцова, то он за него взялся не на шутку,— размышлял Колябин.— Как помешать дальнейшей агрессии, заговору, который явно замыслен и, значит, будет зреть и раскручиваться? Заявлять в милицию? Но прямых улик нет. Одни догадки. Сам Рубцов опасности не только не избегает, но даже открыто

идет ей навстречу. Такая натура. Не умеет ни увертываться, ни хитрить, ни сглаживать углы, ни искать компромисса. Чем помочь? Ходить за ним по пятам, чтобы на всякий бедовый случай быть под рукой! Не потерпит. А узнает — протонит и близко потом не подпустит. Может, собраться хорошим ребятам и отдубасить этого Голубя. Бывает, помогает именно прямая и дикая сила. Но он не один. Надо знать его «заплетных мастеров». А он их не выдаст. И когда почувствует, что разоблачен, только активизируется. Нет, спугивать нельзя. Тогда что же можно? Остается ожидание. Но оно может дорого стоить...»

С такими невеселыми мыслями Колябин шел к своему жилью. «Может, хотя бы на время утащить Рубцова куда-нибудь? Хотя бы в деревню снова или к маме в Череповец. Надо попробовать! Он так любит мою мать. Как всякий сирота, в детстве потерявший самого дорогого человека и всю жизнь ищущий в любой женщине материнской отзывчивости».

А между тем Рубцов топал рядышком с Д..., держа под мышкой ее рукопись и поскрипывая уже отвердевшим снежком. Он по-матросски не признавал ватного пальто, поэтому приходилось вжиматься в старенькое демисезонное, кутать худую жилистую шею в неизменный шарф и поднимать воротник.

Зато спутница давно перебралась в зимние одежды. Пушилась ее мохеровая шапочка, горел и топорщился яркий лисий воротник, ослепляли прохожих розовые круглые коленки, дразняще мелькавшие из-под укороченных пол светлого пальто.

Рубцов тоскующе поглядывал на нее, пышущую здоровьем и энергией, и незаметно ежился.

— Так скажите, Николай Михайлович, когда ждать ответ на стихи? — спросила она, глядя на Рубцова.

— Года не пройдет, — утешил он.

— Тогда зачем было соглашаться, если нет желания, — обиженно протянула она своим мелодичным голоском.

— А я не сказал, что желания нет, — двусмысленно заметил он.

— Опять за свое...

— Вот мы придем сейчас к тебе, согреем чайник... — начал Рубцов мечтательно.

— Ко мне нельзя, — строго сообщила она.

— Это почему же?

— Мама приехала.

— Очень хорошо. Давно пора познакомиться.

— Она уже знакома с тобой.

— Каким образом?

— Я писала в письме...

- Вот как! — удивился Рубцов. — И что же ты писала?
- Что ты — хороший поэт...
- Даже так?
- Но что ты — опасный человек.
- Ничего себе — характеристика. А чем же я опасен?
- Тем, что мешаешь пробиться в литературу.
- В литературу не пробиваются, а входят, — поправил Рубцов.
- Все равно мешаешь. Не даешь встречаться с другими людьми, ревнуешь, преследуешь.
- Я предлагаю выйти за меня замуж — и все двусмысленности прекратятся.
- И об этом я с мамой говорила.
- А она?
- Она — мать, и хочет счастья своей дочери.
- То есть не посоветовала?
- Спросила, пьешь ли ты, и я не могла соврать.
- Одним словом, представила меня алкашом? — Рубцов сомкнул сухие губы.
- Не алкашом, а любящим хмель.
- Я же не больше тебя его люблю, — возмутился он.
- Ну, хватил! — искренне удивилась Д...
- Нет, определенно я должен познакомиться с твоей мамой.
- Еще раз повторяю: я этого не хочу.
- А может, там тебя ждет мама с усами? — вдруг вперился он в спутницу горящим взором.
- Ты ужасно подозрителен, невыносимо, — растерянно проговорила она.
- Потому, что сама все время даешь повод.
- Хорошо, — решительно согласилась она. — Я вас познакомлю. Только не сегодня.
- А сегодня ты познакомишь ее с другим?
- Подумай, зачем мне это?
- А чтоб была возможность сравнения и выбора.
- Если есть сравнение, то не в твою пользу: ты женат и у тебя есть дочка.
- Значит, и об этом сообщено?
- Что же я могу поделать, если это так, — несколько обреченно обронила она.
- Выходит, я тебе нужен только затем, чтоб пробиться в литературу, — Рубцов нажал на слово «пробиться».
- Не надо передергивать!
- Так зачем же? — настаивал он на ответе.
- Мне хочется, чтоб ты был моим другом.

— Но тебе мало одного меня?

— А ты бы хотел ограничить меня только собой? — с вызовом спросила она.

— Я бы хотел принадлежать только тебе.

— И, кроме того, массе читателей.

— Это другое... — начал Рубцов объяснение.

— И читательниц, — закончила она язвительно.

— Ладно, — вяло сказал он. — Ты уходишь от ответа. Придется его искать самому.

Он развернулся и пошел в другую сторону.

— Рукопись будет прочитана в срок, — прокричал он на ходу.

— Ну, зачем опять так, — попыталась образумить его Д..., но, поняв, что это невозможно, направилась своей дорогой, глядя под ноги и мерно покачивая тяжелой продуктовой сумкой.

Придя домой, Рубцов долго не мог найти себе места. Пытался читать — и бросал книгу. Хотел заснуть — и через пять минут вскакивал с дивана. Садился пить чай — и тут же отодвигал стакан. Все ему мерещилось, что сейчас у Д... сидит либо Голубь, либо кто-то другой, похожий на него, в таких же надраенных штиблетах и отглаженном костюме; но только никак не мать.

Истомившись и дождавшись темноты, он оделся и вышел на улицу. Доехал на автобусе до знакомой остановки. Окна в ее квартире горели. Он остановился неподалеку и прислушался: если гости, то должна звучать музыка и оживленные голоса. Ничего такого не услышав, он осторожно взошел на крыльцо и стал смотреть сквозь узкую щель в занавесках. Несколько раз мелькнула сбитая и крупная фигура Д... в пестром халате; пробежала из одного конца в другой Оленька; и наконец, с каким-то вязанием в руках подошла и села к столу пожилая, даже старенькая женщина в мужском хлопчатобумажном пиджаке в полоску. Он понял, что это и есть мать. Так же неслышно сошел с крыльца и, успокоенный, отправился на остановку автобуса, а вернувшись к себе, лег на диван и сразу заснул.

Но смрадные зловещие сны в последнее время просто одолели его. На этот раз Рубцов увидел мать Д... Будто та пришла к нему домой со своим вязанием.

— Что вяжете, бабушка? — спросил он почтительно. — Наверно, шапочку внучке?

— Какая я тебе бабушка, — недовольно вскинулась старуха, не отвечая на вопрос.

— А кто же?

— То в зятя навязывался, теперь во внуки,— не слушая Рубцова, бубнила она.— Никакого постоянства.

— Никому я в родственники не набиваюсь,— гордо ответил Рубцов.

— Ах, ты еще грубить! — грозно проговорила старуха и остановила вязанье.— Гляди у меня, я не таких петухов жарила.

— Похоже,— неуверенно и боязливо прошелестел Рубцов, вдруг озябнув всем телом.

— Гляди, возьму спицу и — тебя на нее! — старуха вытащила из клубка острый блестящий штырь и приставила к его сердцу. Он обмер.

— Насажу, и над костром — только крути,— замаялась она дребезжащим смехом, и Рубцов увидел, наконец, что у нее крепкие и острые зубы, которыми можно разгрызть любую кость. И его самого в том числе.

— А чтоб не страшно было,— продолжала старуха,— сначала зенки выколю.— Она выдернула из клубка вторую спицу и сразу обеими ткнула ему в глаза. Белый свет покачнулся, поплыл кровавыми кругами, а потом померк и превратился в черное дрожливое марево. Ничего не было видно, и только слышался жестяной старушечий смех.

— А теперь с тобой, с таким-то, твори, что хошь. Вот ты какой дуралей-то. Совсем без глаз. А все хвастал, что каждого видишь насквозь. Прищуривался, приглядывался, ресницами длинными хлопал.

— Мама, зачем ты так,— послышался голос Д..., молодой, грудной и теплый. И он уцепился за него с надеждой, что сейчас все изменится, поправится.

— Надя,— позвал он решительно.— Что она со мной делает?

— А я тебя предупреждала, что не надо знакомиться. Не думай, что ты первая жертва у нее. Она с мужем моим бывшим еще хуже обошлась.

— Что может быть хуже? — растерянно спросил Рубцов.

— Может,— грустно сказала Д...— Поэтому мы и разошлись. Она сделала его скопцом.

— Как же ты ее терпишь?

— Она мать мне,— покорно простонала Д...

— Она ведьма!!! — вскрикнул отчаянно Рубцов.

— У нас в роду все немножко ведьмы,— спокойно сообщила Д... Ты помнишь, как я на тебя напустила черных птиц?

— Но у тебя же ангельский голос,— не унимался Рубцов.— У тебя такие глаза, губы. Все как от бога.

— Ведьме так и положено.

— Но как же! — не унимаясь, опять вскрикнул он.

— Ты перепутал ведьму с Бабой-Ягой. Мама в молодости была тоже красива. А к старости за клятье вылезло наружу.

— Так ты к старости тоже станешь Ягой? — пораженный, спросил Рубцов.

— Наверно, раньше. Мы же вырожда. Старшие сильнее нас и дольше держались.

— Господи! — воскликнул Рубцов. — Да что же такое творится и куда меня занесло? — и от собственного крика он проснулся.

«Какое-то наваждение! — с содроганием подумал он и пошел в ванну ополоснуться холодной водой. — Словно я начинаю сходиться с ума. Если не на яву, то во сне, по крайней мере. Надо срочно все бросить и куда-то смотаться».

И тут ему попался на глаза портрет дочери. Леночка сидела, сложив ручонки на коленях, напряженная и испуганная, и смотрела прямо ему в душу такими же, как у него, темными печальными и настороженными глазами. Он взял фотографию в руки, внимательно взгляделся в детское лицо, такое беззащитное и родное, что его пробрал озноб. «Вот где мое спасение, — подумалось ему. — Надо срочно подать телеграмму, чтобы они приехали на Новый год. Накупить игрушек, нарядить елку, приготовить подарки. И сделать это нужно немедленно. — Он посмотрел на часы: — Главпочтамте еще работает, а заснуть теперь не удастся все равно. Да и не хочется засыпать...»

А по дороге ему вспомнилась собственная «Прощальная песня», где, правда, всю вину за неустройство быта он по привычке взвалил на себя:

*Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.*

*Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной Зыбки
Ты отгладишь измену мою.*

*Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.*

Слышишь, ветер шумит по сараю?

*Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...*

*Не грусти! На знобющем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.*

*Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу...*

*Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.*

*Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...*

Х

Перед Новым годом Рубцов позвонил Мише Колябину на работу:

— Нас приглашают выступать в клуб «Субботние встречи».

— Кого это нас? — иронически спросил Миша.

— Тебя и меня, — просто ответил Рубцов.

— Тебя — это я понимаю, а я при чем? «Сидела муха на воле и говорила: мы пахали?»

— Не выдрючивайся, я уже дал согласие. За **обоих**. Зал невелик, но публика будет толковая, я знаю.

— Хочешь сказать — избранная? — опять сыронизировал Колябин.

— Раз толковая, значит, избранная. Одним словом, подготовься, — закончил Рубцов.

Зальчик был действительно маленький с невысоким потолком, на третьем этаже старого книжного магазина. Но сдвинутые вплотную стулья оказались тесно забиты любителями словесности.

Рубцов начал первым. Рассказал о вологодских писателях, поговорил более подробно о самых значительных и известных,

а потом назвал наиболее перспективных молодых, и Мишу — в первую очередь.

— Он, конечно, о себе ничего не скажет. Но я выдам небольшой секрет: скоро в нашем издательстве выйдет его первая книга. Наверно, из нее он и почитает. Хотя, как хочет...

Когда Миша поднялся, утроитель вечера, щупленький старичок, сам в прошлом писавший неплохие стихи и даже издавший несколько книжек, попросил негромко:

— Извините, товарищи. Пока вы не начали, я хочу усадить еще одну юную почитательницу ваших талантов. — И, пронеся табуретку над своей сияющей головой через весь зал, поставил ее впереди начального ряда, прямо напротив стола, за которым расположились Рубцов и Миша Колябин. А следом за старичком вошла стройная, розовая от смущения девушка в белой пуховой шапочке. Она робко присела на поставленную табуретку и оплеснула их таким синим ясным взглядом, что у Миши перехватило дыхание, и он позабыл, с чего хотел начать свое чтение.

— Вот это подарок! — шепнул Рубцов, пока по зальчику гулял недолгий шумок приготовления.

— М-да-а, — ответил выдохом Колябин, мучительно вспоминая первую строчку вступительного стихотворения. Но — разошелся:

*Как неуютно и мглисто
Стало на поздней реке.
Только притихшая пристань
Теплит огни вдалеке.
Нет в них унынья и страха,
Светят, как звезды, во мрак,
Но предосеннего мрака
Им не рассеять никак.
Только душе беспокойной
Вновь разучившейся спать,
Этого света довольно,
Чтобы Россию узнать.*

Весь свой цикл он прочел в некоем полусне или полубреду, на одном дыхании, счастливый и оглушенный тем, что на него смотрит и его слушает невеста откуда появившееся светящееся существо. Плохо слышал он и Рубцова, потому что занят был тайным разглядыванием близко сидящей девушки, которая неотрывно смотрела на них ясными большими — почти детскими — глазами и, казалось, впитывала душою каждое слово. Очнулся Колябин лишь тогда, когда из зала посыпались вопросы и за-

писки, которые как обычно передавались с разных сторон, а попадали неизменно в руки девушке. И всякий раз, поднимаясь, чтобы их положить перед ними на стол, она вспыхивала и смущенно улыбалась.

Миша удивлялся и радовался стройности ее длинных ног и ладности фигуры. Он сдавленно дышал и незаметно переводил дыхание, когда девушка поворачивалась к ним спиной и отходила, чтобы сесть на свою табуретку.

А Рубцов как ни в чем не бывало развертывал очередную писульку и неторопливо прочитывал ее: «Когда вы начали писать?» Ответ:

— С детства. Когда первый раз влюбился. И не могу остановиться до сих пор.

Вопрос из зала:

— В чем остановиться?

— Ни в том, ни в другом! — весело отвечал Рубцов под общее одобрение.

— Следующий вопрос: «Почему в ваших стихах много крестов и могил?»

— Я думаю, потому, что ощущение скоротечности жизни никогда не сможет покинуть человека. Только при таком ощущении возможно прожить свой век осмысленно и с полным наслаждением; с сознанием неповторимости и полноты каждого мига.

Вопрос:

— Кто из поэтов вам ближе всего?

Ответ:

— Тютчев!

Вопрос из зала:

— А что, Пушкин вами не любим?

Ответ:

— Пушкин — бог, а о боге не рассуждают: ему молятся, в него верят, ему поклоняются. И я не исключение. А ближе всего по духу, по убежденности, каким-то формальным установкам — Тютчев. Именно его я считаю своим учителем.

Вопрос:

— Как вы относитесь к современной музыке?

Ответ:

— Если за музыку принимать то, что таскают в портативных ящиках хиппующие юнцы, — то отрицательно. Для меня музыка прежде всего мелодия, а не ритм, отшибающий желание думать, сопереживать, грустить, радоваться, мучиться и торжествовать. Поэтому вкусы мои пока остаются на стороне классики. Из нынешних композиторов предпочитаю Свиридова, Гаврилина, некоторых песенников. Всю жизнь люблю народные песни. На-

пример: «Степь да степь кругом», «Из-за острова на стрежень». Мог бы спеть, да сегодня не та задача.

— А вы спойте,— попросил кто-то,— а мы подпоем.

— Может, вам еще и сплясать? Или исполнить акробатический этюд? — усмехнулся Рубцов. — В другой раз.

Вопрос:

— Как вы относитесь к женщине-матери?

Ответ:

— Свято. Как человек, рано лишившийся этого счастья. И советую всем молодым: берегите матерей, пока они живы. Ничем непокрываемо позднее раскаяние, сознание, что ты не додал радости существу, подарившему тебе жизнь.

Вопрос:

— У вас много хороших слов о Родине. Как вы понимаете ее значение в вашей судьбе?

Ответ:

— Поскольку моя мать умерла рано, все заботы обо мне взяла на себя моя Родина. И она для меня не только равнины, поля, реки, леса, небо и сам воздух, которые я безмерно и до могилы люблю, но и русские люди, среди которых вырос и сложился как человек. Они делились не только своим последним куском и одеждой, но и лаской своей, и мудростью, и болью, и счастьем. И я бесконечно благодарен за это. Вырастая в детстве, все время ощущал рядом их дыхание, то есть дыхание Родины. Ей служил на флоте около пяти лет, ей служу и сейчас своим словом и совестью, которой не позволяю кривить или помалкивать. И если понадобится Отечеству — спокойно отдам за него жизнь. И пусть это не покажется вам высокопарным, это так и есть.

Было много других вопросов, на которые Рубцов отвечал с ясным убеждением, прямоотой и честностью, и Миша любовался им и гордился. Самому Мише пришлось ответить только на два вопроса, да и то, как он понял, заданы они были для того лишь, чтобы не чувствовал себя сиротливо. Спросили: «Почему его стихи о любви такие печальные? Даже несчастные». Он ответил, что только начинает жить предощущением счастливой любви, и скосил глаза на девушку в белой шапочке и заметил, как она опустила ресницы и зарделась.

А потом пришлось давать автографы. К Рубцову выстроилась целая очередь, поскольку в магазине продавался его свежий поэтический сборник. Девушка тоже стояла с книжечкой в руке, дожидаясь своего времени.

Когда до нее дошел черед, Рубцов нежно посмотрел в распахнутые глаза и тихо произнес:

— А вам я подпишу только после Колябина, то есть в последнюю очередь. Подождите, ладно? Он ставит автограф на моей книжке.— Она кивнула и отошла в сторону, все так же смущаясь и опуская темные длинные ресницы.

Зальчик постепенно опустел; тогда Рубцов поднял на девушку взгляд и позвал:

— Пришла пора рассчитаться и с вами. Давайте книжечку. Она подошла к столу и протянула сборник.

— И как вас звать-величать?

— Люба.

— Этого мало. Люба... А дальше?

— Скворцова.

— Уже больше. А отчество?

— Васильевна.

— Совсем хорошо,— обрадовался Рубцов.— Значит, пишем: «Милой Любове Васильевне Скворцовой». А кем работаете?

— Медсестрой,— совсем засмущалась девушка.

— Какая прелесть,— похвалил Рубцов.— Значит, лечите людей?

— Детей,— поправила Люба Скворцова.

— Детей? — воскликнул Рубцов.— Ну, Мишка, тебе повезло.

Миша в свою очередь оторопел и недовольно что-то пробубнил, завидуя находчивости и болтливости друга:

— А почему — мне?

— Ты же у нас ребенок!

Все трое засмеялись и первоначальное напряжение несколько спало.

— Великовозрастный ребенок! — повторил Рубцов.— И тебе просто необходима сестра милосердия.

Сделав надпись на книжке, он протянул Любе и спросил:

— А как вы оказались на этом вечере?

— Люблю стихи.

— Теперь нам повезло! — хлопнул в ладоши Рубцов.— А сами не пишете?

— Нет, не пишу.

— Еще раз повезло.

— Я писала в юности, но поняла, что плохо, и бросила.

— В юности? — прищурился Рубцов.— Скажите, какая старушка! Сколько ж вам лет?

— Двадцать.

— Действительно, древность. В такие годы еще не стесняются называть свой возраст.

— Скоро двадцать один,— поправилась Люба Скворцова.

— Как летит время! — веселился Рубцов. — Только что было двадцать, и уже скоро двадцать один. Ужас!

Девушка снова засмеялась, и улыбка ее была открыта и свежа.

А потом Колябин с Рубцовым пошли провожать Любу. А потом Рубцов оставил их одних...

...Перед самым Новым годом Колябину позвонил Решетов, пригласил пожаловать на праздник. Миша понял, что старик хочет через него связаться с Рубцовым. Так оно и вышло, разговор зашел именно об этом:

— Я схожу к нему, Алексей Петрович, — пообещал Миша.

— И свою девушку приводи, хочу посмотреть, — прогудел в трубку довольный Решетов. — Говорят, хорошенькая.

— Откуда все знаете? — изумился Колябин.

— Не такая уж большая деревня Вологда, — сказал Решетов. — В одном конце чихнул, в другом «Будьте здоровы» говорят.

Миша разыскал Рубцова и передал приглашение Решетова.

— Старик ищет примирения, — объяснил Колябин.

— Что ты меня учишь, как мальчика, — возмутился Рубцов. — Все понимаю. Но время не пришло. К тому же сам жду гостей. Вызвал телеграммой Лену с ее матерью. Должны приехать.

— Все бы вместе и пришли, — резонно посоветовал Миша.

— До чего ж ты «вумный», — едко усмехнулся Рубцов. — Прямо всем выводком в чужое застолье. Мы еще не знаем, о чем за своим станем говорить.

Колябин понял, что сморозил глупость и замолчал.

— Скажи лучше, как дела с Любашей? — примирительно глянул на него Рубцов.

— А тебе какое дело, — заупрямился в свою очередь Колябин.

— Вот те на! Я же сват, как-никак. И мне совсем небезразлично, хороший сват или худой.

— Хороший, хороший, — успокоил Миша. — Вместе с ней приглашены к Решетову.

— Ну, и ладно! И добро! — порадовался за них Рубцов. — Теперь увидимся уже в Новом году. Всяких благ!.. — и пожал руку.

...Праздник у Решетовых, как всегда, был поставлен на широкую ногу. Гуляли до утра. Гостей собралось много, но хозяин сидел невесел, и зря тормозила его неутомимая Ангелина Ивановна: ничего не получалось. Миша шепнул Любе, что пора дать хозяевам покой, и они потихоньку удалились.

— Давай навестим нашего свата,— предложил он.

— Конечно, конечно,— с радостью согласилась Люба.

Миша зашел домой, прихватил бутылку легкого вина, и они поднялись на рубцовский пятый этаж. На звонок тотчас же откликнулся бодрый и, как показалось Мише, заждавшийся хоз-
яйский голос.

— Не закрыто, входите!

Вошли. Рубцов ждал у порога. Было видно, что встречал он не их, потому что ожидание в глазах на мгновение потухло, но тут же явился другой свет: дружелюбия и приветливости.

— Спасибо — зашли,— сказал он.— А я думал, счастливые помнят только себя. Ну, проходите да знакомьтесь с моей компанией,— и он широким жестом пригласил к столу, на котором теснилось несколько посуды. Со стульев, придвинутых к столу, в легких изящных рамках со скрещенными на груди руками смотрели на входящих Пушкин и Тютчев. Перед каждым стоял наполненный бокал, но великие поэты еще не произносили тостов, потому что один словно только что закончил чтение новой поэмы, а другой — сквозь очки — сосредоточенно всматривался, куда же идет любимая Россия.

— Компания подходящая,— невесело обронил Миша.— А где остальные?

— Не приехали...

В углу торчала ненаряженная елка, сладко пахло оттаявшей хвоей.

— Хотел нарядить вместе с Леной,— горько сказал Рубцов.— Не получилось. И, видно, уже не получится...

— Ничего,— взыграла радостная мысль у Колябина.— Давай игрушки. Сейчас мы ее...

И все дружно принялись украшать лесную красавицу; через полчаса она блистала, как на балу. Больше всех веселилась и суежилась Люба, и Рубцов радовался ее веселью и похлопывал Мишу по спине, приговаривая:

— Не знаю, чем отдариваться будешь! Ох, не знаю!..

Люба понимала, что это о ней так лестно отзывается известный поэт и рдела, рдела.

После первой рюмки и без того тяжёловатый хозяин загрустил и все смотрел влажными глазами на разряженную елку и молча подливал в свою посудину темное зелье. Иногда он подходил к портретам, водруженным уже на письменный стол, и, кланяясь, серьезно произносил:

— Александр Сергеевич!

— Федор Иванович!

Миша внимательно следил за его неуверенными жестами, понимая, что всю ночь провел он в этой неразговорчивой компании, напряженно ожидая, что вот-вот раздастся на пороге радостный детский голос дочери — и не дождался. Воспаленные отяжелевшие глаза его ищуще блуждали, ни на чем подолгу не задерживаясь. Цвет лица стал землистым, то ли от долгих и мучительных и выматывающих бессонниц и работы, то ли от беспрестанного курения ядовитых бесфильтровых сигарет. А может, от горького осознания своей брошенности, покинутости, даже ненужности.

Мише хотелось отвлечь Рубцова от горьких дум, но это не удавалось. Тогда он посоветовал:

— Ты бы отдохнул, Коля...

— Пустое.

— Но ведь сломаешься, — горестно озабочился Колябин.

— А тебе кажется, я еще не сломан? — и он трезво и пронзительно глянул Мише в глаза.

И Колябин вдруг ощутил обжигающую подспудную правду в этом неожиданном признании и с тяжелым сердцем покинул рубцовское жилище.

...После Нового года они не встречались. Миша несколько раз поднимался на знакомый пятый этаж, звонил у двери номер шестьдесят шесть, но никто не отвечал. Сослуживцы говорили, что видели Рубцова мельком, обычно в паре с Д...; в разговоры не вступает, раздражителен, почти желчен, угрюм.

Поговаривали и о том, что Рубцов домогается руки и сердца «рыжеволосой бестии», пропадает дни и ночи у нее. Но Колябин знал, сколько сплетен и кривотолков всегда кружилось вокруг знаменитых людей, и далеко не всему верил. Хотя сердце все время было не на месте и постоянно томили дурные предчувствия. Даже в лучшие минуты счастливого уединения с Любашей.

Уезжая в очередную командировку, на вокзале Миша заглянул в буфет, чтобы купить на дорогу бутылку лимонада, и нос к носу столкнулся с Голубем. Тот выходил из дверей с тяжелой репортерской сумкой, по привычке высоко неся голову, ухоженный, разодетый в меховые сапожки, дубленку и лохматую лисью шапку.

— Слушай, ты скажи своему дружку, чтоб не зарывался, — небрежно кивнув, приступил он к Мише и даже — вроде бы нечаянно — подтянул за пуговицу пальто.

— Во-первых, руки! — строго сказал Миша, и Голубь отпустил пуговицу. — А, во-вторых, какого дружка вы имеете в виду?

— Твоего Рубцова, конечно.

— Тогда не дружка, а друга. Выбирайте выражения, а заодно — и тон.

— Гляди какой...— деланно удивился Голубь, поджав резные губы.

— Да, такой! — прямо глядя в глаза, отрезал Колябин.

— Тогда слушай, раз такой,— Голубь уперся Колябину в глаза.— Он со своими ревностями переходит всякие границы...

— А вам известно, что у ревности нет границ? — спокойно возразил Миша.

— Ты вспомнил Отелло?

— Не только.

— Но на дворе двадцатый век. И другие порядки в мире.

— Но у вас-то, по-моему, все те же? — двусмысленно спросил Колябин.

— Что ты имеешь в виду?

— А хотя бы ту беспардонность, с какой вы лезете в чужую жизнь.

— Это твой Рубцов лезет. И когда ему женщина не сдается, он выкручивает руки,— почти прокричал Голубь.

— Не с собой ли вы его путаете,— опять спокойно глянул на Голубя Миша.

— Да ты не шути, не шути. Она мне сама синяки на руках показывала.

— Вот как! — насмешливо прицелился Миша в Голубя.

— Да, так! А это уже улика. И можно загреметь. Нужен только свидетель,— со злорадным торжеством сказал Голубь.

— Вы, конечно, предпочитаете работать без свидетелей? — значительно обронил Миша.

— При чем тут я? Не обо мне разговор.

— Это пока — не о вас,— с нажимом сказал Колябин, и Голубь забеспокоился.— Пока! Ясно? — добавил Миша.

Голубь почувствовал, что Колябин что-то знает, и не нашел ничего лучшего, как небрежно махнуть рукой и выругаться:

— А, идите вы!..— и поспешно удалился, как будто никакого разговора не начинал.

В поезде Миша размышлял, что же такое могло произойти? То, что в словах Голубя какая-то правда была — он не сомневался. Пусть выгодно поданная, но — была. Неужели у Рубцова так осложнились отношения с Д..., что она ходит к Голубю показывать синяки. Зачем это? Для чего? И что замышляют они опять, если трезвонят почти о телесных повреждениях, в которых якобы повинен Рубцов?

В Череповце у матери Миша намеревался побыть с недельку, но беспокойство не оставляло целый день. Всю ночь воро-

чался с боку на бок, а на другой день, наскоро провернув газетные дела, к вечеру засобирился обратно.

— Ты обещал по-человечески пожить у матери хоть один раз,— упрекнула она его.

— Мама, понимаешь, забыл там передать срочную почту,— начал крутить Миша.

— Позвони по телефону,— мудрое сердце почувствовало фальшь.

— Ключи увез с собой, а все в моем столе,— на ходу придумывал Миша.

— Ой, парень, что-то ты мути нагоняешь...

— Одним словом, надо, мама!

И он уехал. В поезде стало легче. Он даже достал какой-то детектив и рассеянно полистал его. Потом подумал о своей Любушке, представил, как завтра неожиданно к ней нагрянет. Пришел домой, лег спать и спокойно уснул с таким ощущением, что он на том месте, где должен быть. А утром умылся, побрился, оделся и почему-то в пальто сел на стул, словно поджидая кого.

И действительно вскоре раздался звонок. Он вскочил и резко толкнул дверь.

— Входи, Женя,— не здороваясь, пригласил знакомого паренька из литобъединения.

— Меня послал за вами Решетов,— пряча глаза и переминаясь, робко сообщил паренек.— Все собрались в Союзе, только вас и ждут.

— И что там за собрание?

Паренек поднял глаза и, теряясь, спросил:

— Вы еще ничего не знаете?

Миша глянул на паренька в упор и, осененный жуткой догадкой, ткнул в него пальцем и почти вскрикнул:

— Рубцов!

— Да, сегодня ночью.

— Что?

— Убили...

— Так я и знал,— судорожно прошептал Миша, слабея и хватаясь за косяк.— Так я и знал...

— Задушила женщина,— тихо дополнил паренек.— Та са-мая... рыжая...

Конец первой части

С М Е Р Т Ь

I

Решетов дождался его в Союзе. Пожал руку:

— Все разошлись кто куда: документы оформлять, венки заказывать, телеграммы давать. Я боялся, тебя не окажется дома. Хорошо, что никуда не уехал.

— Я ведь и сейчас считаюсь в командировке, Алексей Петрович,— признался Миша.

— Не уехал, что ли?

— Уехал, да вернулся. Заболело сердце, заныло, места не мог найти и вернулся. Я у матери был.

— Вот-вот. И у меня сердце в последние дни давило. Было какое-то предчувствие все-таки...

— И на лице его что-то написано было...— тихо сказал Миша.— И предрек он сам свою кончину. И время точно указал — девятнадцатое января. Словно его подслушали и исполнили предсказание в срок — именно в Крещение, в мороз...

— Что такое? — не сразу понял Решетов.

— Послушайте... Это стихи Рубцова:

*Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы,
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки...*

— Мистика какая-то,— ужаснулся бывалый солдат.— Как же мы, зная это, могли допустить...— Решетов долго молчал, покачивая крупной отяжелевшей головой: — Да, не уберегли. И, кажется мне, он сам шел навстречу гибели.

— Точнее, к нему шли с гибелью,— поправил Колябин.— Потом я кое-что объясню.

— Да-а... А сейчас соберись и надо написать некролог. Тебе написать. Понял?

— Понимаю...

— Иди в ту комнату, садись, а я никого не впущу,— Решетов закрыл за ним дверь.

Миша взял чистый лист, сгорбился и сквозь вставшие слезы, мешающие различать строчки, начал водить пером. Он не знал, сколько времени прошло, но когда вышел, Решетов неподвижно сидел в кресле, опустив крупную голову на упертые в колени узловатые руки, и ждал.

— Вот, Алексей Петрович, все что смог,— протянул Колябин дрожащий листок.

Тот молча прочитал: «19 января в Вологде скончался поэт Николай Михайлович Рубцов. Обидно рано, в расцвете недюжинных поэтических сил оборвалась такая жизнь... Уже первые сборники Николая Рубцова завоевали любовь читающей публики, выдвинули его в ряды самых одаренных молодых поэтов. О нем широко писали столичные газеты и журналы, с похвалой говорили строгие критики, ему щедро предоставляли страницы солидных издания. Стихи Николая Рубцова часто печатались и в местных газетах, и всегда находили живой отклик у читателей. От книги к книге поэт накапливал мастерство, оттачивая мысль и строку, создавая все более значительные произведения. От него ждали новых поэтических удач, и он не обманывал надежд. Его лирика была наполнена истинной красотой естественности, доброты, искренности. Изданные в Москве и Вологде книги Николая Рубцова, последние опубликованные стихотворения предсказывали еще больший взлет, сулили новые открытия в поэзии. Преждевременная смерть Рубцова острой болью отозвалась в сердце каждого человека, ценившего глубоко русский талант поэта».

Решетов помолчал, видимо, взвешивая и оценивая коряво начертанные слова, и сказал:

— Ребята придут, пусть почитают. Может, что и дополнят. И надо отдать в печать.

— Да, пусть почитают,— согласился Миша.

— Щедро печатали, говоришь? — горько произнес Решетов. — А денег в столе оказалось — двадцать два рубля с копейками. И ничего на сберкнижке.

— Откуда вы знаете? — спросил Миша.

— Следователь сказал. Он звонил и даже заходил. Мы его убедили, что должны сегодня же забрать бумаги покойного.

— И что?

— Согласился. Только для законности велел пригласить нотариуса. Я уже и с тем договорился.

— Спасибо вам, Алексей Петрович,— растроганно, с комком в горле, сказал Миша.

— За что тут благодарить... Сегодня же вечером этим займемся, имей в виду! А сейчас пойдем в магазин. Надо купить новый костюм, ботинки. Деньги я взял.

По дороге Решетов, тяжело дыша и часто останавливаясь, поведал печальную историю:

— Случилось все на его квартире. Вечером зашли журналисты. Несколько человек. Подвыпившие. С собой еще что-то принесли. Началось, видимо, обыкновенное женское кокетство. Кто-то клюнул на эту удочку. Ну что? Молодые да подвыпившие мужики, кровь играет. Один потанцевал с нею, другой в щечку лизнул. Тогда Коля скомандовал: «Прошу всех встать!» Все встали. «Прошу всех выйти!» Ну, шум, конечно, гам. Упреки в домостроевщине. А покойник такого не терпел! И начал по одному спускать с лестницы. А она — защищать. Тогда он и за нее принялся. Может, и в ухо дал, не знаю. Очень возможно. Но не прогнал, оставил ночевать. Видимо, помогаться стал. На законном основании. Оказывается, заявление в ЗАГС они подали. Тихо так, никто и не знал, а подали... Видимо, уже разуверился, что склеится прежняя семья. Да, значит, он — к ней, она — ни в какую. Одним словом, боролись, боролись — и доборолись.

— Да какая может быть борьба... с этим трехстворчатым шкафом? — ужаснулся Миша. — Она же его может...

— Могла... Теперь могла... Одной титькой накрыть, другой прихлопнуть, — договорил Решетов. — Вот и прихлопнула. Схватила за горло, надала на пикальку — и все. — Решетов тяжело помолчал.

— Кошмар какой-то, — Миша не мог произнести больше ничего.

Решетов продолжал:

— Видит: готов. Прибралась, говорят, более-менее в квартире, помыла руки — и пошла сдаваться. Даже вроде в его валенках. Сама. Приходит в милицию, говорит: «Я убила Рубцова». Мужики, конечно, не верят. «Ты что, говорят, баба, перебрала, так иди проспись». «Нет, — заявляет, — правда». И в слезы. Те видят, дело нешуточное. Завели машину. «Садись да показывай, где и что». Приехали. Дверь не заперта. На полу мертвый человек. Кто-то узнал: «Да, Рубцов!» Среди них есть ведь и читающие ребята. Вот так. Это пока первое, что удалось узнать от следователя. Детали и все прочее выяснится позднее.

— Что нам детали? — грустно сказал Миша. — Коли-то нет, — и по-мальчишески всхлипнул.

— Не просто Коли: поэта нет, — Решетов надолго замолк, вздохнул, — большого, русского.

— И как все просто,— через какое-то время сказал Миша.

— Проще некуда,— отозвался Решетов.— Это ведь жизнь — сложна, а смерть — проста. Рожают в муках бедные бабы, растут, пестуют, ночей не спят, а тут придет какая-нибудь кувалда,— бац по башке — и все труды насмарку.

Подавленный, Колябин долго глотал застрявшую в горле соленую и липкую слюну.

— Гроб решили установить в Доме художников,— сказал погода Решетов.— У Коли с ними дружно было. Они и зал уберут. Уже послали машину за хвоей.

Миша представил Рубцова в гробу, среди траурных лент, венков и скорбной музыки, и вновь споткнулось его сердце и задрожали губы, запрыгал укрытый скомканной бородой подбородок. Ломило напрягшиеся виски и болели произвольно стиснутые зубы; опомнившись, он разжимал их, давал отдохнуть. В глазах постоянно вязла густая белесая муть, сквозь которую смотрел он неразличающим взором и, безразлично натываясь на прохожих, не оборачивался и не извинялся, да и сил на это не хватало. Прохожие подозрительно и неприязненно смотрели на него, как на пьяного или ненормального человека. По сути, таким он и был.

Решетов угадал его состояние и заботливо подвел к запорошенной скамейке вблизи магазинного скверика, стряхнул перчаткой снег с краю и предложил:

— Посиди, приди в себя, я куплю все сам,— и надолго ушел в универмаг.

В голове Миши вертелась одна и та же безысходная фраза: «Как же так? Как же так?» — на которую никто ему не мог дать ответа.

Решетов вернулся со свертками, один подал ему:

— Пойдем, отнесем в морг, чтоб переодели.

Внутрь Миша не заходил: не мог перебороть в себе страх и отчаяние. Да Решетов и не позвал его. Выйдя, сказал угнетенно и глухо:

— Лежит в рубашонке, в штанешках затрапезных, босой. На войне всяких приходилось видеть, и мне не привыкать. Но то было на войне. А тут-то...— и опять надолго умолк.

Вечером, усадив нотариуса в такси, они подъехали к знакомому подъезду. Медленно поднявшись на пятый этаж, позвонили.

— Должен быть здесь. Мы на это время договаривались,— переводя дыхание, сказал Решетов.

За дверью слышались шаги, и дверь открыл молодой светловолосый человек с настороженным неподвижным взглядом.

— Здравствуйте, товарищ следователь,— сдержанно покло-

нился Решетов.— Это мы. Знакомьтесь, нотариус Мария Алексеевна, журналист Колябин Михаил Васильевич, друг покойного.

— Меркурьев,— представился молодой человек и пропустил их в квартиру. Потом натянул резиновые перчатки на тонкие пальцы с ухоженными ровными ногтями и стал ворошить какую-то одежду на диване, перебирать и разглядывать книги, изучать черепки на полу. Валявшиеся бумаги его не интересовали, и он погуливал по ним в сапогах, пока Решетов не попросил:

— Товарищ следователь, подождите немножко, мы соберем их, за этим же пришли...

— Пожалуйста,— обронил Меркурьев бегло и перешел обследовать кухню.

— Тоже мне, Шерлок Холмс,— нервно пробурчал Решетов, когда тот вышел и закрыл за собой дверь.— А вы усаживайтесь, Мария Алексеевна,— любезно предложил Алексей Петрович нотариусу, поднял опрокинутый стул и опачнул сиденье подвернувшейся газетой.

— Мне нужен и стол, чтоб расположиться,— сказала Мария Алексеевна, пожилая спокойная женщина с усталым и понимающим взглядом.— Надо спросить, можно ли все это поднимать.

— Можно,— позволил следователь Меркурьев, снова вернувшись в комнату, и начал изучение немногочисленной мебели.— Съемка произведена, так что ставьте стол и занимайтесь.

Тем временем Решетов выгребал из ящиков письменного стола:

— А во что же будем складывать?

— Под диваном есть чемодан,— подсказал следователь Меркурьев.— И на антресолях — тоже.

— Давай, Миша, не стой истуканом,— прикрикнул отечески Решетов.— Работай, работай,— и кивнул на беспорядочно рассыпанные по столешнице бумаги.— Укладывай в пачки, нумеруй. Правильно говорю, Мария Алексеевна? — призвал он в помощники нотариуса.

— Совершенно верно,— подтвердила она и тоже стала помогать.

Разбирая рукописи, Миша наткнулся на сложенные вчетверо тетрадные листки, нервно исписанные рубцовой рукой, и с первых строк понял, что это неотправленное послание к Д...

«Милая, милая,— писал он угловато и размашисто, и уже по одному этому Миша понял, в каком пребывал состоянии Рубцов.— Неужели тебе хочется, чтоб я страдал и мучился еще больше и невыносимее. Все последние дни я думаю только о тебе. Думаю с нежностью и страхом. Мне кажется, нас связала непонятная сила, и она руководит нашими отношениями, не давая, не оставляя никакой самостоятельности нам самим. Не знаю,

как ты, а я в последнее время остро это ощущаю. Но что бы ни случилось с нами и как бы немилосердно не обошлась судьба, знай: лучшие мгновения были прожиты с тобой и для тебя. Упрекать судьбу не за что: изведена и, в сущности, исчерпана серьезная и незабываемая жизнь, какой не было прежде и не будет потом. Была ли ты ее украшением? Если иметь в виду китайскую вазу, то нет; а если понимать планиду как объем бесконечной работы, тревог и горечи, то в этом объеме каплей радости была ты. Хотя зачастую — и чрезмерно терпкой. Может быть, сама этого не понимая или не желая понимать. За нас часто решают и думают значительно резвее и тоньше, и нас устраивает это, потому что избавляет от обременительной необходимости думать самим. У тебя непростой и далеко не ангельский характер, а вспыльчивость и необузданность частенько ошеломляли даже меня, которому пришлось повидать всякого: а возбудить к действию таких порывистых и деятельных женских натур очень нетрудно. К тому же тебе постоянно кажется, что ты в чем-то обойдена, тебе не додано по заслугам, и незамедлительно восстаешь против мнимых несправедливостей. Следует быть осмотрительней: пришла пора, настала... И не принимай мои слова за упрек или назидание, они всего лишь знак дружеского расположения и доверия. И желание помочь осознать себя и определиться...»

На этом письмо обрывалось, и Миша Колябин пожалел, что оно не было закончено и отправлено адресату. Возможно, что-то поправило бы или изменило. Хотя как знать... И неизвестно, когда было написано: даты не проставлено. Повертев в руках листочки, Миша подошел к следователю Меркурьеву и показал их:

— Наверно, это понадобится для дела?

Тот быстро смекнул и одобрительно закивал:

— Да, да, конечно. Спасибо,— и опять пошел рыться в углах, в ванной, на кухне, а Миша занялся бумагами.

Попались неизвестные стихи, пробравшие Колябина до озноба. Они назывались «В гостях».

*Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гранитным громом грянуло с небес!
В трущобный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез...*

*Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!*

*Я продолжаю верить в этот бред,
Когда в свое притонное жилище
По коридору в страшной темнотище,
Отдав поклон, ведет меня поэт...*

*Куда меня, беднягу, занесло!
Таких картин вы сроду не видали,
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!
Поэт, как волк, напьется натошак.
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете,
И все молчит, не двигаясь никак.
А перед ним, кому-то подражая
И суетясь, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему Вы курите, мадам!*

*Он говорит, что всё уходит прочь,
И всякий путь оплакивает ветер,
Что страшный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?»...
Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервной системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И все торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!*

*Опять стекло оконное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом...*

*Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде».*

Попадались и другие незнакомые вещи, но читать было некогда, и Миша складывал их в стопку, зная, что недалек час, когда все это станет читаться людьми нарасхват.

Все было пронумеровано, подсчитано и заверено гербовой печатью, женщина-нотариус сказала:

— А теперь можете взять на память что-нибудь из личных вещей покойного.

Миша после неудобства и смущенных угрызений совести все-таки взял старинный томик Тютчева в сафьяновом переплете и том нравственно-философских статей Л. Н. Толстого — тоже старого издания.

А Решетов попросил разрешения взять гармонь и авторучку.

— Вообще-то, — сказала Мария Алексеевна, — гармонь считается вещью ценной. Родственники могут опротестовать.

— Не для себя, голубушка, — приложил руку к сердцу Решетов. — Все равно играть не умею. Рано или поздно будет в музее комната Рубцова. Туда все и передадим. Просто у нас сохраннее будет...

— Тогда, пожалуйста, — поняла Мария Алексеевна. — Берите.

Решетов послал Мишу за такси, а сам вынес чемоданы на лестничную площадку, рядом поставил гармонь.

— Мы вас подвезем до дому, — сказал он Марии Алексеевне, и та согласно, даже обрадованно, закивала.

— Может, и вы с нами? — обратился Решетов к следователю.

— Мне надо еще поработать, — ответил Меркурьев сосредоточенно, и Решетов согласно кивнул:

— Тогда извините. Спасибо за помощь. Всего доброго, — и притворил дверь. Тут же раздался щелчок французского замка с внутренней стороны: это закрылся Меркурьев, чтоб его больше не отвлекали.

Когда отвезли нотариуса и остались одни, Решетов сказал:

— Ну, Миша, кажется, мы сделали главное дело, — и похлопал по чемодану с бумагами.

...Через полчаса на квартиру к Алексею Петровичу по телефону позвонил следователь Меркурьев:

— Я только что от прокурора: он меня отругал за то, что я отдал бумаги. Мне первый раз поручили такое дело, и я не знал. Просил бы вернуть.

— По-моему, теперь законные владельцы мы. Гербовая печать закрепила это право.

— Согласен, но прокурор...

— Успокойтесь, завтра я позвоню в обком партии,— заверил Решетов Меркурьева.— И у вас не будет никаких осложнений.

— Да? Тогда прошу вас... не забыть.

— Стихи же к делу не относятся?

— Вроде нет,— довольно уверенно сказал Меркурьев.

— Тогда в чем дело?

— Да я-то не против, только прокурор...— замялся следователь.

— Я понимаю вашу тревогу и обещаю завтра все уладить.

— Тогда спокойной ночи,— воспрянул духом Меркурьев.

— Мое дело стариковское, а вы спите спокойно,— Решетов положил трубку.

II

Морозы закручивали недолго. На другой день уже отпустили, и собравшийся у морга народ стоял без поднятых воротников и не перетоптывался, как перед баней, а сохранял чинность и приличествующее достоинство. Миша впервые вступил вслед за Решетовым в это мрачное здание и, стараясь не смотреть по сторонам, прошел к обитому тусклым цинком лежаку, на котором покоился Николай Рубцов. Руки его были сложены на груди. В глаза бросились новые ботинки, каких при жизни так и не удалось поносить Коле... Прислушиваясь к командам Решетова, Колябин взялся за плечи покойного и помог уложить в приготовленный гроб. Сквозь размытый сумрак и тяжелый близкий шум в голове мелькнула мысль: насколько легко и необременительно тело поэта, словно в нем всегда жил один дух, да и тот теперь вышел. Вынося гроб из тесной прихожей, Миша все-таки нечаянно задел за ноги мертвого, лежавшего сбоку под простыней, и, содрогнувшись, молча попросил прощения у несчастного. Хотя неизвестно, кто в эту минуту был из них несчастнее...

Когда домовину вынесли на улицу и посмелее стало на душе, Миша всмотрелся в безмятежное лицо Рубцова. Поразила персиковая нежность кожи, придававшая чертам почти жизненное полнокрое. Невольно закрадывалось сравнение со спящим человеком. И только губы, потерявшие былую упругость и цвет, пугали своей черно-лиловой потусторонностью. Но даже в них, отторгнутых и существующих как бы отдельно, пусть не теплилась, но самостоятельно таилась саркастическая полуулыбка-полуушмешка, словно корившая присутствующих: «А говорили, что не

предадите...» И жутко было смотреть, тем более расшифровать ее...

А стоя в Доме художников в почетном карауле, Миша смотрел на горловые рубцовские ссадины и надорванное правое ухо: какой нужно было обладать неженской силой и злобой, чтоб совершить такое.

Играла траурная музыка, еще больше надрывавшая и без того ослабленное и надсаженное сердце: а люди все шли и шли, скорбно замирали возле смертного одра, заглядывали в отстраненное лицо покойного, мрачнели и невольно вздрагивали, осмысливая: какое бесовское дело совершено при их жизни и каким неслыханным позором ляжет оно на совесть современников.

Нигде официально не было объявлено о гибели Рубцова, а люди все шли проститься со своим певцом, и неизвестно, как они узнали о случившейся трагедии: но все-таки узнали, все-таки пришли.

На стульях, расставленных вдоль стен, сидели понурые и пришибленные, с заплаканными глазами и опухшими лицами близкие покойного: сводные братья, помогавшие в похоронных делах, и даже родная сестра, о которой Рубцов почти ничего не знал и поэтому не рассказывал. Она тоже воспитывалась в детдоме, но в соседней области, еще ребенком затерялась среди чужого народа. С таким же небольшим востроносеньким личиком, с быстрыми и зоркими карими глазами, она иногда, тяжело поднявшись, подходила к обитому кумачом гробу, вглядывалась в персиковое лицо брата и ежилась от ощущения, что все неважпавду, понарошке: лицо с оттопыренными ушами и затаенной усмешкой только способствовало этому ощущению.

— Все слышит, — возвращаясь на место, шептала она широколицей женщине в черном платке, как потом узнал Колябин, матери рубцовской наследницы.

Женщина сидела уединенно, к ней почти никто не подходил и не выражал соболезнования, потому что никто не знал ее. А те немногие, знавшие в лицо и вовремя известившие телеграммой о трагической кончине Рубцова, в душе осуждали прежде всего ее, поскольку именно она усугубила его одиночество и отчаянье тем, что не ехала сама и не везла столь любимую покойным дочку.

Но Миша Колябин все-таки подошел к этой женщине, назвал себя и неумело постарался утешить запоздалые женские слезы, пожимал руку и поглаживал по плечу.

Подходил к ней и Решетов и между делом сказал:

— Дочку мы узаконим. Чтоб была наследницей своего отца. Да и для пенсии это надо...

А потом он произнес короткую, но проникновенную речь, которую в наступившей тишине начал неожиданно:

— Существует расхожее мнение, а многие даже уверены, что людей незаменимых нет. Это давнее и нелепое заблуждение. Каждый, даже самый незаметный и незначительный человек, незаменим. А большой поэт — тем более. Никто не написал ни строки ни за Пушкина, ни за Тютчева. Никто теперь не напишет ничего за нашего незабвенного Николая Михайловича Рубцова. И мы с каждым годом будем лишь глубже открывать его для себя и только искреннее удивляться и благодарить судьбу, что одарила нас пусть коротким, но тем более щемящим знакомством с этим незабываемым человеком и творцом...

Среди других плакала в уголке женщина, которую так долго и напрасно призывал к себе Рубцов. Она не привезла с собой дочку Лену, чтоб не травмировать слишком юное и незащищенное сердце, хотя той было сообщено, что мать уезжает на похороны отца, и девочка, оглушенная необычной новостью, но еще не все понимающая, все же не один день ходила потерянная и заплаканная. А спустя некоторое время Миша Колябин получил письмо из Тотмы, где полуграмотным слогом изъяснялась женщина, которой безразлична была судьба загубленного Мишиного друга: «...Вспоминали его, как в прошлом году на пятое декабря был здесь в командировке и целую неделю жил у нас. Он все просил, чтоб мы убедили Гету переехать к нему, словно чувствовал, что это могло бы его спасти. Но уговоры остались только уговорами. Если бы она приехала к нему с Леной во время зимних каникул — горя могло бы не получиться. Разделяем печаль вместе с вами, постараемся летом приехать и сходить к нему на могилку. Как жаль, что безвинно погиб такой человек. Он часто приезжал к нам, пока учился в Москве, ходил по клюкву на болото, ловил рыбу в нашей речке. Большой любитель был. Уж сколько половит, а кошке на еду принесет. И был доволен, потому что никогда не жадничал. Напишите нам, пожалуйста, как его друг и пришлите его стихи, посвященные дочке Лене. С уважением сестра Геты — Тамара».

Письмо Миша Тамаре напишет и на могилку сводит, когда она с мужем приедет в город; а пока он сам не видел, а только представлял свежую зияющую яму, приготовленную местными мужиками с тщанием и усердием, как только узнали они, для кого таковая готовится. Мужики долго лупили лопатами в промерзшую январскую землю, измучились, но дело сделали исправно и вовремя; даже нехотя и без удовольствия приняли предложенные на поминование деньги.

Гроб с телом друга донесли до места на руках, и отказавшись

от музыки и долгих речей, с печалью и сдержанными слезами предали земле; и только по дороге к дому, лишнего хлебнув на поминках в Доме художников, сверх обычного заволаговался и закашлялся Решетов и повалился боком в снег, а подоспевшей к нему Ангелине Ивановне, попытавшейся поднять, хрипло и зло выкрикнул: «Это ты виновата, стерва, ты!» — и оттолкнул протянутую ею руку, а сам схватился за сердце и не смог унять: «Ты подстроила, чтоб я его из дому выставил, и он больше не пришел. И остался один против всех. И жена не приехала, и мы отвернулись... Чем ему защититься было?... Вот и настигли, когда почувствовали, что один. А ты ублажала собственную гордыню, знала: парень до того скромненький, что в баню общую ходить стеснялся, хотя и был детдомовцем. А он после больницы, ослабел... Какое от него сопротивление! Все ты виновата», — снова ткнул Решетов пальцем в Ангелину Ивановну, нетрезво и грозно глянул на нее; она согласно и торопливо закивала, повторяя одно и то же: «Я, я, дура набитая. Я во всем виновата, полохало лешее. Только успокойся», — и, расстегивая сумочку, спешно достала пузырек с каплями Зеленина, благоразумно прихваченный с собой по такому случаю, и, нажав в стопку, тоже не забытую при сборах на похороны, настойчиво стала совать мужу в рот, чтоб тот выпил. И Решетов, обезволенный уступчивостью жены и безоговорочным признанием ею своих каверз и капризов, выпил содержимое и позволил поднять себя со снега и повести к дому.

III

Все ждали суда над убийцей. Следствие растянулось на два месяца, хотя казалось: все и так ясно.

Д... отправили на обследование в психиатрическую больницу, и там она пробыла не менее двух недель. Вызывали из Воронежа первого мужа, снимали допрос с других иногородних знакомых подсудимой, которых она выставила в качестве свидетелей. Все требовало времени — и немалого.

Наконец ветреным весенним днем суд приступил к разбирательству дела. В коридоре около зала заседаний столпилось множество народу. Еще больше толкалось на улице. Однако проплыл слухок, что суд будет закрытым, и литераторы забеспокоились: могут не пустить.

Решетов разыскал председателя суда, и тот все подтвердил, но посоветовал одного человека выбрать и послать в партийную газету, чтобы там дали ему направление на слушание дела как журналисту; в таком качестве он, председатель, своей властью узаконит его присутствие и даст возможность наблюдать весь

процесс. И по справедливости выбор пал на Мишу Колябина. Пришлось долго бегать с оформлением бумаг, искать редактора, объяснять, уговаривать... К началу слушания Колябин не поспел; и поскольку бумаги добывались трудно, не верилось в их безоговорочность и силу.

Первые два часа до перерыва он сидел в уголке не шелохнувшись, боясь, что вдруг все переменится, и его выставят так же, как в самом начале выставили остальных, густо заполнивших зал и жаждущих узнать правду; потому что пока город жил самыми нелепыми сплетнями: истина еще только рождалась в следственном отделе.

Никаких записей Миша, конечно, делать не решался. И только, когда в перерыве председатель спросил, почему он ничего не пишет, Колябин встрепенулся и спросил: «А разве можно?» «Вы же журналист», — просто ответил председатель с крепкой и строгой фамилией Макурин.

Д... под охраной сидела за барьером и делала вид, что не узнает и не видит Колябина. Ее нежный голосок прорезывался в полупустом зале, когда возникал вопрос у стражей закона и было необходимо на него ответить. Она предстала в подчеркнуто аккуратной одежде и прическе; такой Миша ее раньше не видывал. Ей всегда сопутствовал беспорядок: никогда не чувствовал Миша заботливой женской руки в рубцовой квартире, хотя знал, что Д... живет там безвылазно. А тут поражало преображение. Миша прикинул и понял, что это работа защитницы — женщины тоже крупной и властной. Необходимо было, видимо, произвести на суд выгодное впечатление.

Ну, что ж! Задумано неплохо. Подсудимой не хватало только кротости и раскаяния. Голову она держала слишком независимо. Грудь выпирала слишком вызывающе. И глаза сверкали неумеренно воинственным огнем. Вряд ли это могло понравиться председателю суда, прокурору и особенно женщинам-заседательницам, пожилым, скромным и, наверняка, обремененным немалой семьей и неизбежными поэтому хлопотами, тревогами и огорчениями.

Председатель Макурин выглядел лет на пятьдесят; с твердыми невиляющими глазами, укрупненными линзами очков, и потому еще более пронзительными; с плотно сомкнутым ртом и крепким подбородком, который был всегда до синевы выбрит; безукоризненно отглаженный, начиная с лацканов пиджака и кончая манжетами рубашки; накрахмаленный воротничок, казалось, хрустел при каждом повороте сильной шеи. Единственно уязвимым местом в его непроницаемом и нерасчленимом облике была по-детски обнаженная голова с реденькими пушистыми волосиками, мягкость и почти невесомость которых угадывалась на

расстоянии. И как бы он их ни причесывал, ни ваксил по утрам всяческими мазями, стараясь придать себе законно строгий вид, волосики все равно взлетали вверх при первом удобном случае и вольно и независимо парили над его правильной формы разумной головой. И чаще всего именно они сбивали с толку предприимчивых подсудимых, искавших участия и снисходительности у председателя Макурина и всеми силами старавшихся доказать собственную невиновность или непросвещенность; и обязательно смотрели в таких случаях не в прожигающие насквозь глаза судьи, а значительно выше, туда, где прозрачно сквозили его беззащитные светлые волосы. Некоторые и понимали, что обманываются, но так было легче душе и спокойней глазу.

А в это время Макурин буравил острыми зелеными глазами очередную жертву и, внимательно слушая сбивчивый и жалобный лепет, твердо и определенно составлял для себя неукоснительную логическую схему преступления. И никому еще не удавалось обвести его вокруг пальца, а он многих заставил в конце концов повинно склонить голову и не только признаться в совершенных злодеяниях, но осознать грех и покаяться.

Теперь перед ним сидела женщина, лишившая жизни поэта, любимого не только абстрактным читателем, но и им самим. Поэта горячо почитаемого, хотя едва ли можно сказать, чтобы Макурин так же легко давал всякому стихотворцу завоевать свои симпатии. Он был разборчивый и строгий читатель. А тут — полюбил. И эта женщина убила его любовь. Макурину бы следовало отказаться от ведения дела, поскольку эмоции давали себя знать, но никогда он не позволял брать им верх над рассудком и никогда не простил бы себе, смалодушничая и переложив он это дело на чужие плечи.

— Подсудимая, встаньте, — уже в который раз поднимал он Д... — Почему вы не покинули квартиру пострадавшего, когда у вас разыгрался скандал.

— Я же говорила, дверь была заперта, — с некоторым раздражением ответила Д...

— Пожалуйста, спокойнее, — невозмутимо посоветовал Макурин.

— Вы меня упрекаете в раздражительности... — начала было Д...

— Мы вас не упрекаем, мы вас судим! — поправил судья.

— Тогда почему по несколько раз спрашиваете одно и то же?

— А вопросы здесь задаю только я, — твердо сказал Макурин и в упор посмотрел на Д... — А вы на них только отвечаете, а не обсуждаете. Ясно?

Она опустила ресницы, но не склонила головы.

— Итак, — ровным голосом продолжал председатель, — расскажите нам спокойно, без нервов, все по порядку: как прошел

вечер восемнадцатого января, с чего начался, с кем встречались, выпивали и т. д.

Д... на минуту задумалась, словно вспоминая необходимые детали или утишивая разгулявшийся норов, а потом намеренно неторопливо, проговаривая каждое слово, начала излагать:

— Восемнадцатого января мы с Рубцовым шли по центру города. Он пригласил в бар, но там была «темная толпа народу», и мы не пошли. Встретили Бориса Крюкова, Аркадия Молодцова, Альберта Терешкова и Заумкина. Мужчины договорились посидеть. Купили в Ленинградском магазине красного вина и пошли распивать в шахматный клуб, потому что Терешков — известный местный шахматист. Я ушла в газету «Вологодский комсомолец»: у меня там перепечатывалась рукопись. Когда вернулась, у них осталось около ста граммов. Предложили мне, но я, естественно, отказалась. Тогда меня заставили выпить силой.

— Это как? — спросил Макурин. — Взяли за руки, разжали губы и влили в рот?

— Нет, конечно, — смутилась вроде бы Д... — Но — приневолели. Всего я не выпила, и за меня допил Рубцов. Заумкину надо было получить на почте гонорар восемь рублей. Собрались в ресторан «Север»...

— С восемью рублями? — спросил Макурин.

— Нет, у каждого еще нашлось по трешнику, и даже больше.

— Продолжайте.

— Я пошла в библиотеку, с ними не пошла, а потом уехала домой.

— То есть на квартиру пострадавшего? — уточнил судья.

— Да... — поникнув, ответила Д... и замолчала, словно что-то вспоминая.

— Продолжайте, продолжайте, — подбодрил ее Макурин.

— Около восьми вечера они всей компанией пришли. Рубцов со всеми рассорился. Заумкина ударил, и все постепенно ушли. Он всю злобу перенес на меня. Оскорблял нецензурной бранью. Стал ломать руки, бросал горящие спички в мою сторону.

Миша Колябин от неожиданности весь вытянулся в своем углу, шумно дыша, словно намереваясь возразить, но увидел строгий взгляд Макурина, пригвоздивший его к стулу, и безвольно опустил голову. А Д... продолжала:

— Я заявила, что ухожу. Рубцов сказал, что не пустит, запер дверь на ключ и толкнул на кровать. Делать было нечего, я разделась и легла. Он открыл дверь на балкон, запрещал мне одеваться. Потом стал бросать и бить пластинки, бросил в меня стакан, тот разлетелся вдребезги, осколки посыпались на постель. Искал нож, но не нашел, поскольку я предварительно убрала

его. После этого устал, уgomонился и лег на постель, а я прилегла на диван. Через пять минут Рубцов заявил: иди ко мне на кровать. После таких диких сцен я, конечно, категорически отказалась. Тогда он заявил, что просто так я от него не уйду, он раскроит мне череп за то, что якобы я унижала его. Подошел к балкону, раскрыл дверь (там стояла металлическая лопата). Потом решил: нет, лучше я тебя молотком. Он был взвинчен, а я знала, что в ванне есть молоток, и он может убить меня. Забеспокоилась, вышла вслед за ним. Он выскочил из ванны с охапкой белья (молоток он искал под грязным бельем, оно под ванной было). Он затолкал меня обратно в комнату. Я стала его успокаивать, уложила на кровать. Он ударил меня ногами в грудь и вскочил, уроня при этом стол. Оба мы упали на пол. Я разозлилась, схватила его за волосы. Он старался ухватить меня за горло. Но я укусила его за руку, а затем схватила за горло и стала давить его. Мне было безразлично, что будет дальше. Я сильно давила Рубцова, пока он не посинел, и после этого отпустила. Подняла с пола тряпки, вымыла руки и пошла в милицию...

Д... умолкла, и зал на какое-то время затих.

Миша Колябин сидел оглушенный и раздавленный. Он был на таком суде впервые. Ему приходилось добывать для газеты всякие материалы; журналистская судьба сводила и с этим учреждением и его невольными обитателями. Но попадались больше мелкие мошенники и жулики, отчаянные хулиганы, распущенные девицы да лишенные материнства растрепы и алкоголички. Но чтобы такое зверство!.. И сам-то судья Макурин, наверняка, не всякий день занимался подобными делами.

Больше всего мучило Мишу, что ничего нельзя поправить. Даже нельзя замолвить слова за погибшего друга. Предлагал судья Макурин выставить писательской организации общественного обвинителя, но на этот раз у всех отказало чутье: и порешили, что советский суд во всем разберется сам. А для того, чтобы он разобрался, ему помогать надо! А помощника, получается, они сами не дали. Трудно, конечно, «письменников» осуждать: первый раз такое случилось. Но невозможно теперь и не корить и не казнить себя, когда сердцем чувствуешь полную беспомощность перед явной ложью и наглостью Д...

Конечно, они с Рубцовым были вдвоем. Никаких свидетелей не было. Мели, что хочешь. Правду знали только двое, но один мертв, а другая не скажет. И что самое ужасное: его убили, и его же бьют. На него же клеветают. По существу, и обвиняют-то его. А он, Миша Колябин, ничего не может поделать, потому что никаких полномочий не имеет; а свидетели ведут себя по-разному;

но очевидно, что все боятся прежде всего за себя, поэтому в испуге или прирожденном скудоумии несут черт знает что. И подсказать ничего невозможно. Одна только надежда: председатель Макурин. Видно, что мужик въедливый и хочет докопаться до истины. И — даст бог — докопается...

— Садитесь, подсудимая, — наконец сказал председатель Макурин и повернулся к секретарю суда. — Пригласите свидетеля Крюкова.

Вошел маленький, черненький, с вытянутым смуглым лицом человек. Суетливо пригладил рассыпавшиеся волосы, одернул мятый пиджачок на мальчишеской фигурке, на ходу поклонился и судье, и Мише Колябину, и Д... Ей даже бегло бросил: «Здравствуй, Надя!».

— Вы работаете фотокорреспондентом, — спросил его председатель суда.

— Так точно, — торопливо и почему-то по-военному ответил Крюков.

— Распишитесь, что обязуетесь говорить правду.

Миша впервые видел Крюкова таким беспомощным и жалким — этого прожженного газетчика, пронырливого фотокора, умеющего находить в любой ситуации выход. Вот что значит — суд. Перед Крюковым лежал лист подписки, над которым фотокор навис, видимо, ничего не соображая. Он несколько раз, не глядя, ткнул ручкой мимо чернильницы, и только с третьего раза попал в нее. Мише было стыдно и противно на все это смотреть.

— Расскажите нам, товарищ Крюков, как вы провели последний вечер у Рубцова. И что вы можете вообще сказать о нем как о личности.

— А что сказать, — развел руками фотокор. — Способный поэт, умный собеседник. Но когда если бывал выпивши, мания величия так и перла. Пропадало всякое желание продолжать беседу.

— И часто вы с ним вели беседы? — заинтересованно посмотрел Макурин на свидетеля.

— Случалось.

— О чем же?

— Да когда о чем. Больше, конечно, о стихах.

— Вы любите стихи?

— Почитываю. Но с ним было нелегко тягаться. Он любого затыкал за пояс запросто, — Крюков постепенно освоился в новой обстановке и начал пользоваться привычным журналистским жаргоном, обретая уверенность и знакомую Колябину болтливость.

— Об этом достаточно, — остановил Крюкова председатель Макурин, — расскажите о последнем вечере.

Фотокор повторил почти то же, что рассказывала Д..., а потом перешел к личным наблюдениям и выводам:

— ...Оказалось, что у Рубцова в потайном кармане — бутылка вина. Именно вина. Водку он почти не употреблял. Я не понял, выпивши был Рубцов или с похмелья, поскольку выражение лица у него оставалось всегда одинаковое. Здоровьем он не блистал, и нельзя было ему употреблять, но не слушал советов товарищей. В качестве доказательства могу привести такой случай. Рубцову понадобилась фотография для книги, и он попросил сфотографировать. Но я не мог этого сделать длительный период времени, так как встречал его все время или «под мухой», или не с тем выражением лица.

— Часто с ним выпивали? — спросил Макурин.

— Редко. Я ж говорю: он предпочитал красненькое, а я тяготею к беленькому.

— Значит, разница вкусов мешала? — с усмешкой спросил Макурин.

— Выходит так... — оживился Крюков. — Да, дополню. Д... на моих глазах не выпивала. Была трезва.

— Ясно. Вы свободны, — отпустил фотокора Макурин. — Приглашайте Терешкова.

Этот держал себя несколько спокойнее и достойнее, хотя Миша Колябин не переставал морщиться, как от зубной боли, от примитивности очередного рассказа, от убожества впечатлений, вынесенных из общения с таким редким человеком, как Рубцов. «Как же мог ты терпеть их всех?» — мысленно упрекал Колябин покойного друга и отвечал сам: «Конечно, во всех он прежде всего видел людей, которых нужно обогреть и пожалеть. И теперь они платят ему за это...» Вот и Терешков уже начал рассчитывать:

— Товарищ был неуживчивый. Все ему чего-то надо... Рядом с ним, я понимаю, нелегко жилось простому человеку, — пожалел Терешков подсудимую и даже оглянулся на нее, чмокнул губами. — И в этот раз, когда мы сидели у них — чего надо было? Надя подала соленых помидоров, не ругала нас, не обзывала... Сидели, пели песни, играли на гармошке. А Надя стояла у письменного стола, разговаривала с Заумкиным, который пристроился рядом на стуле. Вдруг Рубцов оборвал песню, покосился в их сторону и — «Почему ты пристаешь к моей жене?» Вот такой вот был покойничек. Разговор, естественно, сломался. А он вопрос повторяет. А что прикажете делать Заумкину? Он говорит: «Ты что, чокнулся?» Тогда его поперли из дому. А следом и нас. Невыносимый, конечно, характерец был у товарища...

— И вы считаете, что подсудимая правильно поступила с ним? — спросил Макурин серьезно.

— В каком смысле?

— Ну в том, что лишила жизни.

— Нет, что вы! — опомнился Терешков. — Лишать, конечно, не надо было. Так бы только... потрепать и все.

— Спасибо, вы свободны.

— А можно, я останусь в зале, послушаю.

— Свидетель Терешков, хотя суду вы больше не понадобится, но остаться в зале — ваше право, — холодно сказал председатель Макурин и попросил пригласить свидетельницу, фамилию которой Колябин не расслышал.

Вошла худенькая бледнолицая женщина с небогатыми и невзрачными волосами, в темном — несколько старомодном — платье, опрятна и подчеркнута спокойна. Бледное лицо не дрогнуло ни единой жилкой, когда она предстала перед высокими людьми. Она говорила ровным внятным голосом, и Миша, немного остынув от возмущения после предыдущих показательских выступлений, наконец, вслушался в смысл достойной и сдержанной речи:

— ...Да, он часто бывал в моем доме, сетовал на свою неустойчивость, хотел, чтобы я стала его женой. Тогда мне запомнилась фраза: «Я, наверное, всю жизнь буду строить себе дом» (о том, что у него была женщина в деревне и ребенок, я — тогда, сначала — не знала. Он отличался скрытностью характера, это могут подтвердить его друзья). Наше знакомство началось в шестьдесят пятом году, на литературном семинаре. В начале шестьдесят шестого года уехал учиться в Литературный институт и вернулся только в марте шестьдесят седьмого. С первых дней говорил о своем чувстве ко мне. Я напомнила ему, что у него есть жена и ребенок (к тому времени мне рассказали о его жизни). На это он ответил: «Успели... Я сам бы тебе все открыл, — и добавил. — Мы не живем». По-прежнему Рубцов бывал у меня дома. Убеждалась, что расстаться с ним невозможно. Да мы почти и не расставались. Пока устраивалось дело с жильем, он перебивался то у знакомых, то у меня. Признаниям в любви я не придавала большого значения, хотя было приятно...

На какое-то время она замолчала, может быть, вспоминая или переживая былое. Но Макурин напомнил:

— Продолжайте, пожалуйста, — сам он слушал с неослабным вниманием.

— Да, я не придавала особого значения признаниям. Знала его восторженность, увлеченность, неумную фантазию. К тому же он часто, забывшись, называл меня именем женщины, которая осталась в деревне; видела, как ночью не спал, подолгу курил, доставал письма, читал и перечитывал, вздыхал. Мне ничего от него не было нужно. Я просто дорожила нашей дружбой. В

августе он проводил меня в Липин Бор, а потом следом приехал сам. Жил со мной в одном доме около десяти дней, но близких любовных связей у нас не было. Рубцов был постоянно трезв, много читал, рассказывал о своем детстве в детдоме. Его невозможно было переслушать. Рассказчик был чудесный, — она снова замолчала и задумалась. И опять Макурину пришлось напоминать, что идут свидетельские показания. Она встрепелась и смущенно попросила:

— Извините, пожалуйста. Просто не верится до сих пор, — достала платочек, поддержала у губ и, справившись с собой, продолжала рассказ: — Читал он тогда, помню, Ленина и «Педагогическую поэму» Макаренко. Ни гневным, ни буйным я не видела его никогда. Возможно, не давала сама повода для таких проявлений. Какая-то перемена произошла, примерно, с декабря шестидесяти седьмого года. Впервые он пришел ко мне выпивши, чем-то очень глубоко встревожен. Я подумала, что получил плохие вести из деревни и спросила об этом. Ответил: «Да, получил». Потом долго сидел на диване, не раздеваясь, опустив голову и беззвучно плакал, я это видела. Повторял: «Доченька моя». Ничего толком не объяснил.

Потом неожиданно уехал в Москву, и встретились мы только в августе. В нем был неукротимый дух движения. Его естественное состояние — это постоянно быть в пути. Он рассказал, что ездил в Тотьму. Показывал письма, вспоминал, как гулял с дочкой, водил ее за малиной. Признавался, что быстро влюбляется и порой быстро охладевает. Говорил, что мы с ним, видимо, так и останемся на всю жизнь только друзьями. Нервничал все больше, обижался, что к нему много ходят — и всегда с вином! — мешают работать. Несколько раз даже обрывал звонок. Часто приходил работать ко мне.

Приезд Д... был для меня неожиданностью. Думаю, для Рубцова — тоже. Не знаю, как они встретились, но знаю, что она спрашивала адрес Рубцова в писательской организации, чтоб пойти к нему самой, разыскать. Однажды я присутствовала на обсуждении ее стихов и впечатление сложилось тяжелое. Прежде всего от личности автора. Выпирала какая-то животная страсть. Любовь сводилась к забавам под стогом. Пошлым все это показалось. Странно выглядела и привязанность к хищным животным. Она заявила: «Люблю волков». Многие не поддержали такой лирики. В том числе и Рубцов. Он содрогнулся, когда услышал: «Чужой бы бабе глотку перегрызла». Инстинкт, а не разум. Тогда Рубцов сочинил на эти стихи эпиграмму «Люблю змею». Где описал безобразие форм пресмыкающихся и закончил: «О, господи, ведь я сама такая».

Миша Колябин скосил глаза на Д... Та сидела в красных пятнах, и он почувствовал ее негодование и представил, как хотелось бы ей сейчас броситься на обидчицу и, может быть, «перегрызть глотку».

Но свидетельница как ни в чем не бывало вела свою линию: — В январе семидесятого я была у Рубцова последний раз — он не разрешил мне войти в комнату (видимо, присутствовала женщина. Было слышно, как шелкнула задвижка в ванной). На столе виднелось сухое вино и конфеты. Значит, мой визит был некстати. Тогда я сказала, что больше не приду. Понимала, что он попал в грязные руки, но как остановить — не знала. Надеюсь, что вернется в свою деревню, к любимой дочери. Ко мне приходил все реже, но приходил. Был грустным и задумчивым, правда, приглашал к себе и меня. Но я уже не могла, как прежде, дружить с ним. Однажды на писательское собрание они пришли вместе. Тогда я узнала, что Д... переехала к нему. Для меня это было кошмарным сном. Я предвидела страшную развязку. Рубцова надо было любить, знать особенности характера, здоровья, а эта женщина со своей извращенной натурой искала для себя выгоду, славу и забаву. Каждый Новый год мы с ним встречали вместе. Знала, чувствовала, что в этом году он уже не придет. Чтобы как-то напомнить о себе, о нашей прошлой большой дружбе, которая могла бы перерасти в сильное чувство, — послала новогоднюю открытку. Сама не знаю почему, но закончила ее словами: «Береги свою голову, пока не поздно». Видимо, это было предчувствие беды. Понимала, что он попал в страшные руки. Все подтвердилось... К великому сожалению.

Миша Колябин с благодарностью проводил взглядом эту женщину до дверей, непременно решив в ближайшие дни найти ее и поблагодарить. На душе стало чуточку полегче. Значит, к счастью, не все вращавшиеся вокруг Рубцова люди не понимали его. Эта женщина к литературе имела очень косвенное отношение, но чувствовала, понимала, что рядом с ней не просто ранимая душа, но благородный и терзающийся человек. А то, что не могла уберечь от катастрофы, так грешно от нее многого требовать. Они, друзья, сами находились значительно ближе, и то проворонили, проинтеллигентничали. Когда надо было смело и резко вмешаться в события, только разглагольствовали, удобно это или нет; имеют ли право на такой шаг или не имеют. Вот и достукались, что на их глазах расправились с одним из самых беззащитных и достойных. Без лишних слов и сомнений. Это не простится не только преступнице, но и им. А если и оправдается со временем, то Миша-то знал: сами себя за ротозейство и безволие будут казнить до конца дней своих.

Между тем Макурин снова поднял Д... и спросил еще раз о мотивах ее агрессии:

— Вы настаиваете, что он унижал ваше человеческое «я» и достоинство как поэтессы?

— Настаиваю.

— Хорошо. Тогда я позволю себе зачитать рецензию Рубцова на вашу рукопись. Нам только что ее передали.

— Кто? — вспыхнула Д...

— Я мог бы не отвечать на подобный вопрос, но, думаю, и вам полезно знать, что на свете существуют копии. Одну из них нам передали друзья пострадавшего. Так вот как звучит этот документ: «Рецензия на рукопись Д... «Крушина». То, что стихи Надежды Д... талантливы, вряд ли у кого может вызвать сомнение. Если не сразу, то все равно ее стихи глубоко впечатляют, завладевают сердцем и запоминаются. Пусть запоминаются не всегда построчно, но в целом, как еще один чистый и взволнованный голос молодой лирической поэзии. Здесь мы имеем дело с поэзией живой и ясной, и нам предстоит только определить особенности этой поэзии. Каковы они, эти особенности? Со стороны формы, это, во-первых, полнокровность, многокрасочность, живописность стиха (мы здесь не говорим о естественности стиха, поскольку это свойство присуще любой поэзии)». Далее следует пример из ваших стихов, — намеренно опустил цитату Макурин. — «Привлекает особое внимание и нередко просто очаровывает душу удивительно емкая, своеобразная музыкальная ритмика ее стихотворений, которая придает всему творчеству Д... широкую, спокойную русскую напевность. Это легко можно заметить и по вышеупомянутым стихам и, конечно, еще по многим другим. Причем ее ритмы идут не от литературы (хотя классики и оказали на нее благотворное влияние). Ее ритмы вытекают из самой жизни по требованию души, которая их подсказывает. Что касается содержания стихотворений Н. Д..., то здесь можно отметить для начала очень человеческую, поэтическую, как говорится, простую тематику. Она пишет в основном о любви, о своей судьбе, о природе, о людях Севера... О чем бы она ни писала, ее лучшие стихи всегда отличает напряженность чувства, сила страсти, ясность настроений. Она пишет без оглядки на читателя, только потому, что не может не писать, и поэтому ее стихи звучат порой так, как будто она убеждает читателя, что об этом нельзя, невозможно было не писать...» Снова ваша цитата, — не стал читать стихи Макурин. — И далее: «таких космически-внутренних образов в стихах Д... немало. А вот деталь: поэтесса часто применяет известные по своей давности, но очень трогательные эпитеты, например, «Милый Север», «Любимый край», «Любимый

мой». Эти эпитеты написаны настолько от души, что невольно хочется вслед за ней повторять «Милый Север», «Любимый край» и даже «Любимый мой». Сказано, деталь. Но точнее было бы определить эту деталь как характерное свойство ее творчества, т. е. ласковость, очень русская открытость, доверчивость интонации. Правда, она не всегда придерживается этого тона. То и дело на страницах рукописи раздаются очень строгие, требовательные, даже грозные слова. Это уже другая песня. Но здесь тоже выражена правда чувств, правда большой и сложной судьбы. Попутно можно сделать замечание. Д... в такого рода стихах иногда чрезмерно нагнетает страсти. Таких стихов немного, но все же в качестве примера можно назвать хорошо написанное, но все же жутковатое стихотворение «Ястреб над холмами». Только не следует настаивать на этом замечании: может быть, это стихотворение по какой-либо причине дорого автору.

Кое-где в стихах Д... встречаются недоделки технического порядка. Ну, например, «Давит елке на плечи снегом». Эти мелкие замечания настолько немногочисленные, что не могут иметь значения для дела издания книжки, предназначенной для нашего издательства. Рукопись заслуживает без преувеличения высокой и благодарной оценки в смысле свежести, оригинальности, силы поэзии, и такие стихи надо читать и печатать, как можно больше и доброжелательней». Подпись Н. Рубцов. 12 ноября 1970 года.

Макурин закончил чтение и воззрился на Д...

— Ну, как?

— Я вас не понимаю, — растерялась она.

— А я — вас. Вы утверждаете, что Рубцов унижал в вас поэтессу. Но когда унижают, таких слов не пишут.

Д... молчала.

— Почему вы скрыли от следствия этот документ?

— Это документ литературный, не для разбирательства по делу об убийстве.

— Но когда вам надо было опорочить пострадавшего, представить пьяницей, вы с удовольствием и умением цитировали его эпикурейские стихи, где течет вино, смеются женщины, цветут розы. И пытались эту художественность выдать за элементарную человеческую сущность. Вы даже невинную «Шутку» пристегнули к делу. Я помню ее наизусть:

Мое слово верное

прозвонит!

Буду я, наверное,

знаменит!

*Мне поставят памятник
на селе!
Буду я и каменный
навеселе!...*

— Огрубляете и упрощаете сложность ситуации.— Д... пошла в атаку.

— Мы для того здесь, чтоб во всем разобраться.

Макурин попросил ввести в зал бывшего мужа Д...— Александра Ильича Жарковского, вызванного в суд из Воронежа, где начинала литературную деятельность подсудимая. Она забеспокоилась, повернулась к входной двери и, как показалось Мише Колябину, даже зарделась. Долго не отворялась дверь, словно свидетель где-то потерялся, но потом все же зашел — тихий, невысокого роста, в очках и мятых брюках. Он поздоровался с Д... и задержался на какое-то время у ее барьера, неслышно шевеля губами, видимо, что-то говоря. Но председатель суда требовательно попросил его к столу, и он, сбившись и растерявшись, как-то боком протопал к указанному месту.

Говорил Жарковский глухо, но грамотно, иногда приглаживая темные вьющиеся волосы. В недлинных паузах интеллигентно покашливал, за что мягко и деликатно извинялся. Его попросили рассказать прежде всего о подсудимой и своих с ней отношениях, и он с удивительной точностью, даже скрупулезностью, восстановил картину прошлого. Видимо, очень усердно готовился к суду:

— Познакомились в Воронежском Союзе писателей на чем-то обсуждении в шестьдесят первом году. Она работала библиотекарем. Стали встречаться. Сначала на обсуждениях. Встречались довольно долго. С мая шестьдесят третьего года отношения стали близкими. Она была женщиной. С кем жила до меня — не знаю. Потом решили упорядочить наши отношения. Большая инициатива была с ее стороны. Я согласился жениться на ней, несмотря на противодействие моих родителей. Первого августа нас зарегистрировали. Жить стали на частной квартире. Я учился в инженерно-строительном институте. В интимном отношении друг друга устраивали, но Надежда была, безусловно, темпераментнее меня. Родилась дочь от совместного брака. В Вельске, в доме родителей, куда жена уехала после того, как вышла в декретный отпуск. Двадцать седьмого декабря я защитил диплом, а тринадцатого января шестьдесят шестого года меня призвали в армию. На период службы я перевез Надежду в Вельск. Служил один год, мы переписывались. В июле шестьдесят шестого года я

приезжал в Воронеж, т. к. получил сообщение о болезни матери...

«Этот вызов тебе устроили знакомые врачи матушки», — подумал Миша Колябин, почему-то сразу почувствовав неприязнь и недоверие к этому напуганному «тихарикау». Как это делается, он в армии изучил...

— ...Позвонил жене, что нахожусь в Воронеже, и Надежда с дочерью прилетели в Воронеж. Я прожил дней пять, затем вернулся к месту службы, а она в Вельск, к родителям. Из армии я демобилизовался двадцатого декабря шестьдесят шестого года, устроился на работу, нашел частную квартиру. В феврале шестьдесят седьмого года привез в Воронеж жену. Дочь пока осталась у ее родителей. Надежда долго не могла устроиться на работу, и я в грубой форме упрекнул ее за это. Она устроилась. Писала стихи. Лирические. Стали появляться и философские, писала и интимно-лирические.

«Ну, теоретик, — насмешливо подумал Миша Колябин. — Где ж такому бестолковому мозгляку с таким гренадером справиться», — и он перевел взгляд на Д..., сидевшую основательно и спокойно на своей скамейке. Она, похоже, не сомневалась, что этот ничего ненужного не скажет, хотя когда-то и бросила его, оскорбила...

— ...Семейная жизнь не была хорошо налажена, так как мы жили на частной квартире. Жена считала меня — и правильно, наверное, — несамостоятельным, выражала недовольство нашей жизнью. С работы я приходил поздно, будучи мастером на стройке. По своей натуре я нервный человек и, придя с работы, не имел иногда желания на интимную жизнь. И хотя мы жили без ссор и скандалов, я иногда чувствовал, что не устраиваю ее как мужчину. Я это понимал, и это задевало мое самолюбие, хотя Надя прямо мне никогда об этом не говорила. Обстановка в семье была напряженной. А тут, в июле шестьдесят седьмого года Надежда по путевке поехала в трехдневную поездку на Соловецкие острова. Взяла еще неделю за свой счет. Поехала без меня. Я отпускал ее с неохотой, выразил недовольство. В этой части у нас было непонимание друг друга. К тому же нам предложили уйти с этой квартиры и искать новую, потому что привезли дочь, и хозяева взбунтовались. Хотя дочь приводили только на субботу и воскресенье. Нас перестало тянуть друг к другу. Дело шло к разрыву. Совместная супружеская жизнь была в тягость.

«О ребенке, конечно, ни один из вас не подумал, — мысленно съязвил Миша. — Что ж, это у вас запросто. Все думы и заботы прежде всего о себе...»

— ...В конце концов,— заканчивал Александр Ильич Жарковский,— восьмого января 1968 года я ушел и не вернулся. Жить стал у родителей. Попыток сойтись не было. Хотя встречались в городе и разговаривали. Давал по тридцать рублей ежемесячно, потом уехал на целину, Надежда — в Вологду.

— Семейные скандалы были? — спросил председатель Макурин.

— По-моему, никто от них не застрахован,— философски заключил Александр Ильич и робко поправил очки.

— Агрессии со стороны жены наблюдались?

— Такого не случалось. Она очень ранимая душа. Любит животных, всяких кошек, щенков подбирала на улице, приносила домой, отмывала, откармливала.

— Это мы знаем, знаем,— поморщился Макурин.— А человека убила... Как вы расцениваете такой факт?

— Не знаю, что сказать. Наверно, он для нее оказался непосильным. Или чрезмерно невозможным. Так, Надя, да? — повернулся он к бывшей жене, ища у нее ответа.

— Вы разговариваете с судом,— напомнил ему председатель,— а не с обвиняемой.

— Да, да,— поспешно повернулся Александр Ильич.— Простите...

— Что вы можете добавить к сказанному?

— В семье мы говорили друг другу только правду, прошу верить ей и здесь.

— А почему вы решили, что мы неверующие?

— Мне хочется помочь ей. У меня нет на нее обиды,— и он ушел так же тихо и скомканно, как появился.

Миша Колябин проводил его полупрезрительным взглядом и подумал, что не лишка тот материала добавил для выявления истины. Хотя какой-то штрих, безусловно, внес.

Жальче всех было отца и мать, приехавших на суд дочери и дававших сбивчивые — порой со слезами — показания.

— Примерно в июне семидесятого года дочь сказала, что в Вельске Рубцов, и хотела с ним познакомиться,— неторопливо и с достоинством говорил отец Д..., высокий и прямой старик с седыми висками и морщинистым чисто выбритым лицом.— Но я ответил, что незаконного мужа видеть не желаю. Жаловалась, что грубит, просила съездить вместе с ней в Вологду, забрать у него вещи, которые он якобы не отдает, держит, чтоб она не покинула; но я сказал: на это есть милиция; попроси участкового, он сходит с тобой и все твое тебе вернется. Так и не поехал. А теперь жалею!

А мать, совсем сторбленная усохшая старушка, в темном плат-

ке и таком же темном жакете и длинной юбке, поминутно всхлипывая и утираясь платком, торопливо и сбивчиво, непрестанно оглядываясь на дочь, частила:

— У меня четыре дочери — Надежда вторая. После Ленинградского библиотечного института была направлена в Воронеж. Там вышла замуж. Но не пожилось с мужем, хотя и тихий был. Вот и улетела в Вологду за своей судьбой. Говорила, что хочет выйти за Рубцова, в гости привезла в Вельск. Был он у нас дома, пока отец отъезжал по делам. Встретила я его как товарища по работе, так как оба писали стихи. Я не видела, чтобы он избивал ее, но внучка Оля рассказывала, что Рубцов бросался посудой. Уж какой — не знаю. Надя у меня здоровая росла, никакими психическими болезнями не болела, но была вспыльчива, неуравновешена. Может, потрафить бы лишний раз — обошлось бы... Да теперь что говорить... Одно прошу: пожалейте вы ее. И нас, стариков, пожалейте. И дочь ее малую. Каково ей теперь будет без матери-то?.. Сколько сможем, мы еще потянем, но долго ли... Пожалейте, ради бога, — и она снова заплакала, и девушка — секретарь суда осторожно повела ее из зала.

И все-таки на прощание старушка сумела уцепиться за протянутую из-за барьера руку дочери, ткнулась в нее дрожащими губами, обессиленно затряслась легким телом, не сумев проглотить нахлынувших рыданий.

Милиционер принялся помогать девушке-секретарю и подхватил старуху под второй локоть, но она, заламывая назад голову и освободив правую руку, успела через сержантский погон перекрестить дочь и только после этого, вконец убитая и обезволенная, свалилась боком на неухоженную учрежденческую скамью и безжизненно свесила растрепавшиеся седые космы.

Д..., не выдержав этой сцены, обвело и потерянно рухнула на место всем своим большим орыхлевшим телом. От независимой, даже несколько вызывающей осанки ничего не осталось. Она прихлопнула вспотевшими ладонями мутные, невидящие глаза и, оперевшись локтями в широкие бедра, безутешно и бесконтрольно заплакала.

Миша Колябин глянул на ее согнутую вздрагивающую спину, на обвисшие и словно пригасшие волосы, и нечто схожее с жалостью шевельнулось внутри и замерло. На какое-то время затмилась и отодвинулась тоска и горечь по утерянному другу; но когда сквозь безнадежные полудетские всхлипы прорвались несдержанные рокочущие звуки бессильной и утробной неженской ярости, он словно очнулся и беспокойно закрутил головой, вперив глаза в председателя Макурина: мол, что же здесь происходит, — суд над убийцей или плач по несбывшимся надеждам.

Председатель Макурин почувствовал сам: пауза затянулась, и, принужденно кашлянув, поправил массивные очки.

— Довольно слез, подсудимая, — негромко, но внятно приказал он. — Вы просили суд вызвать для дачи показаний свидетеля Голубя.

— Да, — выдохнула еле слышно Д... — Просила, — и лицо ее, непросохшее и распаренное, ожидающе подалось навстречу председателю Макурину.

— Сообщаю, — бесстрастно продолжал тот, — что журналист Голубь, снявшись с партийного учета и уволившись из радиокомитета, сменил место жительства, выбыв из города Вологды. Местонахождение его пока не установлено.

— Но он же обещал! — невольно вырвалось у подсудимой.

Чуткое ухо Макурина не пропустило мимо этот отчаянный возглас:

— Что обещал вам Голубь?

— Поддержку...

— Какую поддержку: материальную, духовную? Когда обещал?

Поняв, что вызвала у судьи нежелательные вопросы и подозрения, Д..., окончательно овладев собой, заявила:

— Снимаю просьбу о вызове Голубя.

— Пожалуй, так будет лучше, — заверил председатель Макурин.

— Нет смысла откладывать слушание дела из-за одного неявившегося свидетеля. Тем более, их у вас более чем достаточно.

Председатель Макурин намеренно выдержал паузу, чтобы его слова усвоились всеми, и спокойно добавил, коротко глянув в сторону Миши Колябина:

— Во всяком случае, больше, чем у пострадавшего...

Колябин опустил глаза. Его больно кольнули эти справедливые слова. Но кто знал, что так все обернется? Непонятно порой, кого судят: то ли убийцу, то ли убитого. Вон опять какая-то словоохотливая тетя в толстом пуховом платке клеймит Рубцова, будто он только и делал, что наскикивал на бедную Д... то с ножом, то с молотком, и все угрожал, угрожал ей расправой.

— Однажды мне Надя сказала, что раньше весила восемьдесят семь килограммов, а после того, как стала жить с Рубцовым, похудела до восьмидесяти. Не шутки: на семь кило сбавила, — и тетя обиженно поджала накрашенные губки.

Председатель Макурин слабо отреагировал на показания последней свидетельницы, а между тем достал из папки стандартный лист бумаги и повернулся к Д...:

— Вы работали в Подлесской библиотеке?

— Да,— ответила подсудимая, вставая.— Работала.

— Как вы оцениваете сами свою работу?

— Добросовестно исполняла возложенные на меня обязанности. У вас есть характеристика оттуда.

— У меня есть не только оттуда,— спокойно сообщил председатель Макурин.— Вот мнение зав. отделом культуры Вологодского райисполкома Цветковой: «...К работе относилась недобросовестно. В отчетах давала ложные показания по читателям и книговыдаче. Систематически не являлась на семинары, имела за это выговоры. В библиотеке всегда был беспорядок: кругом грязь, книги раскиданы. Из наглядной агитации ничего не было оформлено. На замечания инструктирующих лиц не реагировала» и так далее. Как вы к этому документу относитесь.

— Умышленный наговор!

— В чем же злой умысел?

— Ей надо потопить меня.

— У вас были враждебные отношения с зав. отделом культуры?— поднял брови председатель Макурин.

— Это у нее со всеми враждебные отношения,— начала распалаться Д...

— Вы рискуете оказаться клеветницей,— предостерег Макурин, и Д... утихомирилась.— Зачту еще одну характеристику,— достал следующий лист председатель Макурин.— Это из библиотеки Воронежского государственного университета: «Углубленная в себя и крайне экзальтированная... Не однажды высказывалась о стремлении испытать все ощущения. С одной стороны — натура поэтическая, с другой — настойчивая и даже упрямая, В оценках людей была очень субъективна, могла поэтизировать очень плохого человека и наоборот. В общении характер неплохой, но среди коллектива библиотеки друзей не имела. Внешне человек неаккуратный и порой неряшливый, но очень ценящий внутренний мир. Производила впечатление общей несобранности. Вспыльчива. Однажды ударила читателя книгой по голове...» Что скажете, Д...? И это наговор? — устремил Макурин взгляд на подсудимую.

— Против этой характеристики возражений не имею,— не замедлила откликнуться она.

— Ах, наконец, не имеете,— протянул насмешливо председатель Макурин.— И на том спасибо. Есть вопросы? — обратился он к заседателям, но те по обыкновению только покачали головами, осуждающе и молча глядя на преступницу.

«Никакого покаяния,— размышлял Миша Колябин.— Да случись такое с нормальным человеком, кажется, сам бы — добровольно — заковал себя в кандалы. Глаз не поднял, голоса не

обнаружил, со стыда и горя сгорел: человека жизни лишил! А эта барахтается, изворачивается, невинных людей втягивает в гнусное дьявольское дело... А Голубь-то... Хорош! Смотал удочки — и будьте нате! Где-нибудь сейчас потихоньку пописывает свои репортажики о передовиках серпа и молота... Только под свежим псевдонимом. И никаких проблем. Он свое дело сделал. Причем — чужими руками. За решетку пристроил дуру, а с самого — взяты гладки. Можно затевать новую аферу. Тем более, эта благополучно сошла с рук. Таких идиотов, как Д..., на его век хватит...»

Ужасало больше всего то, что о Рубцове говорили как о заштатном мужичонке, который был не прочь тяпнуть лишнюю рюмку, обидчика облять матом и в ухо заехать прислучае. Даже бабе.

Миша понимал, что перед законом равны все. Но выявление истины требует неперемного учета не только социальных особенностей и различий, но и физических, и психологических, и умственных, и духовных. Усредненность, а тем паче нивелировка, стрижка под одну гребенку, не только упрощает, но и губит дело.

Поэтому Миша Колябин в перерыве подошел к Гете и зашептал горячо и нервно, сбиваясь в словах от переполнявших волнения и несогласия:

— Смотрите, что происходит... Только вы можете, должны... Имея на то полное право... Как жена, как мать его ребенка... Сказать о Николае, что он никакой не злоумышленник, а жертва. Он же никого никогда пальцем не трогал. В конце концов, он поэт, а не какой-нибудь вахлак. Нельзя же допустить, чтоб так изгалялись над его памятью... всякие ничтожества.

— Да я говорить-то не горазда, — пожаловалась она.

— Но больше некому, — почти взмолился Колябин. — Скажите хотя бы то, что я прошу.

— Ладно, попробую, — покорно согласилась она.

И попыталась. Но тут же защитница, рослая и подтянутая смуглолицая женщина, возразила:

— Мы разбираем дело не поэта, а гражданина Рубцова.

И Гета смялась, покраснела и беспомощно заозиралась по сторонам.

«Но, когда вам надо опорочить этого гражданина, вы пользуетесь его стихами», — хотелось крикнуть Колябину; но он был лишен права голоса и мучился от этого невероятно. Посмотрел жалостно на незаконную жену Рубцова, на ее широкое, несколько забитое лицо, вспомнил слова друга и подумал: «Ему, правда, не с кем было поговорить в своей Николе».

Чем дольше слушал Колябин показания свидетелей, тем меньше узнавал Рубцова; оказывается, это был совершенно другой человек: агрессор, дебошир, пьяница, домостроевец...

«Неужели для того, чтобы смягчить участь преступницы, необходимо столько помоев вылить на голову зверски погубленного человека? — размышлял Миша. — Где же та нравственная грань, которую так легко и немислимо преступить. И что же в таком случае — истина?»

Более всего удивлял натиск защитницы Федоровой, крепко сбитой женщины, с хорошо поставленным голосом. Неприятие Рубцова ею объяснилось позднее: она трижды выходила замуж, и все неудачно. Попадались то блудники, то выпивохи; она отчаялась и обозлилась на весь мужской род, мстила ему, как могла, и никакой пощады теперь не давала. Рубцов не был исключением. Так или иначе, а с этой фигурой вроде все понятно. Станным и непонятным было другое: как же бывшие приятели Рубцова, заискивавшие перед ним, пившие его питье и не брезговавшие его закуской, могли дойти до низости такой, что оговаривали покойника напрапалую. Как это-то назвать? Трусость? Но им ничего не грозило. Они не убивали и не избивали, и в тюрьму их никто не собирался сажать. Скорее — обыкновенная непорядочность. Суд закрытый, и есть надежда, что все сказанное в нем уйдет в небытие вместе с благополучно законченным делом. Никто, конечно, не подозревал, что Колябин, пристроив на колене блокнот, фиксирует не только каждое слово, но и каждый жест, чтоб со временем вырисовалась и выстроилась картина необычного разбирательства.

Колябин впился глазами в выступавшего теперь свидетеля Заумкина, тихого и перепуганного человека, который, казалось, мать родную не пощадил бы, только б самому выкарабкаться из этого дела чистеньким. Он работал в партийной газете — были причины печься о своей репутации:

— Точно не могу сказать, трезвый был Рубцов или выпивши. Но вообще-то Рубцова трудно было встретить трезвым. При нашей последней встрече именно он подал мысль выпить. Кто-то из наших ребят сбежал в магазин и купил пол-литра водки, а для Рубцова — бутылку красного вина. Водку обычно Рубцов не пил, а употреблял красное вино; преимущественно низших сортов.

«Какой скот! — выругал про себя Заумкина Миша Колябин. — А ты пьешь только — высших? Кто тебя за язык-то тянет — такую гадость нести? И какое отношение имеют к делу твои умозаключения?»

Между тем, поправляя галстук и нервно потирая подбородок, тот продолжал:

— И на этот раз Рубцов остался верен себе и пил из бутылки, прямо из горлышка, красное вино. Когда мы кончили выпивать, в шахматный клуб, где это происходило, зашла Д... Она звала Рубцова с собой. В ресторан с нами идти отказалась. Я спросил Рубцова, почему он не зовет ее с собой, тогда Рубцов ответил, что она плохо одета. После ресторана Рубцов предложил поехать домой на такси, а так-то мы собирались разойтись по домам. Мы довезли его до дому, стали рассчитываться с шофером. В это время Рубцов пригласил к себе, предложил посмотреть недавно полученную квартиру. Мы согласились и вошли. Он достал бутылку или две красного вина. Мы понемногу выпили и посидели. Хозяин взял в руки гармонь, стал играть. Кто-то из нас запел. Рубцов закричал на него и выгнал из квартиры. Я заметил Николаю, что он поступает нехорошо, выгоняя гостей. После этого Рубцов и мне предложил покинуть квартиру. Я ушел. В доме остались трое: Рубцов, Д... и Терешков. Уходя, я заметил, что вино еще осталось. При мне Д... не выпивала и была трезва. С Рубцовым я встречался не особенно часто и преимущественно в деловой обстановке. Необходимо отметить, что пострадавший злоупотреблял алкоголем. Даже в нашу газету приносил стихи в нетрезвом состоянии.

«Да я тебя самого сколько раз встречал на работе кривым»,— зло посмотрел Колябин в сторону Заумкина, который, однако, речь свою не закончил.

— ...Мне доводилось бывать и на писательских собраниях, и там я замечал нездоровый блеск в глазах Рубцова. Только один раз он был абсолютно непорочен: когда пришел туда вместе с Д... Нетрезвому ему была присуща мания величия. В эти минуты он мог кого угодно оскорбить, и незнающий человек мог на него обидеться, уйти от него. Мне рассказывали, как однажды, в пьяном угаре, он заявил: «Есть два хороших поэта — Пушкин и Есенин, но Рубцов выше их».

«Да ты еще и сплетник! — посочувствовал Колябин свидетелю. — А что балбес — ясно давно».

— Трезвым Рубцов совершенно преображался, — заканчивал Заумкин. — Становился скромным, малоразговорчивым, вежливым. Вот и все, что могу пояснить...

— Вы свободны, — сказал председатель Макурин, даже не посмотрев свидетелю вслед.

Зато Миша Колябин проводил его холодным и презрительным взглядом.

Все вызванные были опрошены. Показания их мало чем отличались друг от друга, и Миша ждал речей прокурора и защитницы.

Но прокурор удивил и разочаровал Колябина. Вместо того, чтобы выдвигать и обосновывать обвинение, он внушал подсудимой, разведшейся с первым мужем только потому, что тот не сумел вовремя обеспечить квартирой, — что так поступать нехорошо. Блюститель закона доказывал, что в таких случаях надо настойчивее добиваться жилья. И собственные мысли для большей убедительности подкреплял народной мудростью: «Не зря сказано — под лежащий камень вода не течет».

Потом он почувствовал необходимость по-отечески пожурить молодую женскую неосмотрительность и нетерпеливость и опять прибег к спасительному фольклору, огласив другую пословицу: «Был бы милый по душе, проживем и в шалаше». Прочитывая и, похоже, остался доволен своей неувядающей памятью.

Иногда, правда, вспоминал, что он все-таки обвинитель, и, спохватившись, начинал повышать голос. Но почему-то опять не на подсудимую, а на вологодских писателей, которые, по его мнению, недостаточно строго воспитывали Рубцова, и обязанности воспитателя пришлось взять на себя рабочему классу (он имел в виду соседа, жившего под Рубцовым, который приходил к поэту с выговором за то, что тот однажды залил его водой...).

И все-таки прокурор понимал, что жизни-то человек лишен, а проведенная экспертиза подтвердила психическую полноценность обвиняемой. Значит, остается одно: умышленное убийство, за которое, как все понимают, дают «на полную катушку». Но здесь случай особый: убила женщина, сама явилась с повинной, искренне раскаялась, преступление совершила впервые, ранее не судима, имеет малолетнего ребенка и престарелых родителей...

И обвинение прозвучало так: умышленное убийство безотягчающих обстоятельств. Поэтому из общего количества причитающихся лет выбрали семь, осталось — восемь.

Но защиту не устроила даже такая мягкость, и она продолжала свой натиск. Однажды заявив, что в суде говорится не о поэте, а о гражданине Рубцове, она прибегла к двусмысленному цитированию его стихов, опубликованных в посмертных подборках местными газетами:

*В твоих глазах —
Любовь крошечная,
Немая, дикая, безгрешная!
И что-то в них
Религиозное...
А я — создание несерьезное —
Сию же минуту,
За грешным вермут,*

*Молчу, усталость симулирую...
— В каком году
Стрелялся Лермонтов?
Я на вопрос не реагирую!
Пойми, пойми
Мою уклончивость,
Что мне любви твоей
Не хочется,
Хочу, чтоб все
Скорее кончилось!
Хочу! Но разве
Это кончится?..*

— Чему могут научить такие стихи подрастающее поколение? — следовал риторический вопрос.

«А что, все поэты должны писать только для подростков? — хотелось крикнуть Мише Колябину. — И обязаны только учить, поучать, наставлять? А чему в таком случае могут научить хрестоматийные:

*Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу будет веселей.*

Миша понимал, что громогласная дама так просто своих позиций не сдаст. И еще придется суду позаниматься ее кассациями... Это подтвердилось, когда Колябин добрался, наконец, до дела № 3456. Но много прошло времени, прежде чем удалось до него добраться...

Директриса областного архива, поджарая пожилая женщина с худым, серым и скуластым лицом, неприязненно посмотрела на него сквозь мутные очки и сухо отрезала:

— Это дело у нас, но мы его никому не выдаем.

— Даже близким людям?

— А при чем тут это? Суд был закрытым, папка лежит в секретном сейфе.

— Я был участником суда, — не сдавался Колябин.

— В каком смысле? — директриса холодно посмотрела на Мишу.

Он предчувствовал это сопротивление, поэтому явился в хорошо отглаженном строгом костюме, постриг бороду у знакомого парикмахера, сделал укладку. Так что волосы не топорщились,

как обычно, а прилегали волосок к волоску. Темно-вишневый галстук был аккуратно завязан младшим братом Игорем, большим специалистом в этой области, и подпирал стоячий воротничок накрахмаленной рубашки.

— Я был командирован в суд партийной газетой,— пояснил Миша.— В деле наверняка подшита моя командировка. Проверьте,— и он посмотрел прямо в переносицу неуступчивой даме.

— Все равно без разрешения УВД не имею права,— не сдавалась директриса.

— Хорошо,— согласился Колябин,— я принесу разрешение, а вы тем временем проверьте, что я говорю правду: в папке есть моя командировка!

— Посмотрим...

Разрешение ему дали в тот же день. Но настырная сухопарая служительница Госархива потребовала разрешение председателя суда.

Колябин не выдержал:

— Пожалуйста, скажите сразу, какие бумажки потребуются еще. Я захвачу по пути. А то вам, кажется, понравилось гонять меня по городу из конца в конец.

— Если вам трудно, я не настаиваю. Но документ выдать не смогу,— бесстрастно сообщила директриса.

— Мне не трудно взять еще одну бумажку. Макурин даст. Но что бы вы делали, если б он вдруг уехал из города? Или, не дай бог, умер?

Директриса захлопала короткими ресницами за стекляшками очков и не нашлась, что ответить.

Председатель Макурин расхохотался, когда Миша расписал эту сцену.

— Да что она там?! Совсем очумела? Может, родственница или подруга убийцы? Ведь возможно и это...— и шлепнул печать на разрешение.— Понадобится какая помощь — приходите. Только не заводите больше старую деву,— предупредил он.— А то воздвигнет новые препоны. Это не дама, а дамба!

Наконец Колябина провели в тесную, плохо освещенную комнату с зарешеченным окошком и достали из тяжелого серого сейфа толстую — в черном дерматине — папку.

— Читать только здесь. Выписок не делать,— приказала директриса.— Закончите работу, сдадите нашему сотруднику,— она кивнула в сторону молодой румянощекой девушки, сидевшей за барьером у окна и перебиравшей какие-то бумаги.

Пока Миша усаживался за стол, включал настольную лампу, директриса внимательно и терпеливо наблюдала за ним, но, поняв, что Колябин уже забыл о ней, недовольно отвернула голову, сказала девушке:

— Под твою ответственность! — и решительно удалилась. Сердце гулко колотилось, и Колябин слышал его удары настолько явственно, что пугливо посмотрел на девушку. Та истолковала это по-своему и успокоила:

— Читайте спокойно. Она больше не придет.

— А вы сами читали? — настороженно спросил Колябин.

— Немножко...

— Что ж так?

— Не смогла больше. Жутко... — откровенно призналась девушка и передернула плечами.

— Вас как зовут?

— Нина.

— Так вот, Нина. Я многое потом объясню вам. Но вы должны помочь мне подробнее ознакомиться с этой папкой. Тут за один день не управисься.

— Теперь вы можете брать в любое время. У вас же допуск. А что от меня зависит, — я пожалуйста...

— Тогда будем дружить, — с надеждой прошептал Колябин и подмигнул Нине.

Вдверь без стука вошла какая-то женщина, осмотрела внимательно Колябина и спросила у Нины несколько канцелярских скрепок.

«Шпионит, — невольно подумал Миша. — На верняка подослала директрисой». Он не проявил никакого интереса к пришедшей, хотя топталась та долго.

«Дело № 3456 по обвинению Д... Н. А. по ст. 103 УК РСФСР, начато 19 января 1971 года, окончено 19 марта 1971 года», — прочитал он на корочке и открыл первую страницу. Протокол осмотра. Мл. юрист Меркурьев на основании сообщения из Вологодского ГО. С соблюдением ст. 179—189 УПК РСФСР произвел в присутствии Гончарова Владимира Ивановича и Бекбулатова Алексея Унгаровича, проживающих: Вологда, ул. Гагарина, 3, кв. 13, осмотр места происшествия — трупа Рубцова Н. М.

Осмотр производился с 5 до 8 часов при искусственном освещении. Произведенным осмотром установлено: кв. 66, дом № 3 по ул. Яшина г. Вологды расположена на 5 этаже кирпичного дома. Квартира, в которой проживал гр. Рубцов, однокомнатная. В прихожей на левой стене вешалка, на ней висят два пиджака темного цвета, мятые. В карманах пиджаков ничего не обнаружено. Двери из прихожей выходят: правая на кухню, прямо — в комнату. Комната размером 5 м 60 см на 2 м 80 см. В нише шкафа в беспорядке набросана одежда: мужская и женская. В комнате по южной стороне стоит кровать-топчан, не заправлена. При осмотре постельного белья ничего существенного для дела

не обнаружено. Под подушкой найден осколок граненого стакана. Стол перевернут так, что лежит на боку и ножки направлены в сторону входной двери. В пространстве между поверхностью стола и стеной находится битая посуда (тарелки, мокрые сигареты, зеленые помидоры). Здесь же лежит эстамп с изображением Гоголя, расколотая пополам икона Николая-чудотворца («вот-как даже!...»), пепельница. Рядом со столом стоит стул, на нем пиджак темно-серого цвета. В кармане пиджака обнаружены удостоверения члена Литфонда и члена Союза писателей СССР на имя Рубцова Н. М. На балконе снежный покров не нарушен. («Значит, он не выходил туда...») В углу стоит металлическая лопата и 18 бутылок из-под кефира и 3 из-под вина. Труп спиной обращен вверх. На трупе рубашка коричневого цвета, темные брюки. Под головой белого цвета пододеяльник, грязный. На поверхности пододеяльника пятна бурого цвета, похожие на кровь. Во время осмотра труп был перевернут. При осмотре установлено: на горле трупа имеются множественные царапины. Трупные пятна имеются на животе, лице. Трупное окоченение выражено хорошо. При надавливании трупные пятна восстанавливают окраску через 1,5 минуты при осмотре в 6 часов. На правом и левом локте имеются ссадины. На кухне тоже обнаружены бутылки из-под сухого вина, «Шампанского». Во время осмотра производилось фотографирование фотоаппаратом. ...С места происшествия изъяты документы Рубцова, письма, 2 фотографии. Труп направлен в морг для судебного исследования. Замечаний и заявлений от понятых не поступило. Протокол прочитан, записано правильно. Дальше — роспись понятых и следователя.

Колябин был настолько оглушен ледяным тоном справки, что, прочитав, глубоко и громко вздохнул,— перевел дух. Он даже не заметил и не услышал, как вышла подосланная директрисой сотрудница. В голове шумело, и перед глазамиплыли какие-то волокна то ли сизой воды, то ли тумана, и нужно было переждать, чтобы зрение приобрело прежнюю устойчивость и остроту.

«Вот наша жизнь...— подумалось горько.— Пока из темноты выбрался, из горя и грязи, потом мыкался, по частичкам собирал себя, строил... Все стены собственным лбом прошиб, никто не помогал, вырвался на простор, вдохнул воли и света — и снова в темноту, теперь уже вечную...» И словно подтверждая печальный вывод, на следующих страницах перед глазами Колябина предстала серия страшных, разрывающих сердце фотографий, снятых дотошными экспертами. Сначала общий план комнаты, с перевернутым столом и стульями, с перебитой посудой и валяющимся эстампом и лежащей на полу фигурой Рубцова. Следом подклеена фотография одного, уткнувшегося в пододеяльник

Рубцова — отдельно. Ее Колябин рассматривал особенно долго и внимательно.

Николай Михайлович лежал ничком, подобрал под себя руки и спрятал их где-то под грудью. В знакомой коричневой рубашке, которую они вместе выбирали для него в детском универмаге. (Рубцов был настолько художав, что часто покупал одежду в детских магазинах, где, кстати, она и стоила вполновину дешевле).

Темные брюки подпоясаны узким ремешком, измяты и неухожены, хотя именно за этой частью туалета бывший матрос Рубцов особенно тщательно доглядывал. Штанины сбились выше щиколоток, и видными оказались худые, но жилистые ноги. И что особенно поразило и расстроило Колябина, так это то, что покойник большим пальцем правой ноги с упругим усилием уперся в пол: видимо, пытался встать, стряхнуть с себя убийцу, когда понял, что его не пугают, а душат насмерть. Да так и застыл, с упертым в пол большим пальцем правой ноги. Значит, оставили силы к тому времени. Не думал, не верил, не хотел верить, что на него навалилась гибель.

«И умер-то из-за любви,— обреченно подумал Колябин.— Если бы сомневался, предполагал коварство,— поосторожничал бы, раньше сбросил с себя. Да просто не дал бы сронить... Всю жизнь от доверия да великодушия страдал... А они, злыдни, знают слабые стороны наши и на них строят политику...»

Две следующие фотографии оказались еще страшней. Сняты были крупным планом лицо и горло, когда Рубцова перевернули на спину. Голова завалена на бок, под носом и вокруг рта запекшаяся кровь, безжизненно провалившиеся щеки зримо подчеркивали природную худобу и уязвимость.

Отдельно и укрупненно заснято истерзанное горло. То самое, которое Рубцов заботливо и суеверно прикрывал при ходьбе упрямым подбородком и кутал в неизменный мягкий шарф, словно боялся, что огрубеют простуженные или обожженные морозом голосовые связки и не так легко и чисто зазвучат разлюбленные — под гармонь — старинные протяжные песни. На этом самом горле Колябин увидел не царапины, как значилось в протоколе осмотра старшего следователя Меркурьева, а глубокие бурые борозды, пропаханные острыми звериными когтями. Колябин представил на мгновение сильные и цепкие руки Д... — и с ненавистью подумал: «Эта с медведем справится».

Дальше следовал протокол допроса убийцы. Кое-что было новым по сравнению с тем, что она говорила на суде, и Миша постарался вникнуть в текст. «...Рубцов скинул с меня одеяло: «Иди ко мне!» — потащил меня на кровать, но я вырвалась. Потом схватил в охапку и повалил на кровать. Он вырывался,

но я крепко держала. Мы оба упали на пол. Каким-то образом я оказалась наверху. Схватила его двумя пальцами за горло. Мне показалось, он сказал: «Я люблю тебя. Прости меня. Я тебя люблю». Это были три фразы Рубцова, он говорил их, а не кричал. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синее. Я отцепилась от него. Рубцов сразу перевернулся на живот, кажется, еще вздохнул, а потом затих. Увидела пятна крови на пододеяльнике, поняла, что мертв, но мне тогда все было безразлично.

В о п р о с : — Когда вы убрали стекла от битого стакана?

О т в е т : — Сразу после того, как он бросил в меня стакан. Осколки выбросила в мусорное ведро.

В о п р о с : — Зачем вы убрали с пола тряпки, которые Рубцов принес в комнату из ванной?

О т в е т : — Я сделала это чисто машинально, даже не думая ни о чем.

В о п р о с : — При осмотре места происшествия не обнаружено обгорелых спичек, которыми он якобы бросал в вас. Как это объяснить?

О т в е т : — Рубцов бросал в меня 8—10 спичек. Возможно, они рассыпались в пепел, когда сгорели.

В о п р о с : — Когда вы душили Рубцова, то отрывали руки от его горла или нет?

О т в е т : — Один раз я отрывала руку, а затем снова схватила за горло. Оно было каким-то дряблым. Я давила то ослабляя силу нажима, то усиливая.

У т о ч н я ю : Мне показалось, что после того, как я убрала руку с горла Рубцова, он сопел, вздохнул. В это время он уже перевернулся на живот».

«Вот гадина! — негодовал Колябин.— Она, оказывается, то ослабляла, то усиливала нажим. Ослабит, увидит, что не давила,— и снова давить... А еще говорит о какой-то неосознанности, случайности».

Далее шли показания соседей по квартире. Один сосед не слышал никакого шума ночью, спал хорошо. Другой слышал ночное пенье под гармонь, под него и заснул. И только нижний сосед Лукичев слышал крик: «Надя, я люблю тебя». После этого Рубцов то ли заплакал, то ли захныкал, и сразу наступила тишина. Голоса женщины не слышал. Она работала молча.

Далее следовало отдельное поручение от старшего следователя Меркурьева прокурору Вельского района Архангельской области.

В ы ы с н и т ь : — Когда Д... расторгла брак с первым мужем и почему переехала из Воронежа в Вологду?

— В связи с чем Д... отправила малолетнюю дочь на воспитание к матери в Вельск из Вологды?

— Что известно матери Д... о связи ее дочери с гражданином Рубцовым?

— Каковы были отношения Д... и Рубцова?

— Сколько раз, когда и зачем приезжал Рубцов в Вельск?

— Каковы были отношения Рубцова и Д... в период пребывания в Вельске?

— Не болела ли Д... психическими заболеваниями, и если — да, то где лечилась?

— Каковы основные черты характера Д...?

— Если сохранились письма Д... или Рубцова в Вельск, прошу их изъять и направить.

— Допросить также сестру Д... Галину Александровну.

— Подозрение, что могло быть на сексуальной почве.

— Просьба допросить бывшего мужа Д...: где познакомились, почему расторгли брак, знает ли он, где их дочь, что ему известно о жене в последний период, поддерживает ли связь, каковы основные черты характера Д... (хитрость, лживость, употребление спиртного и т. д.).

— Не послужили ли половые отношения причиной развода?

— Переписку изъять.

Такое же поручение было послано в Тотьму с просьбой допросить Генриетту Резчикову (когда познакомились, почему не зарегистрировали брак, помогал ли воспитанию дочери, сколько пил в Николе, какого поведения во хмелю. Что известно о связях с другими женщинами и т. п.).

Прилагалось и заключение медицинской экспертизы. Колябин заострил внимание на двух пунктах: «...Сам характер убийства, множественные ссадины на горле Рубцова свидетельствуют о том, что подозреваемая Д... (почему «подозреваемая», — удивлялся Миша, — если она сама во всем призналась?)» как бы рвала горло Рубцова руками.

Одновременно во время допросов у Д... происходит быстрая смена настроений: то плачет — жалеет Рубцова, то смеется и заявляет, что сделала правильно. (В момент убийства была сильно возбуждена, деталей не помнит). Все это в совокупности дает основание для сомнений в психической полноценности обвиняемой».

«Не надо быть большим актером, господа, чтоб сыграть такую нехитрую сцену, — мысленно обратился к экспертам Колябин, сдерживая поднимающуюся к ним неприязнь. — Особенно, когда на карту поставлена личная свобода. В тюрьму-то никому не хочется... — и он пытался разглядеть их лица, но они ускользали,

размывались. — А может, вы, любезные, из жалости к убийце предлагаете такой вариант? Или по просьбе Голубя и его соратников стараетесь «отмазать» «несчастную женщину»?

Эта мысль еще не укоренилась в сознании, но всплывала и тревожила все чаще и чаще.

Внимательно и не один раз перечитал Колябин показания соседки Рубцова Александры Ивановны Ледковой, которая еще на суде выделялась уверенным спокойствием и немногословием. Так же точно и скупа была она и тут:

«Женщины у него в доме бывали, но скандалов никаких не происходило. С приходом же Д... они стали почти ежедневны. И пить он при ней стал чаще. Может, она поощряла это и подогревала его слабость? Приходилось слышать голос Рубцова: «Уходи, немедленно уходи!» Но вдруг крик сменялся просьбой: «Не уходи! Ведь я люблю тебя!» Ночь на 19 января я спала хорошо, а проснулась от сильного крика: «Я люблю тебя!» Крик повторился трижды. Последний раз как бы сквозь слезы. Крик мольбы...»

Колябин представил отчетливо, до озноба, как происходило все это. «Значит, все-таки любовь завела в западню», — снова подумал он и переметнул страницу, еще не осознавая, что ищет, пока не остановил взгляд на небольшой ремарке: «Ходатайство Д...». «Ну-ко, ну-ко», — Миша, волнуясь, взгляделся в ровный и уверенный округлый почерк, которым были исписаны голубоватые аккуратные листы — «Откуда она взяла такую бумагу? Чуть не с водяными знаками. Не в каждом министерстве, наверно, могут похвастать таким дефицитом». Ходатайство приобщалось к данным ранее личным показаниям осужденной. Оно было простран- ным и продуманным. Начиналось даже с даты рождения Рубцова. «...Он был пятым ребенком в семье Рубцова Михаила Андрияновича — так он мне рассказывал сам. Когда ему исполнился один год, его отец был арестован (37 г.) как враг народа, но через год освобожден. Из своих братьев и сестер Коля очень любил самую старшую Надю. Она нянчилась с ним, но Надя умерла молоденькой девушкой от менингита, когда Коле было всего три года. («Неужели он помнит, как ее любил?» — усомнился Колябин, но продолжал чтение). В 1941 году умерла мать от водянки. Хотя Коле уже было пять лет, матери он совершенно не помнил. («А сестру помнил?» — опять не поверил Колябин). Рассказывал, как отец часто кричал: «Александра, кипяточку!» Вспоминал, как они играли с братом Аликом на улице, когда их позвали соседки и сказали, что умерла мать. Еще Коля помнил, как он шел за гробом матери с красным цветком.

(Колябин отчетливо вспомнил рассказ самого Рубцова об этом цветке: тогда они гостили у Марфы Никандровны в деревне, — и

само стихотворение, пронзившее острой сиротской болью и несправимостью.

*Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна.—
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его,— вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, не кстати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.*

После смерти матери отец женился на другой. Колю определили в детдом в селе Никольском Тотемского района. Село Ни колу Коля считал своей духовной родиной. Там он рос, учился отлично в школе. Жизнь в детдоме пришлось на суровые годы войны и послевоенные годы. Детдом вспоминал часто. Было много трогательного в его рассказах, много смешного, порой жуткого. Два раза он сбежал, но возвращался. Среди мальчишек, как я поняла, он был коноводом, и прозвище у него было «Жеребец». Над этим я часто смеялась, он тоже. После окончания 7 классов Коля поступил в Тотемский лесотехнический техникум, который располагался на территории монастыря. Самые яркие впечатления этого периода связаны с тем, как он бегал по карнизу церкви вокруг башенки на высоте 3-х этажей. Внизу были кирпичи, но он не боялся. Бегать так могли только три человека со всего техникума. Это Рубцов, Сергей Багров и еще одна девочка. Коля бегал до тех пор, пока однажды не приступил шнурок ботинка и чуть не сорвался. Больше он не бегал. Сергея Багрова он до последних дней считал своим лучшим другом. В техникуме Коля не доучился. Он окончил 1 курс и, по-моему (точно не знаю), со 2 курса сбежал или, может, его отчислили. Он уехал в Архангельск поступать в мореходку. Там он поступил, поучился от силы месяц.— По какой-то причине его отчислили. Это было труднейшее время его жизни. Стояла холодная северная осень, шли дожди. Коля был одет в лыжный фиолетовый («Какие

подробности», — удивился Колябин) костюм, денег не было, жить было негде. Как-то ему удалось устроиться на судно кочегаром, по-моему, в траловый флот. Не знаю, сколько он ходил в море. Ему было 16 лет. Работа кочегаром была очень тяжелой. Когда выходили на берег, моряки шли в ресторан. Коля шел в тир. Это было его любимое занятие в то время. Тогда он еще не пил. Следующей осенью Коля поехал поступать в Кировский горный техникум. Его проводили друзья, он переехал через Двину на левый берег, где тогда был железнодорожный вокзал и обнаружил, что билет покупать не на что. Все деньги у него украли. Коля поехал на крыше вагона. В техникум он поступил и написал своим товарищам по работе, что с ним приключилось. Моряки пустили шапку по кругу и собрали Коле в три раза больше, чем пропало у него. Об этом случае он вспоминал часто и с гордостью. («А на что жил, пока не прислали», — удивился, опять не веря, Колябин).

Летом, во время каникул, он на крыше вагона ездил в Ташкент. Ездил просто так, посмотреть юг. В Ташкенте ходил в горсовет просить на обратную дорогу. Ему дали 50 рублей. В горном техникуме у него опять ничего не получилось. Через год он каким-то образом оказался в Приютино под Ленинградом, где стал работать рабочим на каком-то военном полигоне. Там он впервые полюбил, оттуда ушел в армию на Северный флот, где служил 4 года. Эти четыре года он считал вычеркнутыми из жизни. («Ну, совсем завралась баба, — брезгливо подумал Колябин. — Он любил море!») У Коли было прекрасное зрение, и служил он дальномерщиком. В эти годы он начал печататься в морских газетах, в коллективных сборниках. Первое стихотворение поместили в газете к 1 Мая. Его радости не было конца, когда он увидел в газете свою фамилию. Вскоре еще и гонорар прислали. Целых 100 (10) рублей.

Когда Коля выслужился в армии, он разыскал отца. Это было в 1959 году. Отец жил здесь, в Вологде, в Октябрьском поселке. У отца от второй жены было уже три сына. Отец его встретил с испугом, даже с недовольством. Жить у отца он не остался, уехал в Ленинград. Там он работал на Кировском заводе слесарем, ходил в литобъединение при заводе, стал посещать вечернюю школу, но вскоре перестал. Каким-то образом ему удалось сдать экзамены за 10 класс. Каждый ответ был снижен на один балл. («А это почему?» — опять не поверил Колябин). Поэтому в его аттестате зрелости сплошные «тройки».

В 1962 году он поступил в Литинститут на заочное отделение. В апреле 1963 года у него родилась дочь в с. Николе от Резчиковой Генриетты Михайловны. С Гетой Николай был знаком с детства. Любил ли он эту женщину? По всей вероятности, нет. Но отзывался о ней с уважением. Вскоре он вообще переехал в

Николу и жилтам с Генриеттой 2—3 года. Одновременно учился в Литинституте. С 1965 года стал печататься в центральных журналах. Впервые напечатался в журнале «Октябрь».

Очень неодобрительно он отзывался о своей теще, матери Геты. С тещей у них были частые скандалы. Коля ее просто ненавидел и звал «Гренадером». Бил ли он Гету — я не знаю. Мне говорил, что нет. Однажды после очередного скандала Коля перебил им все окна, а сам уехал. Возвращался ли он после этого — я не знаю. Во всяком случае мне говорил, что с Гетой не живет уже 5 лет. Алименты на дочку вряд ли платил. Резчикова подавала на алименты, и должны были их присудить. Но он вроде открутился. В апреле 70-го года я специально его потащила в детский универмаг, чтобы он что-то купил дочери на день рождения. Он купил ей красное шерстяное платьице, юбочку-плиссе, 2 коробки конфет. Летом мы ходили покупать Лене зимнее пальто. Где-то в начале зимы он послал еще посылку с яблоками. Денег не помню, чтобы посылал... Он мне часто говорил: «Как бы я хотел, чтобы матерью Лены была ты! Но это невозможно. Вы несовместимы!!!» Об учебе в Литинституте он мне рассказывал много. Но последовательно вспомнить я не могу. Могу рассказать только некоторые эпизоды. Два раза его исключали из института. В этот период он уже систематически пил. Однажды в ЦДЛ его хотели вывести из зала за то, что он был вдрызг пьян и вел себя ужасно. Двух человек избил. («Нашла бойца!» — усмехнулся Колябин). Второй раз это случилось из-за вражды с преподавателем института, который временно был и. о. ректора. Оба раза Коля был восстановлен. Его близкими друзьями были поэты Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов, покойный Николай Анциферов.

Из-за своего скандального неуживчивого характера Коля очень часто попадал в разные неблагоприятные истории, случаи, которые потом приходилось всячески утрясать. Частенько бывал в милиции, участвовал в драках, не раз его ударяли ножом. («Не слыхивал», — покрутил головой Колябин): один раз в живот еще в Приютине, другой раз в 70-ом году в лоб, в драке была сломана правая рука в кисти, а потом в том же месте перерезана наполовину, когда он разбил у меня окно. Его знаменитое «Возможно, я для вас в гробу мерцаю» попало в руки ректора Серегина. Он вызвал Рубцова к себе. Между ними состоялся короткий разговор. Ректор спросил: «Это Ваше заявление, Рубцов?» Коля ответил: «Да». Ректор с сожалением посмотрел на Рубцова, как-то весь съежился и с горечью сказал: «Коля! Это же мальчишество! Иди».

А стихи были такие:

*Возможно, я для вас в гробу мерцаю,
Но заявляю вам в конце концов:
Я, Николай Михайлович Рубцов,
Возможность трезвой жизни отрицаю.*

В 1967 году в издательстве «Советский писатель» вышла его книга. Популярность росла, но увя! Крупные гонорары давали ему полную свободу в деньгах, они тратились почти исключительно на спиртное. Раньше нужда в деньгах как-то сдерживала, теперь же никаких границ для него не существовало. За последние полтора года я редко видела его трезвым. Может быть, иногда с утра, и то он был с похмелья. Денег он мне никогда не давал, да я и не спрашивала. Я в них не нуждалась. В 1969 году я получила приличный гонорар (970 рублей) за книжку. Зарплата у меня была 110 рублей да еще 25 рублей алименты. Мне было достаточно.

Взаимоотношения Рубцова с вологодскими писателями были в основном дружественные. Не знаю, в чем дело, то ли это действовал алкоголь, то ли еще то, что Коля все более впадал в тоску, порой им овладевал настоящий мистический страх. Ему казалось, что его хотят посадить в тюрьму, что к нему подсылают шпионов. Дело дошло до того, что даже меня он спрашивал с самым серьезным видом: «Надя, ты шпионка? От какой организации ты работаешь? Признавайся!» Я хохотала от души. Он злился: «Шпионка! Ничего, меня так просто не возьмешь. Я сам майор КГБ. Хочешь, могу показать удостоверение?» («Да что она заладила одно и то же! — вскипел Колябин, — то пил, то дрался, то с ума сходил... Когда же стихи-то хорошие писал? Впрочем, не надо забываться, из чьих уст это исходит. Расчет простой: чтоб очиститься самой, нужно замарать его!»).

Я поражалась этим его странностям, тревожилась. Он часто кричал: «Я первый коммунист. Я люблю Ленина и Христа. Но России больше нет, русский народ принес себя в жертву маленьким нациям». Было тяжело слушать, видеть его боль. В конце 70-го года как-то его не было у меня в Троице 3 дня. Так еще не случалось. Сердце щемило какое-то предчувствие. Вдруг он поступал в 5 утра. Весь он был какой-то растерянный, жалкий, но в то же время сильно обрадовался мне. Мы присели.

— Ну так где ты был? Рассказывай.

— Я только что с парохода.

— Куда же ты плавал?

— Да я просто так, с тоски. Хотел покончить с собой, но не мог. Прежде я должен был взглянуть в твои голубые глаза. Не мог я, не мог...

Он несколько раз повторял про мои голубые глаза. Я не знала, верить ему или не верить в то, что он сказал. Было его ужасно жаль. Потом я узнала, что принимал мышьяк, но только расстроил желудок.

Когда он порезал руку и его спасали, уже после часто говорил мне: «Зачем ты меня спасла? Я бы умер совершенно без боли, было бы так легко!» Два раза в квартире чуть не случился пожар единственно из-за крайней степени опьянения хозяина. Первый раз сам чуть не обгорел. Папиросой прожег одеяло, оно загорелось, хорошо, что подоспела я. Второй раз пожар случился на столе от зажженных свечей. Коля поставил в ряд 3 свечи, зажег их, сам ушел и ходил где-то 3 часа. Каким-то чудом дальше стола пожар не пошел. На это он написал четверостишие:

*Сначала были потопы,
Потом начались пожары,
И бегали антилопы
И диких овец отары.*

Последние его два стихотворения наполнены мрачным пессимизмом, мистическим ужасом. Это «Квартира», и второе без названия. Самое последнее его стихотворение «Когда приносим женщине страдание» носит скорее назидательный характер, чем лирический. Это как заведение всем мужчинам, размышления на вечную тему любви. Меня поражала огромная разница между Рубцовым-поэтом и Рубцовым-человеком. Я удивлялась, откуда у этого вечно пьяного, злобного, крикливого человека берутся эти дивные звуки божественного откровения («Вот где твоя зависть и злость», — уличил ее Колябин).

Рубцов был истинный настоящий поэт, но его удивительный талант был погублен алкоголем. Он сам часто говорил: «Я пропил уже целые тома своих стихов». Было тяжело и горько с этим соглашаться, но это было так.

До нашей дружбы с Рубцовым у него было множество женщин, но они не оставили заметного следа в его жизни. Вообще к женщинам он относился презрительно, отводил им второе место после мужчин, часто высмеивал их. Вероятно, он мстил им за какую-то незаживающую рану на душе, однажды нанесенную женщиной. Были женщины, которые искренне любили его. Из них я знаю двух: Генриетту Резчикову и Нинель Плющикову. Последняя своей любовью приносила ему много тяжелых минут. К сожалению, он совершенно ее не любил и страдал, что не может ответить взаимностью на ее чувство. Ее последнее новогоднее поздравление окончательно оттолкнуло от нее Рубцова. Он говорил о Плющи-

ковой с ненавистью. В новогодней открытке Плюшиковой были такие фразы: — «Что же тебе пожелать? Счастья? Но ведь на чужом несчастье счастья не создают. Береги свою голову, пока не поздно». Эти строки нас обоих как-то встревожили. Мы думали, что же это: угроза или предупреждение? Он говорил: «Если она меня любит, то я должен бы получить от нее письмо, полное нежности, страсти... А это какое-то бормотание. Она мне просто отвратительна. Если я умру, а она покончит с собой на моей могиле, ни в коем случае не кладите ее рядом со мной». И он вспомнил Есенина и Бениславскую, и возмущался, почему Галю положили рядом с Есениным, ведь ему это совсем не нужно было.

Последняя фраза Плюшиковой полна рокового значения, но каким же шестым чувством могла она угадать близость трагедии, или, может быть, она видела пророческий сон? Это чрезвычайно меня волнует («Вот оно...» — подумал опять Колябин). Я всегда сочувствовала Нэле, хотя знаю, что она меня внутренне ненавидит. Но чем я могла помочь ей? Я уважала ее чувство к Рубцову и нигде, никогда не сказала о ней плохого слова. («А здесь? Одни любезности, что ли?» — усмехнулся Колябин).

Резчикова вызывает у меня неизменное уважение. Я видела эту женщину всего один раз, но как-то сразу поняла ее всю с ее сокровенной любовью, верностью, терпеливым ожиданием, с ее женской бедой, отчаянием и все же с безупречной сдержанностью, достоинством. Когда Рубцов жил с ней, он еще не в такой степени был подвержен алкоголю, как в последние два года. Она не могла знать всей бездны его падения и верила, и надеялась еще на какое-то счастье с ним, что наконец он вернется к ней и дочке.

Еще забыла написать о взаимоотношениях с родственниками. Отец Коли умер осенью 1962 года, когда Коля учился в Литинституте. Собственно, вся его жизнь прошла отдельно от отца. Они виделись друг с другом считанные разы. Осенью 1962 года, когда Коля уезжал в институт, отец, уже совершенно больной, провожал его. На вокзале они выпили красного вина, хотя отцу нельзя было пить. Отец много плакал, просил у Коли прощения, что так нескладно получилось в жизни. Ведь отец, по существу, бросил его.

Его мачеху — Рубцову Евгению — я видела летом один раз. Они встретились с Колей на улице, и Коля пригласил ее к себе. Она живет в Кувшинове под Вологдой.

Его старший брат Альберт жил в Невской Дубровке под Ленинградом, но Коля с ним не переписывался. В последние дни подал о нем запрос в адресный стол Н. Дубровки.

Второй его брат Борис тоже неизвестно где проживает. Сест-

ра Галина живет в Череповце. Ее Коля не считал за сестру (?). Короче говоря, ни с кем из братьев и с сестрой он совершенно не имел связи.

Три брата по отцу Алексей, Геннадий и Александр живут в Вологде, но с ними Коля не дружил, хотя Геннадий ему очень нравился. Ну вот пока и все, что я могу сообщить о Н. Рубцове».

«Вот так кающаяся Магдалина! — ужаснулся Колябин. — Идет на все, лишь бы выгородить себя. Понимает: чтоб защищаться, проще всего убиенного представить алкоголиком. А с них, проклятых, что взять? Они на все способны, от них всего можно ожидать. И ведь расчет безошибочен: народ не терпит алкашей, эта болезнь самая непопулярная в его сознании, и страдающего от пьяного племени люди всегда возьмут под защиту. Гениальный расчет! — еще раз подивился Миша. — Этой бабе не нужен никакой адвокат, он только сковывает ее инициативу и, возможно, ведет не тем путем к победе. Сама бы она, похоже, нашла более короткий и верный...»

Далее следовали показания Д..., сразу вслед за ходатайством. Тоже чтение, предвещающее немалые волнения...

«Это было самое начало декабря. Становилось ясно, что совместная жизнь с Рубцовым невозможна. Я стала жить у одной знакомой и подыскивать работу. Но оказалось, что с пропиской Подлесного с/с в Вологде на работу не берут, хотя я знаю, что больше половины населения с/с работает в городе. Я почему-то и не сомневалась. Думала, пока устроюсь на работу, а там видно будет. Областной библиотеке нужны специалисты, а меня не берут из-за сельской прописки. Я временно устроилась в экскурсионное бюро. Через 2 дня заболела. Это было 18 декабря, я была на бюллетени до 24. Болезнь, нестроенность, даже какая-то отверженность, разлука с дочерью, запутанность отношений с Рубцовым — все это привело меня к длительной депрессии духа, повергло в отчаяние. Однажды я на почте встретила Марию Владимировну Румянцеву, зав. городской библиотекой № 10. Она обещала помочь. Под Новый год я уезжала к родителям в Вельск. Нужно было зайти к Рубцову за вещами. Он открыл дверь и моему взору предстала знакомая картина. На столе и под столом бутылки из-под водки, сам еле держится на ногах. С ним был радиожурналист Евсеев. Они оба буквально схватили меня за полы, усадили и налили мне водки. Я категорически отказалась, водку я не могу выносить, даже запаха. Они выгнали оба еще. Это была грустная картина. Мои вещи были раскиданы по квартире, в грязи, в осколках битого стекла. Оказывается, Евсеев пришел еще с вечера, переночевал здесь, и вот они уже сутки пьянствовали. Евсеев мне еще сказал: «Наденька, не бросай Колю, люби

его, он бредил тобой всю ночь». На это я ответила: — «А вы знаете, что он бьет меня и держит под двумя ножами?» «Неужели? Неужели?» — и Евсеев заплакал. Но ведь он тоже был пьян. Тут заговорили о том, что Мамалыгин написал удачный портрет Н. Рубцова и что можно сходить посмотреть. Я очень заинтересовалась, знала, что Мамалыгин очень талантлив, сказала, что пойду вместе с ними смотреть портрет. Я схватила чемодан, быстро отнесла его к знакомой в соседний дом, чтобы уже потом больше не заходить к Рубцову, и мы пошли к Мамалыгину.

(«Забыла сразу все несчастья и полетела в вернисаж! — покрутил головой Колябин. — Ну, где логика?»).

Оказалось, портрет уже отнесен в картинную галерею. 25 декабря открывалась выставка местных художников. Мы пошли в галерею. Коля упирался, капризничал, ревновал меня к Евсееву, шатался, потому что был пьян. Галерея была закрыта, мы побродили около и пошли по направлению к Союзу писателей. Там я с ними рассталась, чтобы ехать в больницу. Коля, правда, пытался меня удержать, даже ринулся за мной и бежал до угла аптеки, но я не останавливалась. На Новый год в Вельск он мне послал длинное поздравление. Итак, 4 января я вернулась из Вельска в Вологду. 5-го зашла к Рубцову и нашла его в ужасном состоянии. Более жалкого я не видела в жизни, у него тряслись руки, взгляд был безумен, рубашка лоснилась от грязи, от него пахло перегаром и вообще дурно. Он несказанно обрадовался мне, слабо обнял меня и тут же лег в постель. Постель являла собой зрелище ужасное. Все было черно от грязи, одну подушку и одеяло я нашла в ванной. Оказывается, в ванной он спал. Там все это было наполовину залито водой и гнило, Коля лежал и задыхался. Мне стало жутко от сознания, что это уже не поэт Рубцов, а навеки погибший алкоголик. Снова какая-то острая жалость сжала мне сердце. Я плакала, не скрывая слез, у него в глазах тоже стояли слезы. Я пробыла у него часов до 4, снова немного прибралась. Что-то ему сварила. Да, я сварила ему борщ. Он с жадностью съел две тарелки и сказал, что в жизни не ел вкуснее этого борща. К вечеру я ушла от него и сказала, что приду завтра проведать, а сейчас должна ехать на квартиру, иначе хозяйка будет беспокоиться. По дороге я заглянула в Союз писателей. Там мне пришел перевод из «Дня поэзии Севера», бандероль из «Молодой гвардии» и, кроме того, ждало письмо от Коли. Он опять искал меня через Союз, направил письмо. Когда я зашла туда, там были ответственный секретарь, Евсеев и секретарша Лиза. Ответственный секретарь спросил меня, видела ли я Колю. Я ответила, что нет. Я специально сказала, что нет, чтобы они не расспрашивали меня и не насмешничали. И тут мне сообщили

ужасную новость. Оказывается, вчера прямо в Союзе у Коли был сердечный приступ. Он сам это скрыл от меня. Они стали что-то говорить, что я должна за ним поухаживать. Но они, конечно, не представляли всю степень его падения, его болезненного состояния. Я сказала: «Ну как, чем я могу помочь? Ведь он пал окончательно». «Ты ему внуши, что так нельзя», — сказал ответственный секретарь. Это, конечно, был просто детский лепет. Я еще сказала Лизе: надо что-то делать, ведь Коля так долго не протянет.

Тут я ушла. Назавтра с утра пришла проведать Колю. Его состояние не улучшалось, и я опять осталась у него. Бросить его в таком виде было выше моих сил. На меня он буквально молился, называл божьей матерью, плакал, что он недостоем меня, но без меня — умрет. Он и раньше мне говорил, а теперь уже настойчиво звал в ЗАГС, уверяя, что больше никогда не тронет меня пальцем. Тем более, в рот не возьмет водки.

Так мы прожили 3 дня, он не пил совершенно. Я тащила его в больницу. Мне стоило больших трудов уговорить его. А он тащил меня в ЗАГС. Я уже поняла, что без него я не смогу жить, но знала, что жить с ним невозможно. Теплилась какая-то маленькая надежда, что, может быть, теперь-то он умерит свои выпивки, когда поступил такой грозный симптом со стороны сердца. Этот больной, сумасшедший человек был мне дорог ужасно, хотя и мучил меня. С тяжелым сердцем я пошла с ним в ЗАГС, по пути затащила его в больницу, он взял номерок на завтра. Это было 8 января — Рождество. Мы пошли за реку в городской Дом культуры под вечер, было ветрено, над Софийским собором плыли оранжевые облака. Он говорил мне: «Надя! Как прекрасно! Облака и Кремль, ветер, святки и Рождество. Ведь сегодня Рождество. Давай запомним это мгновение». Заявление от нас не приняли, нужно было мое свидетельство о расторжении первого брака, велели приходить завтра. Почти всю ночь на 9-е он не спал. Он все мечтал, как мы привезем Олю (мою дочь он очень любил), как в марте он поедет в Дом творчества и снова будет писать стихи, как на большой гонорар купит много подарков мне и Оле. Он все сокрушался, что никогда ничего не купил Оле. «Тебе-то даром, а вот Оле...» — все говорил он. О своей собственной дочке, к сожалению, тогда вспоминал редко. Но об этом нужно говорить особо, и я потом расскажу. В эту ночь он тормозил меня: «Иди, ищи свидетельство, а то завтра некогда будет искать». Я ему говорила: «Спи, спи, ночью нужно спать. Завтра утром найду».

— А ты не потеряла его?

— Да нет же, нет.

— Давай тогда я пойду его найду.

Я его еле отговорила среди ночи рыться в моих бумагах.

Потом он вспомнил своего брата Алика. Последние годы они не писали друг другу, и Коля не знал даже его адреса. Он сказал тогда: «Очень хочется увидеть Алика, ну прямо как перед смертью». Я сказала, что нужно написать в адресный стол, где он проживает, и немедленно. Коля как-то успокоился. Наутра с утра он сходил в больницу, быстро вернулся в хорошем радостном настроении, хорошо покушал. В эти дни у него был зверский аппетит, он вставал есть даже ночью, он быстро стал поправляться, пил лекарства, что выписал врач. Эта неделя с 8 по 16 была самой счастливой, мирной, и я вдруг поверила в возможность хорошей совместной жизни. Я выписалась из Подлесного сельсовета, мы подали заявление в ЖКО на мою прописку, сдали туда мой паспорт. В ЗАГСе нам назначили срок 19 февраля. Я взяла свою трудовую книжку из экскурсионного бюро, подыскала место в библиотеке.

В эту неделю мы с Колей три раза ходили в кино, съездили в деревню за картошкой. Как никогда, я верила в возможность счастья. Но вот наступило 16 января. С утра Коля пошел в магазин за сигаретами и куда-то пропал. И нет, нет и нет. Я стала тревожиться. Он пришел где-то в 12 часов, уже навеселе, с чужой сумкой, а в сумке 2 бутылки разливочного яблочного вина. Оказывается, встретил в магазине своего приятеля Юрия Сущева из радио, зашел к нему, там выпили, купили еще. Через полчаса пришел Юрий. Я не знала, что и делать. Коля меня не слушался опять. «Мол, яблочное вино пустяки, квас». Я тоже разделила с ними компанию. Выпила грамм 100. Когда обе бутылки были выпиты, Сушев сходил и принес еще две. Эти две они опустошили очень быстро. С Сушевым они повздорили, тот ушел. С Колей стало опять плохо. Опять я отпаивала его водой, он завздыхал, я дала ему валидолу, дала напиток с лимоном. С вечера он крепко уснул. Я сходила, сдала бутылки в ларьке, зашла в магазин, купила кое-что из продуктов. Пришла, он все спал. Все было спокойно. Где-то под утро в начале 5-го нас разбудил пронзительный звонок. Мы оба проснулись, и ни он, ни я не могли встать открыть. Какой-то жуткий страх овладел мной, почему-то я слушала с ужасом, как гулкие шаги удалялись вниз по лестнице.

— Ну прямо, как шаги командора,— пошутила я.— Кому-то он хотел пожать руку своей тяжелой десницей.

Но было тревожно, грустно.

С утра 17-го Коля почему-то пошел к своему нижнему соседу из 62 квартиры Алексею Сергеевичу. Тот реставрировал Колину пластинку с песней на слова Коли. Вероятно, он пошел благодарить Алексея. Его долго не было. Потом он вернулся и попро-

сил дать бидончик. Говорит: «Хочу молока». Он любил молоко, и я поверила ему. Однако он ушел и опять пропал. Тут я поняла, что пошел он не за молоком. Оказывается, он сходил снова за разливным вином, и они сидели с ним у Алексея. Грамм 200 он принес в бидоне домой. Я стала упрекать его, он разъярился. Он был снова вдребезги. Это было в воскресенье. Я позвала его погулять на улицу. («Как? Он же вдребезги!» — опять не выдержал Колябин). Мы пошли. По дороге зашли в 62 квартиру к Алексею, посидели, поговорили с его женой Зоей и спустились на улицу. Была чудесная погода, мы погуляли, и я стала звать Колю домой. Однако не тут-то было. Гулять с ним — была еще одна мука. Он останавливал прохожих, приста вал к ним и в конце концов решительно направился в магазин. Там, несмотря на мои протесты, он купил большую бутылку портвейна и решил идти в гости к своему другу Алексею Шилову. Мне было страшно неудобно идти в гости с пьяным Рубцовым, но о дного его отпустить тоже не могла. Итак, мы заявили к Шилову. Было все чудесно, мы провели прекрасный вечер. Коля шутил и почему-то много плакал. Я утирала слезы, смеялась над ним. Алексей крутил пластинку с Колиными песнями. Он сам и х пел под гитару. Алексей угадал мое тайное желание и подарил мне пластинку с песней «Над вечным покоем». Читали Колины экспромты «Когда я буду умирать», «Возможно, я для вас в гробу мерцаю». Все это сопровождалось беспечным смехом. Откуда я могла знать, что беда уже стоит на пороге, что трагическая развязка так близка!

Мы вернулись домой, снова поставили «Над вечным покоем», потом Коля играл на гармошке, пел и плакал. Часов в 9 (точно сказать не могу) к нам приходил Юрий Рыболовов. Его я видела впервые. Еще открывая ему, Коля спросил: «Ты с бутылкой или без?» Тот сказал, к моей радости, что без бутылки, но Коля был огорчен. Этот человек оказался на редкость интересным, много знал стихов наизусть, поражал своей эрудицией. В то же время чем-то настораживал, был не совсем понятен. Он ушел, Коля осведомился у меня: какой? Я сказала, что чем-то он интересный, знает много стихов. Снова ревность заговорила в нем. На окошке стоял флакон одеколона «Жасмин». Он хотел его выпить, но я сказала: «Тогда будет от тебя вонять, как от пакостника». И мы опять с ним разговорились о смерти. Еще при Рыболовове Коля говорил о возможности загробной жизни, о роке, о том, что он скоро умрет. («Все подводит и подводит к неизбежности рубцовой смерти... — заметил Колябин. — И что шел к ней — сам»). «Я скоро умру, а ты еще поживешь, — говорил он мне, — но ты знай, что я любил тебя. Уж кого я любил, так

это тебя». Я поражалась его тоске. Это его чувство передавалось и мне. Что-то томило меня.

18-го в понедельник мы сходили в ЖКО, меня не прописывали, не хватало площади на ребенка, но мы как-то не огорчились. Решили 19-го сходить к начальнику паспортного стола, а если и там ничего, то Коля сказал, что пойдет к партийным властям. Он собирался ехать в Москву заключать договор с издательством «Молодая гвардия», собирался везти и мою рукопись. Ее отпечата-ла мне машинистка в газете. Шел четвертый час дня. («Откуда такая точность? Все по часам,— подумал Колябин,— словно все специально запоминала»). Я предложила ему сходить со мной за моей рукописью и, может быть, сходить после в кино. Мы пошли, в центре встретили этих ребят.

Ночью, после всех его глумлений надо мной, меня охватило такое отчаяние, что я твердо решила покончить с собой. Не будь у меня такого настроения, беды, может быть, и не случилось бы. Я сидела на диване, он кричал, грохотал, махался, а я уже не реагировала. Я думала, что вот он уедет в Москву, я останусь одна, он мне не помешает. Я залезу в ванну, перережу себе бритвой вены, умру легко. Было жаль дочь, и от этого опять во мне закипала ненависть против него. Я окончательно поняла, что все надежды рухнули, что он неисправим и дочку сюда, в этот бедлам, я привезти не могу. Возможно, беды не случилось бы, если он наконец оставил бы меня в покое сидящей на диване. Но он поволок меня в постель спать с ним после всех глумлений надо мной. Я решительно отказалась. Он крикнул, чтоб я уходи-ла, я стала одеваться и т. д. Дальше вы знаете...»

Колябин ощутил невероятную усталость после этого чтения. Он был из тех натур, что читают не глазами, а сердцем. И умом. Каждый образ вызывал множество вопросов, подозрений в подта-совке, стремлении свалить с больной головы на здоровую; и нельзя было пропустить той грани, где кончалась бесхитростная бытовая правда и начиналась продуманная женская изворот-ливость.

Миша еще сам не знал, зачем так настойчиво добивался этого чтения, но уже чувствовал, что нужно оно не только ему, и мучительно раздумывал над проблемой: как сделать хотя бы частичные выписки. Если не удастся, он будет прочитывать малыми порциями, чтоб как можно точнее запомнить, а, выходя покурить или перекусить, станет переписывать в свою записную книжку все зацепленное памятью. А пока читать, читать... Один документ сногшибательней другого. Оказывается, после суда, признавшего убийство умышленным, как и предполагал Колябин, адвокат Федорова подавала кассационную жалобу в судебную

коллегию по уголовным делам. Ей показалось, что восемь лет слишком много за жизнь какого-то лирика, и она всячески обгаживала имя покойника и, напоминая, что Д... ранее не судима, просила коллегию переqualифицировать приговор и ограничиться мерой наказания в виде исправительных работ.

Следом шла кассационная жалоба самой Д..., разумеется, под-сказанная защитницей. Поражал прежде всего цинизм, с каким они топтали покойника. Казалось, будь на месте Рубцова Пушкин,— рассказания не прибавилось бы. Д... в своем пространном писании выглядела, правда, похитрей и поосмотрительней. Хотя, может, именно это в сложившейся ситуации особенно раздражало.

Кассационная жалоба

адвоката Федоровой в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда.

На приговор Вологодского горнарсуда от 6 апреля 1971 года, которым Д... по ст. 103 УК РСФСР осуждена к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда считаю необоснованным в части квалификации действий Д... по ст. 103.

1. В 1969 году Д..., расторгнув брак с Жарковским, переехала на постоянное местожительство в Вологду. Находилась в близких отношениях с Рубцовым с 1969 года. Рубцов и Д... решили зарегистрировать брак, для чего 8 января 1971 года они подали заявление в ЗАГС. 14 января 1971 года Рубцов обратился в домоуправление с просьбой прописать Д... как жену на его жилплощадь. Еще в конце 1970 года Д... перевезла на квартиру Рубцова свои личные вещи. Касаясь поведения Рубцова, следует обратить внимание на обстоятельства, которые не нашли отражения в приговоре суда, но имеют существенное значение в части установления истины по делу.

Так, в ходе предварительного и судебного следствия установлено, что потерпевший Рубцов, хотя и состоял членом Вологодской писательской организации, что его ко многим обязывало, но вел себя в обществе и в быту недостойно. Систематически пьянствовал, даже на собрания, вечера поэзии и другие общественные мероприятия приходил в нетрезвом виде, допускал хулиганские действия (показания свидетелей Заумкина, Крюкова). Его мировоззрение относительно преклонения перед спиртным нашло отражение в его творчестве. (Далее идут цитаты, подтверждающие, что эпикурейство было не чуждо Рубцову). Сам Рубцов в общении с людьми представлял не лучший образец: ругался нецензурными словами, пьяный разбил в библиотеке стекло, часто избивал Д... до синяков, вылил Д... уху на голову, неоднократно бросал в нее бутылки и стаканы, по месту жительства также часто шумел, не давал покоя соседям, нарушал правила социалистического общежития и т. п. (показания свидетелей).

В судебном заседании данные свидетели эти показания подтвердили. О неправильном поведении Рубцова Д... ставила в известность ответственного секретаря Вологодской писательской организации, но никаких мер воздействия к Рубцову принято не было. Кроме того, имели место факты, когда в присутствии писателей Рубцов позволял себе хулиганские поступки.

Непонятно: почему в деле была представлена хвалебная характеристика на Рубцова? Ибо указанные выше факты дают основание делать другой вывод о его личности. Накануне трагедии, т. е. 17 января, у Рубцова был гость, поэтому Д... не могла уснуть до 5 часов утра. 18 января, уже с начала дня стал соображать о спиртном (появление в баре, шахматном клубе, ресторане и, наконец, пьянка с

друзьями на своей квартире). В момент выпивки Рубцов необоснованно приревновал Д... к свидетелю Заумкину, ударил его, выгнал из квартиры свидетеля Терешкова, затем Заумкина (см. показания). Когда Рубцов и Д... остались одни в квартире, то он распространил свой пьяный гнев на Д... Ударил ее по голове, оскорблял ее, ругался нецензурно, кидал в нее горящие спички. Д... хотела уйти, но потерпевший закрыл дверь на ключ. Ударил ее ботинком по губам (?), бросил стаканом. Когда она пыталась лечь, то стаскивал с нее одеяло, открывал балкон. Таким образом издевался над Д... как хотел. Затем стал звать ее к себе в постель. Будучи оскорбленной предыдущими действиями Рубцова, она отказала ему, что окончательно взбесило Рубцова, и он, угрожая раскроить череп, набросился на нее: ударил ногами в грудь, уронил стол, в ярости свалил ее на пол, пытался душить. И в этот момент в душевном состоянии Д... наступил эмоциональный взрыв: обороняясь, она схватила Рубцова за горло, что и привело к указанным в приговоре последствиям. («Господи, убьют да еще сотню раз и оболгут», — съежился Колябин). Суд непонятно почему указал в приговоре, что убийство имело место на почве драки. Но понятие драки таково, когда обе стороны наносят друг другу удары. В данном случае до момента убийства Рубцов избивал Д..., причинял ей телесные повреждения, она же ему никакого вреда не причиняла. Указанные выше факты свидетельствуют о том, что убийство имело место в состоянии сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего, что характерно для ст. 104.

2. Решая вопрос о наказании, суд расширил толкование ст. 39 УК и в качестве отягчающего обстоятельства сослался на то, что Д... не работала. Однако, как видно из обстоятельств по делу, она уволилась с работы 17 ноября 1970 года, так как была намерена уехать на постоянное местожительство к родителям в г. Вельск. Но Рубцов просил ее остаться, обещал вести себя нормально, и она по его просьбе переехала к нему. Не работала лишь временно, пока решался вопрос с пропиской. Источником ее существования в этот период времени были гонорары, которые она получала за свои издания.

3. Д... в прошлом не судима, на ее иждивении имеется малолетний ребенок, родители престарелые и больные.

В органы милиции Д... явилась с повинной. На основании изложенного и в порядке ст. 350 УПК

ПРОШУ:

обжалуемый приговор изменить, действия Д... переквалифицировать на ст. 104 и ограничиться мерой наказания в виде исправительных работ.

14 апреля 1971 г.

Адвокат Федорова»

Далее следовала кассационная жалоба Д... — одна подкрепляла другую.

«...Прежде всего я не согласна с результатом следствия, квалифицировавшим мое преступление по ст. 103. Я категорически отрицаю умышленное убийство Рубцова, человека любимого мною и любившего меня, с которым я хотела связать свою жизнь, несмотря на его трудный характер и злоупотребление алкоголем.

Следствие проведено поверхностно с неправильными толкованиями некоторых фактов, что дает вообще искаженную картину наших взаимоотношений с Рубцовым. Область человеческих чувств совершенно упускается из виду, между тем как наша трагедия есть следствие сложных драматических отношений между мной и Рубцовым. При открытии суда на вопрос судьи Макурина: «Признаю ли я свою вину?», я ответила, что вину признаю, но не согласна с некоторыми положениями обвинительного заключения. Но судья Макурин посадил меня на место, не дослушав, не дав мне сказать, с чем же именно я не согласна. Я не согласна с тем,

что в качестве потерпевшей была выставлена Резчикова Г. М. С этой женщиной Рубцов сожительствовал в течение 1963—65 гг. В продолжении последних пяти лет он не имел с ней никаких отношений. Брак Рубцова с Резчиковой не был зарегистрирован. Алименты на ребенка Резчиковой Рубцов не платил, хотя она подавала на алименты в Тотемский райсуд. Рубцов был признан отцом ребенка Резчиковой только после смерти, кроме того, известно, что добровольно Рубцов также не высылал деньги на содержание дочери. Известно также, что за последние пять лет он всего один раз был в с. Никольском и за время пребывания в нем жил не у Резчиковой, а у других людей. Никакого желания навещать ее у Рубцова не было. Никаких письменных доказательств о том, что Рубцов звал ее жить к себе и вообще поддерживал ли он с ней хотя бы письменную связь, Резчиковой не было представлено в суд. Мне известно, что Николай писем ей не писал. Спрашивается, где основания выставлять Резчикову в качестве потерпевшей. («Ах, какая змея,— негодовал Колябин.— Какая гидра!»).

Далее, я не совсем согласна с тем обстоятельством, что в судебно-медицинской экспертизе обследования трупа Рубцова не был указан укус на правой руке. Буквально во всех показаниях я утверждала, что прежде чем я схватила Рубцова за горло, он пытался схватить за горло меня правой рукой. Я быстро перехватила его руку и с силой ее укусила. Прижав его правую руку своей левой рукой к полу, только тогда своей правой рукой я схватила Рубцова за горло.

В первом же показании я говорила об этом следователю Меркурьеву. Я еще спросила его: «Вы видели укус на правой руке Рубцова?», он ответил: «Да. Там есть укус». Однако судебно-медицинская экспертиза о том факте, что на руке был укус, совершенно умалчивает. В таком случае я вправе требовать раскопки трупа и вторичной судебно-медицинской экспертизы. («Ничего святого нет у этой женщины»,— обреченно подумал Колябин). В ходе суда об этом факте также ни разу не упоминалось. Спрашивается, с какой целью? Однако суд не замедлил бы опровергнуть это мое утверждение, если бы укуса на руке Рубцова действительно не было. Я всегда утверждала и утверждаю, что убийство Рубцова есть следствие моей мгновенной реакции на смертельную угрозу со стороны Рубцова, т. е. самозащита. Я утверждаю также, что это случилось в минуту сильного душевного потрясения, страшного испуга, который парализовал мой рассудок, но обострил инстинкт самосохранения. Я еще раз подчеркиваю, что факт умолчания об укусе на руке Рубцова, об этой важной детали трагедии, я просто так не оставлю. Далее, почему суд не учел того, что во время совершения преступления я была совершенно безоружная? Ведь я ничем не вооружалась, чтобы убить Рубцова и прежде, чем схватить его за горло, ничем не ударила. Почему суд не учел того, что безоружная, совершенно трезвая женщина не рискнет сразаться с рассвирепевшим мужчиной, если на то нет никаких особых причин, тем более замышлять убить его голыми руками? В приговоре сказано: «Д... схватила Рубцова за шею и задушила его», как будто речь идет о цыпленке или же об опытном убийце-маньяке, которому ничего не стоит задушить человека. В то же время Рубцов был не цыпленок, а мощный мужчина в рассвирепевшем состоянии в момент, когда его опьянение было в средней— близкой к сильной— стадии опьянения, т. е. был сильнее, чем в обычном трезвом состоянии. Я не убийца-маньяк, а женщина самая обыкновенная, прожила на свете 33 года, и не только никого в жизни не хватала за горло, но вообще никогда ни с кем не дралась, даже в детстве. Ведь прежде чем схватить его за горло, я не связала его, не оглушила. Он был в полной силе, ничем не стесненный, имеющий полную возможность к сопротивлению. Какие шансы имела я, безоружная женщина, убить рассвирепевшего мужчину. («Ах, бедная! Стоит пожалеть...» — вздохнул Колябин). Случилось невозможное. Невозможное стало возможным, а в медицине известно, что это случается в результате стресс-реакции, т. е. мгновенной реакции на смертельную угрозу, когда инстинкт самосохранения обострен до предела.

В приговоре сказано: «В 4 утра скандал между Рубцовым и Д... перерос в

драку, в ходе которой оба упали на пол. Рубцов кричал: «Я люблю тебя, Надя!» Д... схватила Рубцова за шею и задушила его». Я утверждала и по-прежнему утверждаю, что Рубцов крикнул мне три фразы: «Надя, прости! Надя, я люблю тебя! Надя, я тебя люблю!» Именно в тот момент, когда мои пальцы были на его горле и что после этих криков Рубцов мгновенно посинел, т. е. эти крики были предсмертной мольбой, а не признанием в любви, как утверждает суд.

В письменных показаниях свидетеля Ледковой, которая слышала крики, тоже сказано, что в крике слышалась мольба. С какой стати Рубцов стал бы мне признаваться в любви во время драки? Он закричал именно тогда, когда почувствовал свой близкий конец и его свирепость переросла в страх перед смертью. То, что Рубцов закричал после того, как я уже секунд 10 теребила его за горло, меня озадачило и удивило. В его словах я почувствовала страшный испуг, страх смерти. О том, что он может умереть, я не могла даже подумать. Я хотела его как-то усмирить, сама была в страшном испуге от его намерения убить меня. Почему стал возможен крик Рубцова, когда мои пальцы были на его горле? Об этом я много думала сама. Вероятно, в этот момент я отпустила горло, сдавливая его, а теребила горло двумя пальцами сверху. Об этом говорят и ссадины на шее Рубцова. Помню, что, когда я укусила руку Рубцова и сама схватила его за горло, у него встали дыбом волосы около ушей, а в его взгляде было изумление и испуг. Я никогда не давала ему отпора, и в таком состоянии он меня еще не видел. («Какое холодное наблюдение! Никакой аффектации!» — твердо решил Колябин). После того, как он прокричал, какое-то мгновение я еще держала пальцы на горле и вдруг увидела, что он синее. Я тут же отцепилась. Рубцов мгновенно с силой перекинулся на живот и уткнулся лицом в пододеяльник. Утверждаю, что больше к Рубцову я не прикаснулась. Утверждаю также, что уткнувшись в пододеяльник, он сопел и всхлипывал некоторое время. Мне показалось, что раза три он вздохнул, но эти вздохи были какими-то короткими. Об этих вскриках говорит также свидетель Ледкова, которая слышала их после того, как Рубцов кричал. Там сказано, что Рубцов «то ли заплакал, то ли захныкал». Утверждаю, что Рубцов, когда теребила его за горло, не хрипел. В экспертизе сказано также, что все хрящи и позвонки, которые я сжимала, не повреждены. Далее: в приговоре сказано, что Д... Н. А. в первом допросе отрицала вообще, что Рубцов Н. М. кричал, что любит ее. В первом допросе я не отрицала это, а просто упустила из виду, потому что мое состояние через несколько часов после совершения мной преступления было не то что ужасно, а просто невменяемо. Следователь Меркурьев не спросил меня, кричал ли Рубцов перед смертью, записывая, как было дело в общих чертах, в подробности не углублялся, а я совершенно забыла об этом сказать.

В моих письменных показаниях, которые я стала писать спустя три дня после совершенного мной преступления, я все подробно указала, что он кричал. Когда у меня было второе свидание со следователем, я передала свои записки ему и снова в спокойном состоянии более подробно рассказала, как было дело. Таким образом, я не отрицала крик Рубцова в первом допросе, а просто упустила из виду, потому что была в сильноном нервном возбуждении.

Далее: в приговоре сказано, что Д... Н. А. показала, что Рубцов Н. М. систематически издевался над ней в течение всего 1970 года и что убийство явилось результатом этих «неправильных действий потерпевшего». Я еще раз повторяю, что убийство Рубцова есть следствие сильных драматических отношений между мной и Рубцовым. Но оно произошло при определенной ситуации, которая носит свои конкретные черты, имеет свои конкретные причины, где должно учитываться все и особенно то душевное состояние, те эмоции, которые владели нами в момент трагедии.

Далее в приговоре сказано: «В части приобщения к делу стихотворения Д... «Ревность», в котором она утверждает, что «звериным нюхом» чувствует она, что «забавный номер» отколет, перепутав «все карты твоей блистательной судьбы», подсудимая сообщила, что это стихотворение к Рубцову не относится».

Мне чрезвычайно странным сам принцип следователя Меркурьева и судьи Макурина приобретать к уголовному делу лирические стихи, тем более, если они написаны 10 лет назад. («Вот тут попала в десятку!» — согласился Колябин). Стихотворение «Ревность» написано мной в 1961 г., когда я была влюблена в Александра Гаврилова, ныне московского поэта. А с Николаем Рубцовым я познакомилась в мае 1963 г., причем, кроме того, что это поэт Рубцов, я о нем ничего не знала, потому что тогда он меня совершенно не заинтересовал. Я встретилась с ним уже в июне 1969 года спустя 6 лет после нашего краткого знакомства.

Судья Макурин грубо исказил смысл моего стихотворения, подтасовав строчки соответственно своему довольно некрасивому умыслу уличить меня в том, что якобы я давно, судя по этому стихотворению, добиралась до Рубцова.

Кто собственно позволил судье Макурину выхватывать из моего стихотворения отдельные фразы и комбинировать их так, как ему заблагорассудится? Кроме того, можно ли вообще сделать такое дикое предположение, что под «забавным номером» я подразумевала какую-то уголовщину? Это до того нелепо, что я возмущена до глубины души. Никакого чувства ревности по отношению к Николаю я никогда в жизни не испытывала. Он любил меня (это я знала) и не променял бы ни на какую другую женщину. Меня поражает какое-то нелепое упорное стремление суда обвинить меня во что бы то ни стало любыми неблаговидными методами в умышленном убийстве Н. Рубцова. Я протестую!

Далее: в приговоре сказано, что показаниями свидетеля Плющиковой установлено, что она предупредила Рубцова Н. М. о том, что его связь с Д... кончится плохо. На суде свидетель Плющикова, если ее вообще можно назвать свидетелем, в чем я сильно сомневаюсь, заявила, что она ничего не знала о наших взаимоотношениях с Рубцовым. Это действительно так. Ни Н. Рубцов, ни тем более я не делились с ней о своем личном. А я вообще с ней плохо знакома. И моя связь с Рубцовым не должна была касаться Плющиковой. Однако Плющикова время от времени старалась заявить о себе, предъявляя на Рубцова какие-то свои особые права, хотя это было чересчур нелепо. Так раза два она приходила к Рубцову в моем отсутствии, но Рубцов дальше лестничной площадки ее не пропускал; подкладывала в почтовый ящик шоколадные конфеты (что она и подтвердила на суде), старалась почаще попадаться на глаза Рубцову. Однажды (это было без меня) она хотела покончить с собой в квартире Николая, и он ее выгнал. На Новый год она прислала Николаю открытку, где вместо поздравления было, как выразился сам Николай, «одно злобное бормотание». В открытке были такие слова: «Коля! Ты мне был другом, а оказался... Что мне тебе пожелать? Счастья? Но ведь на чужом несчастье счастья не создают...» На суде в ответ на мой вопрос: «Чье несчастье она имела в виду?», она лицемерно заявила, что имела в виду несчастье Резчиковой. Тогда я спросила, как же понимать такие слова ее записки к Рубцову: «Колокольчик мой! Где ты сейчас звенишь? Что ты со мной делаешь? Ведь ты убиваешь меня уже три года! За что ты меня ненавидишь? Я бы покончила с собой, но жаль мать». На это Плющикова ответила, что сильно любила Рубцова. Наконец-то! Она любила, а он не любил. Исходя бессильной злобой, она приписала в конце открытки: «Береги свою голову, пока цела!» На допросе следователю Меркурьеву она сказала, что написала их чисто интуитивно. Так при чем здесь я? («Во защищается!») — восхитился невольно Колябин).

Рубцов много пил, себя не берег, лежал летом в больнице с разрезанной рукой, когда выбил мне раму. Много раз его ударили совершенно неизвестные личности. Так что говорить с серьезным видом о том, что Плющикова предупреждала Рубцова именно в отношении меня (тем более, она сама заявила следователю на суде, что о наших взаимоотношениях ничего не знала), мне кажется, совершенно лишено основания.

Далее в приговоре сказано: «Объяснение Д... Н. А. о том, что Рубцов в этот вечер собирался убить ее, опровергнуто материалами дела». Я никогда не утверж-

дала, что весь вечер Рубцов собирался меня убить. Дебош Рубцова продолжался до 4 утра в своем обычном порядке, как его и прежние дебоши. Какой-то серьезной угрозы в том, что он кричал, хлопал дверьми, распахивал балкон, ударял меня рукой, даже замахивался бутылкой, я не видела. Но в 4 часа утра, когда я стала одеваться, чтобы уйти от него, он действительно решил меня убить. Я испугалась его мрачной решимости, и вот случилась трагедия. Дело в том, что у нас было подано заявление в ЗАГС. Николай страшно боялся, как бы какая-нибудь случайность не расстроила наш брак. И вот я собралась уходить. Николай был болезненно честолюбивый человек. Если раньше я убегала от него, и это не отражалось на нем так мучительно, то сейчас мой уход от него ставил на карту его честь и даже более того: оказалось, что на карту были поставлены наши жизни. Ему показалось легче меня убить, чем допустить, чтобы я ушла. Отсюда его слова: «Нет! Просто так ты от меня не уйдешь! Ты хочешь меня оставить в унижении, чтобы надо мной смеялись? Нет! Этого не будет! Прежде я раскрою тебе череп!» Теперь я знаю, что нас погубило заявление в ЗАГС. Нам нельзя было ссориться совершенно. Заявление в ЗАГС стало для нас роковым. Я бы очень хотела обратить ваше внимание именно на этот факт.

Далее в приговоре сказано: «Утверждение Д..., что Заумкин, Крюков и Терешков предлагали ей спрятать нож, опровергнуты этими свидетелями». Я утверждала и продолжаю утверждать, что кто-то из них троих (не помню кто) действительно взял раскрытый нож-складник со стола, у которого сидел Рубцов, подал его мне и сказал: «Спрячь». Я закрыла его и спрятала под бумаги на окне. На суде я специально задала вопрос Терешкову в присутствии Заумкина и Крюкова, не помнит ли он, кто из них троих подал мне нож? Никто из них не помнил. Тем не менее я утверждала, что это было так. Я не случайно задала этот вопрос Терешкову. Из них троих он был более-менее трезв. Если бы подал Терешков, то он должен бы помнить. Вероятно, нож подал мне или Заумкин, или Крюков. Они были слишком пьяны и вполне могли не помнить. Ведь Заумкин даже не помнил, как Рубцов ударил его по голове, а Крюков не помнил, как тот же Рубцов распекал его за то, чтобы Крюков не орал песни. («Лихо! Всех расчихвостил», — удивился Колябин в который раз). Я же была совершенно трезвая и разыгрывать какую-то инсценировку не собиралась.

Далее в приговоре сказано: «Утверждение о том, что потерпевший бросал в нее зажженные спички опровергнуто актом осмотра места преступления, из которого видно, что следов обгоревших спичек не обнаружено на полу, ни на других предметах». Я утверждала и продолжаю утверждать, что Рубцов действительно бросил в меня примерно десяток зажженных спичек. Это было после того, как я делала первую попытку уложить его спать. Я раздела Рубцова, но он вскочил, снова оделся, закурил, закрыл дверь в комнату, встал у двери и, чиркая спички о коробок, стал их кидать в меня, язвительно при этом улыбаясь. Я стояла как раз у кровати, где-то по середине ее (?). Пока он бросал, я стояла не шевелясь, молча в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело. Это было примерно спустя час, как ушел Терешков. У Коли было еще не допито вино. Потом мы не выдержала, оттолкнула его от двери и вышла в прихожую. Уже позднее, где-то часу во втором ночи, когда Рубцов допил из стакана вино, он тут же швырнул стакан в стенку над кроватью, т. е. над моей головой. Стакан разбился вдребезги, осколки стекла разлетелись по постели, по полу около кровати. Я собрала крупные осколки и бросила их в мусорное ведро. Затем принесла веши и совок, стряхнула осколки с постели на пол и уже на полу все вместе, и спички, и осколки стекла, собрала в совок. И осколки разбитого стакана, и обожженные спички должны быть в мусорном ведре.

Если бы я задумала устраивать какую-то инсценировку, мне не составляло бы никакого труда набросать на пол обгоревшие спички.

Далее в приговоре сказано: «Утверждение Д... Н. А. о том, что потерпевший в течение 5 часов искал предметы для того, чтобы совершить убийство, неправдо-

подобно». Конечно, я никогда и нигде не утверждала о подобной чепухе, что Рубцов в течение 5 часов собирался меня убить. Еще раз говорю, что Рубцов не хотел меня убивать до тех пор, пока я не стала одеваться, чтобы уйти, т. е. это было в 4 утра. Коля искал нож, а не какие-то предметы, но он его не нашел. Утверждать, что он искал нож для того, чтобы убить меня, я не могу. Убить меня он решил в 4 часа утра молотком, который должен был быть под ванной. Молоток с белой деревянной ручкой. Но ни во время следствия, ни на суде мне не сообщили, где был найден молоток. О молотке не упоминалось, и я думаю, не случайно. Между тем это одна из важнейших деталей трагедии. В приговоре также сказано: «После того как Рубцов Н. М. скончался, Д... сделала некоторую приборку в комнате и пошла в милицию». Чудовищнее не придумаешь. Ни о какой приборке в этот момент я мыслить не могла. Кто это выдумал, что я делала приборку и из чего это было видно? Кроме тех тряпок, которые выволок из ванны Рубцов и которые валялись под ногами, я ничего не убирала. Эти тряпки я подняла совершенно машинально. После совершения преступления я не оставалась дома и трех минут. Даже не оделась как следует. Выскочила в кофтенке с короткими рукавами, а шарф на голову мне уже потом привез следователь. («Оказывается, спокойно открыла дверь,— размышлял Колябин,— вышла беспрепятственно и отправила в милицию. А говорила,— заверяла даже,— что невозможно было уйти, что дверь Рубцов закрыл на два ключа... Где же они были? Видимо, в двери или на видном месте. Ведь ни слова не говорится о том, что их пришлось искать или вынимать из кармана покойного. Так что выбраться из дому, не совершая преступления, было не ахти как трудно. Тем более, при ее-то силе...») Таким образом я признавала и признаю свою вину в совершенном преступлении, но категорически отрицаю его умышленность, т. е. я против его квалификации по ст. 103 УК. Я прошу вас правильно подойти к рассмотрению моего дела и снизить мне меру наказания. Убедительно прошу вас учесть то, что у меня есть малолетняя дочь и одинокие престарелые родители. Я глубоко раскаиваюсь в совершенном мной преступлении, очень сожалею о поэте Н. Рубцове, так неожиданно, страшно и нелепо погибшем от моей руки. Я уже и так наказана до конца своей жизни тем, что на мне до могилы будет это роковое пятно, тем, что нет на свете моего самого близкого, родного, хоть и мучившего меня порой, человека.

Я прошу вас также учесть, что сама я тоже поэтесса и мои стихи получили положительную оценку критики. В Северо-Западном книжном издательстве должна выйти вторая книжка моих стихов, и вот случилась катастрофа. Погиб не только Рубцов, погибла и я. Не могла же я сознательно губить себя, бросать себя в тюрьму, имея малолетнюю дочь. Прошу учесть все мельчайшие детали преступления, учесть обстановку, в которой оно произошло, то, что мы не спали уже вторую ночь, то, что я была совершенно трезва и ничем не вооружена.

Прошу понять, что именно пьянство Рубцова явилось прямой причиной трагедии, его невыносимое поведение, от которого страдала не только я, но и соседи по квартире и многие другие люди.

О том, что Рубцов был явно ненормален в тот вечер, говорит уже хотя бы тот факт, что он одного за другим выгнал Крюкова и Заумкина. Ударил Заумкина по голове. Сколько раз он обещал мне, клялся, но все обращалось в прах. Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой, упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют. Он был поэт, а спал, как последний босьяк. У него не было ни одной подушки, была одна прожженная простыня, прожженное рваное одеяло. У него не было белья, обедал он прямо из кастрюли. Почти всю посуду, которую я привезла, он разбил. Все восхвалялись его стихами, а как человек он был никому не нужен. Его собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно. От этого мне еще более было его жаль. Он мне говорил иногда: «Надя, ты знай, что если между нами будет плохо, они все рады будут». Вот такое отношение было к нам со стороны

писателей. Не случайно судья Макурин сделал так, чтобы судебное заседание было закрытым. Он буквально принудил меня, чтобы я согласилась на закрытое заседание. Ведь местные писатели имели бы очень бледный вид, если бы заседание было открытым.

Вот где еще корень зла.

Мне ставят в вину, что я в это время не работала. В 1960 г. я закончила библиотечный институт и имею стаж работы 10 лет 6 месяцев. Это значит, что я работала непрерывно после окончания института. За те 2 месяца, что я не работала, меня не имеют права называть тунеядкой. Я получала гонорары из журнала «Север», из сборника «День поэзии Севера» на общую сумму 140 рублей, получила при расчете 90 рублей, получала алименты от мужа. 16 декабря я устроилась на работу в Вологодское экскурсионное бюро организатором экскурсий, но через два дня заболела. Бюллетень мне не оплатили, и я решила снова устроиться в библиотеку. Мне уже подыскивали работу мои знакомые из областной библиотеки, и я на днях бы уже устроилась на работу.

Меня возмущает то, что при определении мне меры наказания суд отягчает мою вину еще и тем, что я не работала. Я уже указала источники моего существования в последние два месяца: это мои поэтические гонорары. Я не запачкала себя не только чужим рублем, но даже чужой копеей. Убедительно прошу вас, граждане судьи, учесть все обстоятельства преступления, прошу вашего милосердия. Во имя справедливости прошу вас не губить во мне мать и поэтессу. Всей своей будущей жизнью, творчеством, работой постараюсь искупить свою тяжкую вину.

13.IV.71 г.

Д...»

Далее она присовокупляла — для большего впечатления, разумеется — свои стихи, написанные, как сообщили потом Мише Колябину, на другой день после убийства.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

И разбудят меня
Позовут журавлиные крики...
Н. Рубцов

*Поседею от страшной потери,
От вины бесконечной своей.
Но никак никогда не поверю
В невозвратность твоих журавлей.
Пусть отмечен был гибельным роком
Каждый шаг твой навстречу мне,
По весне затуманенным оком
Я найду их в густой синеве.
Дрогнет сердце от криков гортанных
И жестокой судьбе вопреки
Я поверю упорно и странно
В нашу встречу у вешней реки.
Будто там в холодке ледохода
Ты меня с нетерпением ждешь,
И рванусь я, не ведая брода,*

*Слыша в теле счастливую дрожь.
Будто не было скорбно погасших,
Горьких дней, приносящих боль.
Не терзал тебя мутный и страшный
Затмевающий мозг алкоголь.
Будто не было гиблых рассветов,
Не сулящих веки добра.
Помню я только красное лето
И в закатном огне вечера.
Ты бывал по-особому нежен,
В твоём взоре туманилась грусть.
А вокруг расстилась безбрежно
Вся теплыню объятая Русь.
Все прошло. И в осеннюю слякоть
Распрощались с тобой журавли,
Чтобы то расставанье оплакать
Громким криком в ненастной дали.
Но я буду их ждать неустанно
Всей жестокой судьбе вопреки!
Буду верить упорно и странно
В нашу встречу у вешней реки.*

Продолжительное чтение судебных материалов так расстроило и отяготило душу, что Колябин решил: для первого раза — хватит. Остальное потом. Он еще скользнул глазом по «Определению», где сообщалось, что председатель Макурин и другие рассмотрели в судебном заседании дело по кассационным жалобам адвоката и обвиняемой и определили приговор Вологодского городского суда оставить без изменения. Значит, восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Наказание отбывать по адресу: Вологда, учреждение ОЕ-256/1.

Никакого желания навестить, конечно, не возникало, но адрес Колябин все же запомнил...

После всего этого неодолимо потянуло к рубцовским стихам, которые теперь носил с собой постоянно. Захотелось скорей отделаться, отмыться от нечисти и скверны, в которые окунулся с головой, нахлебался до блевотины; и для спасения, для обычного естественного дыхания был просто необходим глоток чистого воздуха, честной непринужденной речи, отзывчивого голоса близкой души.

Колябин раскрыл книгу и сразу попал на то, чего жаждал:

Огонь в печи не спит,
перекликаясь
С глухим дождем, струящимся по крыше...
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь,—
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру вытянутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валяются с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая...

Когда стихает яростная буря,
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели,
Закутываясь в бабушкину шаль.
Скрипят, скрипят под ветками качели,
И так шумит над девочкой береза
И так вздыхает горестно и страстно,
Как будто человеческою речью
Она желает что-то рассказать.
Они друг другу так необходимы!

Но я нарушил их уединенье,
Когда однажды шлялся по деревне
И вдруг спросил играючи: «Шалунья!
О чем поешь?» Малютка отвернулась
И говорит: «Я не пою, я плачу...»
Вокруг меня все стало так уныло!
Но в наши годы плакать невозможно,
И каждый раз себя превозмогая,
Мы говорим: «Все будет хорошо».

И вот среди осеннего безлюдья
Раздался бодрый голос человека:
— Как много нынче клюквы на болоте!
— Как много нынче клюквы на болоте!
Во всех домах тотчас отозвалось...

От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,

На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...
Зовешь, зовешь... Никто не отзовется...
И вдруг уснет могучее сознание,
И вдруг уснут мучительные страсти,
Исчезнет даже память о себе.
И в этом сне картины нашей жизни,
Одна другой туманнее толпятся,
Покрытые миражной поволокой
Безбрежной тишины и забвения.
Лишь глухо стонет дерево сухое...
«Как хорошо! — я думал. — Как прекрасно!»
И вздрогнул вдруг, как будто пробудился,
Услышав странный посторонний звук.

Змея! Да, да! Болотная гадюка
За мной все это время наблюдала
И все ждала, шипя и извиваясь...
Мираж пропал. Я весь похолодел.
И прочь пошел, дрожа от омерзенья,
Но в этот миг, как туча, над болотом
Взлетели с криком яростные птицы,
Они так низко начали кружиться
Над головой моею одинокой,
Что стало мне опять не по себе...

«С чего бы это птицы взбеленились? —
Подумал я, все больше беспокоясь, —
С чего бы змеи начали шипеть?»
И понял я, что это не случайно,
Что весь на свете ужас и отравы
Тебя тотчас открыто окружают,
Когда увидят вдруг, что ты один.
Я понял это как предупреждение, —
Мол, хватит, хватит шлаться по болоту!
Да, да, я понял их предупреждение, —
Один за клюквой больше не пойду...

3

Прошел октябрь. Пустынно за овином.
Звонит снежок в траве обледенелой,
И глохнет жизнь под небом оловянным,
И лишь почтовый трактор хлопотливо

*Туда-сюда мотается чуть свет,
И только я с поникшей головою,
Как выражение осени живое,
Проникнутый тоской ее и дружбой,
По косогорам родины брожу
И одного сильнее всего желаю —
Чтоб в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя,
Чтоб и тогда она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас...*

(«Напрасно ты хотел забвенья, дорогой,— горько подумал
Колябин.— Не было покоя при жизни,— после смерти, похоже,
будет еще меньше...»)

БЕССМЕРТИЕ

I

На свободе время летит быстро, не то, что в неволе. Уж, кажется, можно ли сравнивать армию с тюрьмой, а и там дни тянулись длинно и однообразно, хотя и были забиты до отказа нешуточной работой.

Колябин почти не заметил, как стал семейным человеком, как появились на висках и в бороде первые седые нитки, как подросток первенец Николка, нареченный в честь Рубцова; так же незаметно набрала тело и потеряла румянец Любаша, в которой время открывало или воспитывало и закрепляло все большие достоинства. Она умела без особых затрат создать в семье тот особый шик, которого другие не сумеют ни за что, даже ухлопав уйму денег. Она никогда не бегала по соседям сшибать десятки, чтоб дотянуть до получки; наоборот, нередко сама одалживала нерасчетливым и вечно нечесанным домохозяйкам.

Ребенок у нее никогда не скакал в грязных рубашках или без пуговиц, а на подоконниках постоянно зеленели и благоухали даже в лютые зимы всевозможные цветы — от чайной розы до «ваньки-мокрого», — и изредка заглядывавший к ним Решетов шумно удивлялся, чмокал губами, каждый раз повторяя: «Знает заветное слово! Знает!»

Любаша не лезла без надобности под руку, всегда у нее было свое дело, и она не терпела, если ее от него отволакивали или мешали ненужными советами и расспросами.

Квартиру получили однокомнатную, на пятом этаже, с узким балконом, и Любаша употребила все, чтоб не загромождать, сделать ее опрятной, куда тянуло бы после рабочего дня или командировки, в которых муж бывал часто, хотя, как ей казалось, без особого удовольствия.

Колябин работал по-прежнему в газете, только теперь заместителем редактора. Сочинительством занимался время от времени, Любаше не нравилось это, и она порой даже вслух винила себя: не создает-де условий, обременяет хозяйственными заботами, позволяет сыну вскарабкиваться к отцу на колени, когда тот усядется за письменный стол.

Но Колябин сам не придавал решающего значения литературной работе, хотя издал уже три сборника, и его рекомендовали в

Союз писателей. Перед глазами неотступно стоял образ Рубцова, которого почитал истинным поэтом, себе же отводил третьестепенную роль. Да при чем тут его мнение? Народ считал Рубцова своим поэтом.

Не раз и не два вспоминал Колябин, как возникла и воплотилась мысль о надгробии над могилой Рубцова.

Началось с похорон. Желающих выступить на кладбище оказалось много. В основном не из самого близкого окружения покойного. (Друзьям было не до слов. Тем более, у свежей глинистой щели, где язык отказывал самым словоохотливым). Да и остальные торопились, может, выразить то, что при жизни по разным причинам не удалось. А душа требовала выхода. Ведь в самой-то сокровенной глубине и они любили его, хотя, может, и обижались или были обижены им. Всякое случалось.

Но кто-то коротко и горестно произнес, что уж если не смогли сберечь поэта для себя, то обязаны сберечь для потомков, и будет очень справедливо, если безотлагательно начнутся работы по воздвижению памятника Рубцову. Поначалу пусть хотя бы пока скромного надгробия.

И все искренне и твердо поддержали. Стала развиваться мысль, что можно собрать средства по подписке; но оратора остановили, намекнув, что место для скорых и деловых решений неподходящее. Однако мысль приобрела крылья, и вскоре в Союз писателей начали поступать первые деньги. Лично их приносили знакомые люди, приходили деньги и в конвертах, перечислялись почтовыми переводами. Были организованы платные выступления, сбор от которых тоже ложился в образовавшуюся копилку.

Когда дело дошло до воплощения идеи и были наняты мастера, выяснилось, что многие отказались от вознаграждения. Хотя бы директор завода ВПВРЗ Альченко Иван Кондратьевич, взявший на себя самое дорогостоящее предприятие — отлить в бронзе барельеф, терновую ветвь для саркофага, факсимиле, цифры с датами жизни и гибели для стелы, — отказался принять хотя бы копейку, заявив, что большинство формовочных и отливочных работ произвел самолично как бывший литейщик; и будет счастлив, если труд его оценится и примется друзьями Рубцова и послужит светлой его памяти.

Следом отказались от денег рабочие, пропаривавшие стелу на железобетонном заводе. А в реставрационных мастерских по самым скромным расценкам отпустили дефицитный мрамор, стоило только объяснить, для чего он потребовался.

Но и это не все. Когда открывалось надгробие, рабочие цветочного хозяйства настригли две корзины огненных роз и

отрядили представителей, чтоб поставили в изголовье поэта. И эти розы рдели на январском снегу.

Да, Миша Колябин все помнил прекрасно и не однажды рассказывал на встречах с читателями, на вечерах памяти Рубцова, проводимых теперь с особой значимостью и тщанием.

Однажды занесло Колябина в Вельск, и местные библиотекари, узнав о его дружбе с Рубцовым, явились в гостиницу целой делегацией и попросили выступить в городской библиотеке, где проходил их семинар. Колябин не отказался. Люди внимательно слушали рассказ о Рубцове, чутко реагировали на каждое стихотворение, а под конец — по обыкновению — начали задавать вопросы.

— Кого из поэтов особенно любил Рубцов?

— Какие пел песни?

— Как одевался?

— Сколько раз женился?

— Как зовут дочь и где она сейчас?

— Правда ли, что очень дружил с Бахусом?

— Много издается после смерти, а почему же невозможно достать его книг?

Миша порою обстоятельно, порою шуточно отвечал на все вопросы. Но вдруг выплыл неожиданный.

— А как вологодские писатели относятся к убийце? — задала его сухая, в очках, женщина.

— По-моему, в вопросе заложен и ответ: как к убийце! — холодно ответил Миша.

— Но она же отсидела пять лет...

— А ей дано восемь, — мстительно подчеркнул Колябин.

— Вы жаждете крови? — опять прицелилась сквозь очки сухопарая.

— Это она жаждала крови и получила свое.

— Но нельзя же так... — протянула женщина.

— А как можно? — оборвал Колябин.

— Понять, пожалеть...

— Тогда надо пожалеть и понять Дантеса и Мартынова.

— Ну, вы хватили! — недовольно покачала головой очкастая.

— А что тут хватать? Там хоть выбор был: кто — кого. Выходили с достоинством к барьеру, и у каждого по пистолету. А тут выбора не было...

— Ну, если так ставить вопрос... — опять протянула противница.

— Только так! — отрезал Колябин и, подумав, спросил: — А почему, собственно, вы так защищаете Д...?

— Я не защищаю,— замялась женщина.— Но существуют законы, милосердие...

— Она работает в нашей системе,— ответил кто-то из зала.

— Как работает? — недоуменно воскликнул Колябин.— Она ж сидит!

— Значит, не сидит...

— Но я же умею считать: ей осталось два с половиной года.

— Вы забыли, что нынче Международный год женщины,— помогли ему.

— И что из этого следует?

— Следует — амнистия.

«Значит, как за хулиганство: пять с полтиной»,— задумался Колябин.

— Что ж, спасибо за приятную информацию,— усмехнулся.— Думаю, на этом можно и закончить нашу встречу.

А позднее подошла к нему миловидная женщина, с которой он вел заключительный диалог:

-- Спасибо вам, что постояли за своего друга.

-- Как видите, плохо постоял. А кто эта... в очках?

— Директор нашей библиотеки.

— Ага, значит, она беспокоится о чести своего мундира! — начал соображать Миша.

— Она устраивала Д... в библиотеку лесосплавной конторы.

— Вот оно что!

— Да, кроме того, они не расстанутся. Ходят друг к дружке на чай. И мне показалось, что в начале вечера Д... мелькнула в коридоре и, возможно, устроилась где-нибудь за стеллажами, чтобы знать о себе ваше мнение.

— По-моему, я был не очень двусмыслен?

— Да, все сказано без обиняков. Так что теперь ждите ее ответа. Думаю, она будет искать с вами встречи...

И женщина оказалась права.

...В золотую ясную пору, когда унылые дожди еще не подступили, а солнце не истратило до конца природной силы, и поэтому листва на березах и кленах, хотя и подрастеряла былую уверенность и говорливость, но все еще держится на высоте,— любил в такую пору Миша Колябин рвануть куда-нибудь подальше от городской сутолоки, поближе к лесным посветлевшим глубинам, притихшим омутам, безлюдным покосам. Никого собою не обременив, ни в какие компании не втираясь, садился в пригородный поезд либо автобус и, даже не утвердив в сердце окончательного маршрута, мчался, куда мчалось, зная, что дальше родины не увезут, а она хороша везде, особенно в трепетные дни ранней осени.

Хорошо ему дышалось и думалось возле пыльного дорожного окна, и, конечно, он не предполагал, что в это самое время порог их дома переступила убийца сокровенного и неповторимого друга его.

Д..., достигнув пятого этажа и тяжело отдышавшись, коротко позвонила. Был воскресный день, и Любаша, уложила сына спать, прибиралась на кухне. Боясь, что повторный звонок разбудит ребенка, она метнулась к двери и, мягко отодвинув задвижку, открыла. Перед ней стояла крупная рыжеволосая женщина в светлом плаще, с выразительными голубоватыми глазами и слабой улыбкой.

— Здравствуйте, Колябины здесь живут? — спросила она мелодичным непотускневшим голосом.

— Здесь. Вы, наверное, к Мише? — спросила хозяйка, догадываясь, что вряд ли нужна она сама.

— Да.

— А он уехал с утра в лес. Но к вечеру будет.

— Только к вечеру? — пожалела гостя раздумчиво. — А может, подождать? — скорее предложила, чем спросила она и посмотрела в глаза Любаше, которая, не выдержав прямого и смелого взгляда, опустила ресницы.

— Как вам удобнее, — пролепетала покорно хозяйка и безвольно уступила дорогу. — Проходите.

— Спасибо, — мягко поблагодарила гостя и твердо стукнула каблуками в прихожей.

— Только, ради бога, — тише, — опомнилась Любаша. — У меня сын спит, — и она заглянула в комнату. — Не проснулся, слава богу. Придется пока шептаться, и то — на кухне. Если согласны — раздевайтесь.

Когда прошли на кухню, Любаша предложила:

— Может, чаю?

— Не откажусь. С дороги не помешает.

— Вы не здешняя?

— Нет, я по соседству, — уклонилась от прямого ответа гостя.

Любаша испытывала неосознанное беспокойство и при каждом удобном случае зорко взглядывала на гостью.

— Я вас нигде не могла видеть? — наконец не выдержала она.

— Думаю, нет, — спокойно ответила гостя. — Но вам наверняка известен мой словесный портрет. Правда, тогда я была значительно моложе, и, наверное, многие черты за эти годы изменились и даже стерлись, — покетничала она.

— Вы меня интригуете...

— Что вы! Не имею на это права,— и жестко отрекомендовалась.— Я Д..., убийца Рубцова.

Люба обмерла, округлила глаза и еле слышно охнула.

— Вы погубили поэта Рубцова? Я не ослышалась?

— Не ослышались,— спокойно ответила гостья, но голос ее дрогнул, и она покорно уронила веки.

В это время дверь из комнаты отворилась, и на пороге показался босоногий Николка.

— Ах, какой мальчик...— нараспев неестественно проворковала Д...

Люба оглянулась, увидела раздетого ребенка и бросилась к нему, как к спасению.

— Можно, я его конфеткой угощу? — попросила с надеждой Д...

— Нет, нет! — тотчас ответила Люба.— У него диатез. Нельзя.— К счастью, ребенок не слышал спросонья, о чем идет речь.

— Хотя, что же я? — словно растерялась и одумалась гостья,— конечно, не позволите...

— Нет, вы не подумайте,— попыталась выкрутиться Люба, но, помедлив, повторила.— Ему нельзя!

Д... огорченно посмотрела на хозяйку и укоризненно произнесла:

— Зачем вы так? Я ведь тоже — мать,— в ее глазах показала неподдельная тоска.

Любе вдруг подумалось, что она незаслуженно обидела гостью и необходимо срочно исправить положение.

— Простите меня,— заизвинялась.— Я знаю, что вы много перенесли...

И в то же время проклинала себя за малодушие, понимая, что перед ней сидит преступница, лишившая жизни лучшего друга ее мужа, их свата. Ведь именно он свел двух нерешительных молодых людей и всячески оберегал возникший союз. Несколько овладев собой, Люба предложила:

— Пейте чай, пожалуйста. А то совсем остынет,— а сама прижимала к себе мальчонку, притихшего на коленях у матери и удивленно и с интересом разглядывавшего незнакомую тетю.

— Как зовут? — спросила Д..., кивнув на мальчика.

— Коля...

Она передернула плечами и, похоже, проглотила комок в горле.

— Видимо, в честь...

— Да, в честь Николая Михайловича,— подтвердила Люба.

— Вы знаете,— перевела Д... разговор.— Я хотела встретиться с вашим мужем и объяснить, что не существовало с моей стороны никакого намеренного хладнокровия. У нас с Рубцовым

вообще все было горячо и страстно. Но его дурной характер, неумение уступать, стремление во всем главенствовать... привели к катастрофе.

— Я понимаю,— раздумчиво произнесла Люба.— Но не хочу, чтоб вы все это излагали мужу.

— Почему?

— У него свои соображения... Не первый год живу — знаю.

— Но я сумела убедить многих известных людей — и в Москве, и в Ленинграде,— возразила Д...

— Там, наверное, это проще,— согласилась Люба.

— С чего вы взяли?

— Там — сторонние наблюдатели, а здесь — участники событий. Разные полюсы.

— Может быть,— словно про себя произнесла Д...

— И разрешите дать совет: не ищите встреч с моим мужем,— полностью овладев собой, сказала Люба.

— А что такое? — встревожилась гостья.

— Я не знаю, чем это кончится...

Д... помолчала, подумала, наконец согласилась:

— Понимаю...

— И очень хорошо. Это я говорю как женщина и мать.

— Но я, кроме всего прочего, хотела показать ему свои записки.

— А вы пишете? — удивилась Люба.

— Конечно,— спокойно ответила Д...— Все эти годы.

— И стихи? — еще больше удивилась Люба.

— И стихи,— подтвердила гостья.— А что в этом противоземного?

— Но вас не печатают? — то ли спросила, то ли утвердила хозяйка.

— Пока нет. Но обо мне хлопочут. И довольно именитые люди,— с гордостью сообщила Д...

— Ну, хорошо,— примирительно и как бы заканчивая разговор, сказала Люба.— Если хотите, я передам мужу ваши записки. Только оставьте адрес на рукописи.

— Тут все написано.

— Я попрошу, чтоб он или ответил вам, или вернул бумаги,— пообещала Люба.— Поверьте, он у меня человек обязательный.

— Большая редкость в наше время,— похвалила Д...

— Да, немалая. И простите, мне пора заняться сыном.

Д... поняла, что ее время истекло, и с готовностью встала.

И только когда на лестнице затихли шаги и хлопнула входная дверь, Люба почувствовала, как устала, и плюхнулась на диван, крепко прижимая к себе ничего не понимающего сына.

Любаша обо всем в подробностях рассказала вернувшемуся Колябину. Он мрачно выслушал и глухо застонал:

— Как ты могла впустить ее в наш дом?

— А что я могла поделаться? — взмолилась жена.

— Спустить с лестницы!

— Именно это я и предрекала ей, если она будет искать с тобой встречи.

— Как ты могла впустить в наш дом такую гадину? — не унимался Колябин.

— Миша! Ну, что ты равняешь всех с собой? — бессильно пожаловалась Люба. — Я просто растерялась...

— В другом месте вы не теряетесь, — злился он. — А тут — и лапки кверху.

— Что ты прицепился, — в свою очередь завелась жена.

— А то, что ты опозорила меня! — выкрикнул Колябин. — И в душу плюнула. Эта стерва, может, сейчас с ангельским видом кладет цветочки на его могилу. Ненавижу!

Умные женщины понимают, что есть моменты, когда мужчинам лучше не перечить. Любу бог умом не обделил, и она решила переждать грозу.

А Колябин взял записки Д..., ушел на кухню, закрыл дверь и не выходил до утра.

II

Из записок Д...

«2 мая 1963 года я случайно оказалась в одной компании с Николаем Рубцовым... («Неужели она точно помнит даже дату, — подозрительно подумал Колябин. — Что это? Заведомая ложь или расчет на полное доверие к ее памяти и всему излагаемому?»)»

...Я была тогда полна необыкновенных надежд и предчувствий неперменного счастья. Мы легко и светло познакомились. В его говоре, облике, движениях было столько близкого, почти родного, что разговор получился сразу. Выяснилось, что он из Тотьмы, жил и рос по соседству со мной, а моя мама — крестьянка когда-то именно туда ездила сдавать льнотресту...

(«Гляди-ка, сколько сразу родственного обнаружилось!» — не мог успокоиться Колябин).

...Он очень хотел меня заинтересовать собой, даже завлечь, и достал из чемодана кипу снимков с видами Тотьмы, реки Сухоны, родных пейзажей. Он постоянно возил с собой эти фотографии. На большинстве из них был запечатлен и он сам — в форсистой кепочке, в модной тогда вельветке и брюках-клеш.

Частенько рядом с ним появлялась невзрачная девочка с жиденькими косичками. На фоне его — яркого, открытого, веселого — она выглядела особенно жалко.

— Это Люся, — просто объяснял Рубцов.

— А где она теперь?

— Ее больше нет, — лихо отмахнулся он и запел популярную в те годы песенку: — «А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила».

(«Ишь, какого блатнягу лепит, — с неприязнью отметил Колябин. — Знает, куда ведет...»)

...Учится в самом модном институте («Одна мода на уме!» — опять не выдержал Миша), а песни поет приблатненные. Как это не вязалось с обликом русского поэта!

Песню подхватили и другие студенты, его дружки, а Рубцов всеми дирижировал. Я подпевать не стала. («Ах, какая умница, скромница, отличница-десятиклассница, примерная комсомолка...»)

«Надя, так вы стихи пишете? — искренне обрадовался он. — Обязательно почитайте. Я хочу знать!» И я прочитала несколько ранних стихотворений, сама понимая, что не лучших, но Рубцов вскочил возбужденный и воскликнул: «Вы поэтесса! — и горячо обнял меня. — Молодец, землячка!» После такой поддержки трудно было не проникнуться доверием и симпатией. Уже по-свойски я шепнула ему на ухо, зачем я здесь и кто мне нужен. Он немедленно поднялся и ушел, но вскоре вернулся: «Его пока нет, но скоро будет».

Эта готовность отозваться на чужую нужду, желание и способность немедленно действовать — подкупили меня. Подумалось, что я нашла когда-то потерянного, но вновь найденного проверенного друга, на которого во всем могу положиться, Это было огромной радостью!

В тот вечер я все-таки дождалась своего единственного человека, к которому приходила, и Николаю Рубцову предстояло надолго выпасть из моей памяти.

Примерно через год я возвращалась через Москву из очередного отпуска и везла с собой бидончик самоварного деревенского пива. Его хорошо варил мой отец, и мне хотелось угостить столичных друзей, у которых обычно останавливалась; но их не оказалось дома. И почему-то я вспомнила о Рубцове и позвонила ему в общежитие, и он почему-то оказался дома. Когда мы встретились, поняла из-за чего он не выходит на улицу: у него под глазом сидел «фингал». Он морочил мне голову, что упал и т. п. Как в детском саду, но было ясно, что помогла какая-то драчка...

Я с трудом пересилила себя, чтоб тут же не уйти от него... («Все-таки сама к нему приперлась...— злорадно хмыкнул Колябин.— А сколько разглагольствовала, что он-де привязался ко мне, проходу не давал...»). Все в нем раздражало: и мятая рубашка, и какие-то ужасные шаровары, грязный берет на голове...

(«Так уйди! — подсказал Колябин.— Кто тебя держит? Уж тут-то никаких замков нет. Нет, ты не уйдешь! Ты не за тем пришла...»).

Но что-то меня остановило...

Следы нехорошей беспорядочной жизни зримо проступали на лице. Но негибкая сила сквозила в его прямом пристальном взгляде и подумалось, что эта жалкая одежонка и далеко не респектабельный вид — не главное в нем, и внутри дремлют недюжинные пласты, которые значительнее внешней оболочки.

Мы присели в скверике на скамейке, и он прочитал мне свои стихи, которые потрясли меня. Я поняла, как глубоко он страдает и широко мыслит, как он искренен и незащищен. И это его внутреннее страдание подкупило меня. Мне стало его жалко. Что-то могучее звучало в его сильном голосе. Было ясно, что он живет своей скрытой от постороннего взгляда жизнью, и ему ведомы печали его Родины, которой он безраздельно предан. То были стихи «Видения на холме».

— Скоро у меня выйдет подборка в «Октябре»,— сказал он.— Почитай, если попадется.

— Непременно,— ответила я.— А сейчас я хочу угостить тебя пивом. («Вот оно, где началось...» — сузил глаза Колябин).

Он повеселел, бодро поднялся, начал шутить и каламбурить.

Мы поехали устраиваться в гостиницу. В автобусе было тесно, и его, такого шупленького, совсем где-то зажали на задней площадке, но я со злорадством подумала: ничего, ничего, толкайте его, зажимайте, смотрите на него свысока. Он еще вам покажет! Вы еще в ножки поклонитесь этому маленькому тщедушному человеку!

В гостинице он с наслаждением глотал пиво, а мне было тревожно, неуютно, и я все время выбегала зачем-то в коридор, много болтала, очень боялась, что он заговорит о чувствах; но он промолчал. Он понял, что кроется за моим беспокойством и не сделал лишнего шага. Он допил пиво и куда-то заторопился.

Он был очень непоседлив всю жизнь. Я его проводила, и он надолго выпал из виду.

Через несколько лет в Воронеже, проходя возле книжного магазина, я увидела в витрине знакомую фамилию. Новая внезапная встреча с Рубцовым! Оставалась всего одна книга, и она доста-

лась мне. Ну как же не судьба! Счастье общения с его душой захлестнуло меня. Это был третий поэт, над стихами которого я обливалась слезами. До этого были Есенин и Цветаева. Спазмы сдавливали мне горло, я беззвучно заплакала. От рождения была очень чувствительна. В моем сердце появилась навязчивая идея: я должна увидеть его и поклониться за его поэзию! Нет, я не рванулась сразу. Ушел год на подготовку, прежде чем решилась, разрубив все прежние узлы, поехать в Вологду. («Пошла на приступ, все взвесь и все обдумав», — не сдержался, подытожил Колябин).

С трепетом поднималась 23 июня по лестнице на пятый этаж. Позвонила. За дверью слышались шаги. Я замерла. Он открыл.

— Вы меня узнаете?

— Конечно, узнаю, проходите.

Весь пол был устал листками, которые он спешно собрал, пыхтя и потя, смахивая ладонью пот со лба. Но как мне поклониться? Он сам ползает по полу, почти у меня под ногами, согнувшись в три погибели, в старых подшитых валенках, еще более полысевший. Я прислонилась к косяку и ждала, когда он закончит. На душе было легко. Наконец я вижу его, собирающего листки рукописи.

А он все взглядывает на меня исподлобья и улыбается. Он был так прост, что желание театрально поклониться ему пропало само собой. («Да, она будет лепить свой, выгодный для нее образ, — подумал Колябин. — И тут ничего не поделаешь»). Потом мы пили чай. Он сказал, что мне повезло — застала его дома.

— Уплываю в Тотму! Поплыли со мной!

— А билет?

— Достаем билет.

Но в это время раздался резкий, совершенно ненужный звонок. Он помрачнел и шагнул к двери. В комнату влетела женщина, от резкого движения полы ее плаща взметнулись, но, увидев меня, она затормозила движение. Мне стало неловко, и я хотела уйти, но Рубцов задержал меня. Пришлось знакомиться. Он нервничал, мрачнел, резко обрывал ее на полуслове, когда она пыталась заговорить, сильно окая по-вологодски. Женщина взяла веник, пошла на кухню, стала подметать пол. Все было ненужно, нелепо, неловко, Рубцов морщился, словно от зубной боли. Сели пить чай, но чаепитие не клеилось. Рубцов окончательно расстроился и не скрывал уже своего раздражения.

— Надя, давайте погуляем, — сказал он мне, как будто той совершенно не существовало.

Мы вышли втроем, но женщина потихоньку отделилась от нас, и мы пошли в противоположную сторону. Я обрадовалась, и он

засветился и весь сиял. Солнце сверкало на куполах, и мы говорили уже снова как родные.

— В этом доме живет Алексей Решетов, я тебя познакомлю с ним. Это наша отечественная гордость.

Я поняла, что там он частый гость. Его хорошо приняли. Сразу посадили за пироги. Хозяин паясничал, шутил, каламбурил, считал меня непосвященной в подобного рода разговоры. Я думала: валяй, валяй придуривайся. Я тебя все равно вижу насквозь, и видела мудрую печаль серьезного русского писателя, много вынесшего на своих плечах и скорбного, и тяжелого. Было невесело от его шуток...

Когда вышли от него, Рубцов предложил:

— А теперь зайдем к Мишеньке Колябину. Он свой парень, настоящий, хоть и молодой, и глупый еще.

Его дома не оказалось, и мы пошли на пристань. Он хотел купить мне билет, но я уговорила его ехать одного. Будет у нас время еще и вместе прокатиться. Я не хотела так просто сдаваться и обеспечивать ему легкую победу. Я решила проводить его в Тотьму. Почему меня уже тянуло к этому человеку и почему сопротивлялся этому весь мой организм? Рубцов был для меня чисто духовным существом и никаких мужских, чисто мужских, качеств, казалось, в нем не присутствует. Однако его воля говорила о том, что он мужчина, и мне делалось уныло и тускло.

Тут я увидела опять ту утреннюю женщину. Когда пароход отплыл, она побежала вдоль берега и долго старательно махала рукой, но Рубцов демонстративно отвернулся и ушел с палубы. Мы с ним простились до этого.

В другой раз, когда мы плыли уже вместе, все повторилось. Опять она бежала по берегу, опять махала рукой, но он стоял истуканом. Я готова была провалиться сквозь палубу.

— Коля, ну помаши ей рукой, нельзя же так, — умоляла я.

Но он оказался неумолимым. Невыносимо наблюдать это, я схватила его и потянула на другую сторону. Ехать пришлось в одной каюте. Его присутствие волновало и мешало связно думать, но он был любезен и предупредителен, и я потихоньку успокоилась. Вел он себя очень корректно, но тоже заметно нервничал. Я дала ему понять, что он напрасно надеется на легкую победу и пошутила:

— А ты привык овладевать женщинами, как задачиком для 5-го класса? — думала, что его это рассмешит, но он обозлился, ушел в буфет, нахlestался пива, рассорился с пассажирами, довел до слез какую-то нагловатую девчонку, которая нелестно что-то обо мне сказала. Он принуждал извиниться ее передо мной, та пожаловалась матросу. Тот предложил мне усмирить

«этого типа», иначе его сбросят за борт. Я утасила Рубцова в каюту, и больше мы оттуда не высывались.

Он завел разговор о поэзии и стал разносить Марину Цветаеву, зная, что я люблю ее. Ему хотелось задеть меня за живое.

— Она же ведьма! Злая, как и ее поэзия! А поэзия должна быть доброй.

Я спорила, утверждала свой взгляд:

— Марина не злая, а трагическая, я люблю ее!

— Вот Тарас Шевченко сколько пережил, а поэзия осталась доброй,— возражал он упорно.

Долго мы спорили. На глазах его сверкали слезы, и я понимала, что он свою душу выплескивает в этом споре. И непоправимо большая трагическая душа виделась мне в его истошных выкриках. Позднее я привыкну к этому его состоянию, но этот яд просочится и в мою душу и постепенно отравит ее.

Он просветлел, когда на берегу появилась Печенгская церковь. Мы выбежали на опустевшую палубу. Вероятно, был какой-то религиозный праздник, к церквушке шли пожилые женщины в белых и черных платках, шли по невидимым тропинкам, но все к одному месту. Рубцов, размахавшись, сказал:

— Когда-то мы тут проплывали с Яшиным. С нами еще много народу было. Все ему дарили свои книжки, а я не дарил. Я с ним ходил, разговаривал, а книжку не дарил. Думаю: посмотрю, обидится, или нет. Он сам не выдержал, купил мой сборник, подходит, глядит исподлобья. Хмурый: — «Подпиши,— говорит,— хотя бы за то, что я на 16 копеек разорился». Ну, уж тут я ему от всей души подписал. Размахнулся. Мы долго с ним бродили по Тотьме. И он мне вдруг, приблизясь, сказал одному, чтоб никто не слышал: «А ведь ты меня сильнее». И больше ничего.

Я спросила:

— Ты возражать не стал?

— Нет, не стал.

— Правильно и сделал.

— Но он сказал это, когда у него был не один десяток книг, он всеми признан, а у меня всего одна-единственная книжечка.

Тотьма встретила нас утренним холодом. Солнце только набирало силу. Мы взобрались на берег. Невдалеке возвышалось старинное строение, нечто вроде средневековой башни.

— Тут раньше варили соль,— сказал Рубцов.— Здесь я все мальчишкой избегал,— и обвел окрест рукой.

Потом он спустился с берега и умылся водой Сухоны. Мылся долго, с наслаждением, фыркал, плескался, и брызги искрились на раннем солнце. Я благодарила судьбу, что подарила мне это утро и этого человека.

Он поднялся свежий, веселый, улыбающийся.

— Умыла родная река? — спросила я.

— Именно родная, — мягко сказал он. — Такая родная, что не бывает родней.

Посмотрел в мои глаза:

— Они у тебя почему-то зеленые, как эти берега. Ну, пошли смотреть мою Тотьму.

Проходя мимо парикмахерской, снова завел разговор о Яшине:

— Нужно ему тогда было побриться да голову вымыть. А у нас не моют головы. Не знаю, как сейчас, тогда только стригли да брили. А он пришел, такой большой да красивый, — и ему помыли. И вообще не знали, как угодить такому гостю. А я думал, что именно я ему из всей компании ближе и дороже, он только меня с собой позвал гулять по Тотьме. И я был горд, что он избрал меня.

— Да, Яшина уже нет... — грустно сказала я.

— Нет, — повторил он печально. — Вот и ты потом пойдешь по этой улице с кем-то, а меня не будет.

— Может, я раньше тебя умру, — сказала я беспечно.

— Нет, я опережу, — убежденно опроверг Рубцов.

Но скоро наше уединение было нарушено. Николай встретил какого-то знакомого отпускника, приехавшего с женой на «Запорожье». Он свозил нас в лесотехнический техникум, где Рубцов учился в отрочестве. Там Коля расстроился, осматривая полуразваленную церковь:

— Какая жалость! Во что ее превратили! Такая была красавица! А росписи! А по этому карнизу я и бегал мальчишкой.

Он водил меня по старинным кельям, где раньше жили монахи, а теперь шумели студенты, готовились к экзаменам. Он извинился перед студентами за беспокойство и все, показывая на меня, говорил:

— Это поэтесса из Воронежа, интересуется...

А про себя молчал.

— В этом Спасо-Суморином монастыре Петр I бывал, — гордился он за свой край.

Во дворе бродил между берез и говорил возбужденно:

— А здесь похоронен известный землепроходец-тотмич Иван Кусков. Он добрался до Аляски. Тихий океан одолел. Его могилу искали долго, все перерыли, но не нашли. А точно — здесь похоронен. Может, мы сейчас стоим на его костях...»

Дальше Миша Колябин прочитал, как ей было хорошо, как она, скинув туфли, бегала по свежей траве, мокрой после недавнего дождя, и особо вчитался, когда дошел до строк:

«Когда мы вернулись к машине, наши мужчины уже изрядно хватили. Из благодушного и веселого Рубцов превратился в агрессивного, время от времени что-то отрывисто изрекающего, с плотно сжатыми губами, нахмуренного. Для меня это было совершенно внове, и я не предполагала в нем той грозной силы, которая требовала выхода и не успокаивалась, пока не находила его. Не знаю почему, но мной овладело бесконечное веселье. Его ершистый вид, жесткие скулы, неподвижность пристального взгляда смешили меня, и я начала его подначивать. И скоро пожалела об этом. Особенно все обострилось в столовой около пристани, где нам принесли телячье сердце с гарниром. Я поддразнила, что это вовсе не телячье сердце, а сердце некой дамы, которая истрадалась по Н. Р. Это была последняя капля, переполнившая его терпение. Он взвился:

— Не смей упоминать это имя! — и, с силой бросив на стол вилку, выбежал на террасу. Я пошла его успокоить, но он с ненавистью смотрел на меня, и эта ненависть была настолько искренности и явна, настолько внезапна и открыта и так по-детски непосредственна, что во мне проснулось материнское чувство жалости и нежности к этому больному и обиженному ребенку.

Но я решила уехать, отомстить ему за то, что он позорит меня в присутствии посторонних людей. Я пошла в кассу и встала в очередь. Когда была почти у окошечка билетерши, почувствовала, как кто-то тянет меня за рукав, обернулась — Рубцов. Он был само смирение и кротость, с мольбой и испугом в глазах.

— Наденька, не уезжай. Прости меня. Что я тут без тебя один буду делать?

Моему удивлению не было предела. Но я хотела его проучить, поэтому выказывала непримиримость и глухоту к его увещаниям, хотя знала, что останусь.

Пришли к дому приезжих. Нас поселили в разных комнатах. Он пригласил к себе. Там сидели двое насупленных юристов.

— Это моя жена, — сказал Рубцов. — Она постелит мне постель.

Мне было весело. Под неприязненными взглядами я быстро постелила постель на диване и шепнула ему, чтоб не задибался, а он всем видом выказывал им неприятие, и я ушла, чтоб он передо мной снова не начал показывать свой характер.

Утром я проснулась от влажного солнца и тишины. Соседки мои разбежались, я была одна. Поднялась, оделась, причесала волосы. В дверь постучали, и тут же вошел легкий и свежий Коля:

— Еще ты дремлешь, друг прелестный?

— Пора, красавица, проснись, — ответила я ему, и мы счастливо рассмеялись.

Он повел меня в музей. Был выходной, но, видимо, заведующую предупредили, что Рубцов хочет посетить их заведение. Нас впустили, и мы более двух часов бродили по выставкам.

— Раньше был директором Чернецов, одержимый в своем деле, и музей процветал. А теперь баба — и все хиреет...

Я давно заметила его неприязнь к «бабам», но он меня к таковому не относил, я была благодарна за это.

В дальнем зале он обнял меня и стал целовать, приговаривая:

— Надя, дорогая, запомни. Все это Родина. Это наше родное, кровное. И ты... Такая же родная, милая, русская. Если б ты знала, как мне с тобой хорошо.

Он был вдохновенным в эти минуты, и я не могла не верить ему, и со всей страстью женского сердца откликнулась на его ласку и верила во все хорошее.

Мы еще долго бродили в тишине музейных покоев, робея и радуясь, взявшись за руки. Подошли к ящику, где был прах, тлен, остаток древнего человека, проломленный высохший череп.

— Вот что будет и с нами когда-то,— грустно произнес Рубцов.

А вышли на свет, он сказал:

— Когда меня не будет, ты знай, что по этим улицам ходил я, и ты вместе со мной! Что мы стояли вот на этом месте,— и он притопнул ногой.

В обратной дороге он подолгу молчал, и я шутя предложила ему сходить в буфет и поднять настроение. Он сверкнул глазами и быстро воспользовался советом. А потом всю ночь мучился, задыхался. Ехали в многоместной каюте, с нами была старушка, которая мне говорила:

— Ой, девонька, ой, матушка, да как же ты с ним живешь-то? Ой, не увидишь ты с ним свету белого. Да ведь он и старой против тебя: детей-то много? Нет? Ну, и слава богу, хоть они не мучатся. («Сама подсказала путь к буфету, а потом принимает соболезнования»,— обозлился Колябин).

Я прикладывала к его лбу холодное полотенце, расстегнула рубашку и клала ледяное полотенце на грудь. Ему ненадолго становилось легче, но потом он снова скрипел зубами и стонал. Мне было страшно и стыдно, что я связалась с таким человеком. И все смотрели на меня с сожалением, сокрушенно качали головами. Тяжкое чувство не покидало всю дорогу.

На пристань в Вологде он сошел робко, и все прятался за спины людей, осматривался, выжидал. («Какая наблюдательность змеи...» — снова не сдержался Колябин от комментария).

— Коля, что с тобой, чего ты боишься?

— Ты же знаешь, что меня могут встречать. Ну эта... А я не хочу. Придет эта дура, и все испортит.

Мы расстались, я уехала на вокзал. Мне нужно было к родителям. А он поплелся на перевоз, чтоб скорей добраться до дому и отлежаться. Видимо, сердце у него уже тогда сдавало. Я не провожала его. Но мысли возвращались постепенно к Рубцову. Его образ не покидал меня, преследовал, мешал жить. Это чувство гениального угадано Тютчевым:

*«...Он не змеєю сердце жалит,
Но, как пчела, его сосет».*

Вот эта самая пчела остро, тонко и упорно сосала мое сердце. Я уже знала, что буду жить под Вологдой. («А это почему? Кто велел? Кто звал?» — не унимался Колябин). Что придется встречаться с Рубцовым. Предчувствие какого-то рока иногда мрачной волной захлестывало меня, но делать было нечего. 5 августа 1969 года я получила вызов в Вологду. В тихой деревушке Троице, близ Лосты, в двух километрах от города, я приняла библиотеку и поселилась с маленькой дочкой. («Наконец-то и о ней вспомнила...») Тут же, при библиотеке. В деревушке была начальная школа, медпункт, библиотека и три частных дома, пруд да буйно-зеленое сельское кладбище с огромными деревьями на нем. Я часто повторяла Батюшкова:

*А мы в глуши лесов, полей
Вкушали мирны наслажденья.*

Дочку устроила в садик, сама с головой ушла в хозяйственные заботы.

Наняла печника, отремонтировала печь, запасла дров, оклеила и утеплила квартиру, проконопатила окна и стала поджидать зиму. («Какой справный мужик!..» — усмеялся Колябин).

Рубцова встретила в Союзе писателей совершенно случайно. Я зашла туда показать свои стихи. Он так обрадовался!

— Почему не писала? Да как же так, — и несколько раз повторял, что очень часто думал обо мне.

Снова темная волна предчувствий захлестнула меня, и то, что он обрадовался мне и засыпал вопросами, не радовало. Выразил желание посмотреть, где живу. Я уклонилась, тогда он настойчиво стал звать к себе.

Я пришла к нему во второй раз. И если тогда переступала порог с чувством преклонения перед его даром, то на этот раз перешагнула тот же порог с чувством неизбежной, почти неотвратимой близости с этим человеком.

Теперь часто размышляю, что если бы судьба не схлестнула меня с этим человеком, моя жизнь, как и у большинства людей,

прошла бы без катастрофы. Но я, как в водоворот, была втянута в нее. Он искал во мне сочувствия и нашел его. Рубцов стал для меня самым близким человеком, родным и дорогим. Но... как странно. словно этим он меня приблизил к черной бездне, куда заглянула я и оцепенела, ужаснулась. Мне открылась страшная глубь души, мрачное величие скорби, нечеловеческая мука постоянного страдания. Рубцов страдал, он уже был смертельно надломлен. («Как нагнетает!!!») Где, когда и почему это могло произойти, мне неизвестно. Но это произошло.

Напившись, он мог часами неподвижно сидеть на стуле, уставясь в одну точку, одной рукой опираясь о стул, а другой держа сигарету — и думать, думать, думать. В его глазах часто сверкали слезы, какая-то невероятная невыплаканная боль томила его. И тут же он вдруг мог сорваться со стула, кидать в меня чем попало или вдруг исчезнуть. Дикие приступы утонченной жестокости вызывали страх и отвращение. Чувство, что я в западне, однажды вселилось и уже не покидало меня. Но я решила разорвать эти цепи. («Вот оно! Прорвалась сущность!»)

В середине октября выпал снег, стало чисто, пустынно, кладбищенские деревья окуржавели и позванивали при слабом ветре. Мне захотелось разделить эту красоту с Рубцовым, окунуть его в это великолепие, чтоб на душу сошла благодать умиротворения. И я пригласила его к себе.

Мы шли полями под белой осенней луной, ее прозрачный свет лился на нас, а снег похрустывал под ногами. И он улыбался — своей простой и глубокой радости. У меня было тоже хорошо на душе, но я чувствовала, что очарование не будет долгим, что все это скоро пройдет. Уже тогда я поняла, что люблю им, но к чувству восторженности примешивался смутный туман неизвестности и печали в будущем. Мне замерещилось, что я в западне. Любовь — западня. Впоследствии в черные дни неволи я вспомню эту белую луну и нашу прогулку и напишу стихи: «Мы шли под осенней луной, о чем-то смешливо болтали, но видела я за спиной: лег след безысходной печали. Ты что-то рассказывал мне, счастливый, шутил поминутно, меж тем как уже в западне себя ощущала я смутно. Я знала, ты любишь меня и силой возьмешь мою душу, что это и есть западня, и то, что ее я разрушу! Но там под осенней луной при легком головокружении мятеж назревающий мой еще не казался крушеньем. Лишь где-то в крещенские дни запели прощальные хоры, и я у своей западни сняла все замки и затворы!»

О чем говорили мы тогда, не помню. Но с того вечера Рубцов приходил ко мне в любое время суток, в любую погоду. Часто жил неделями, становясь все ближе и роднее и необходимее. Я

рванулась навстречу со всей страстью вполне зрелой женщины. Под его любящим взглядом раскрылась перед ним вся, до самозабвения. Он любил меня всю «от гребенок до пят», и страсть его становилась все иступленней, все ревнивее.

Где-то в мае он вдруг несколько дней не появлялся. Я подождала с неделю, думала, работает, потом забеспокоилась и решила сходить, проверить, узнать, что с ним. Сердце почуяло недоброе. Но я не собралась, что-то отвлекло меня. И наутро в пятом часу раздался стук в дверь. Я кинулась открывать. Это был он.

Он стоял неподвижно и грустным взором вглядывался в меня. Наконец, сказал взволнованно:

— Я не мог умереть, не взглянув в твои прекрасные глаза.

Это выглядело бы мелодраматично, если бы говорил кто-то другой. Но говорил Рубцов, и в его устах звучало такое трагическое признание. Я растерялась:

— Как? Ты хотел?

Боялась произнести вслух, о чем догадывалась. Необычайная горечь была в его глазах. Передо мной стоял совершенно измученный человек.

Я взяла его руку, провела в дом, усадила на диван, разула, дала валенки. («Неужели у них был одинаковый размер?») Села напротив, ничего не спрашивая. Тихим голосом, чтоб не разбудить моего ребенка, он произнес не более двух туманных и витиеватых фраз, и я поняла — он пытался покончить с собой. Я смотрела на него и видела лицо, отмеченное знаком смерти. Передо мной сидел человек, наполовину потусторонний, отстраненный, запредельный. Только страшная иссушающая тоска, которая выжгла душу и сломала волю, могла толкнуть его на этот шаг. Но он его не смог сделать и мучился от слабости. «Я не мог умереть, не взглянув в твои прекрасные глаза...» — звучала во мне фраза. Если бы я знала, что будет потом, может быть, сошла бы с ума, дико и безумно захохотала, рухнув под непосильной тяжестью этого знания. Но я не знала и не могла знать. Роковое грядущее было скрыто глухой завесой. Я видела только обреченность дорогого для меня человека (это я видела точно). Я смотрела в пол и не видела его, пытаюсь проглотить горький комок. Однако мне этого не удавалось, и я поспешно вышла. («Как это все театрально», — поморщился Колябин и передохнул). Он любил ходить на тихое сельское кладбище д. Троицы, особенно в солнечные теплые дни. А моя дочка часто там играла. Зимой каталась на санках с высокого бугра, где раньше стояла церковь, прямо под окна нашего дома; весной там было зелено и травянисто. Однажды они вместе с Рубцовым вернулись с прогулки и принесли с кладбища синий пластмассовый цветочек. Я выругала

их и заставила отнести на место. Именно на то место, где взяли. Потом он написал об этом стихи.

*Девочка на кладбище играет,
Где кусты лепечут, как в бреду.
Смех ее веселый разбирает,
Безмятежно девочка играет
В этом пышном радостном саду.*

*Не любуйся этим пышным садом!
Но прими душой как благодать,
Что такую крошку видишь рядом,
Что под самым грустным нашим взглядом
Все равно ей весело играть!..*

9 июня Рубцов сидел у меня на диване за круглым столом, выпивал, курил. («Сама купила вина и предложила остатки?») Я в огороде поливала грядки из чайника: лейки не было, Рубцов вызвался помогать.

— Я сама сделаю.

— Нет, я хочу помочь.

— До чего же ты вреден!

И тут же чайник был вылит мне за шиворот.

— Идиот, что тебе надо от меня в конце концов? — тихо в упор спросила я и не торопясь пошла домой. Он шел рядом. — Коля, дай мне жить. Я еще нужна ребенку.

В мыслях же немедленно созрел план «отмщения»: «Сейчас я сделаю тебе козью рожу!» Я вышла вперед, прыгнула на крыльцо и захлопнула дверь перед самым его носом, шелкнув задвижкой. Он подергался: не тут-то было. Тогда застонал сквозь стиснутые зубы, скрежетнул ими и ринулся бежать. Через мгновение послышался звон разбитого стекла. А его не видать. Я подошла к окну и (о ужас!) увидела как из правой его руки фонтаном хлестала кровь. Он разбил двойную раму (на лето я не выставляла) и порезал артерию. Упал в клумбу. Я выскочила на улицу, бабушка Катерина Ястребова тоже поливала грядки:

— Позовите скорей фельдшера!

Та вскоре прибежала. Я кричу:

— Наташа, скорей, скорей!

Наложили жгут. Он был спасен.

— Нужно вызвать «скорую помощь» и в больницу, на операцию. До телефона надо бежать в Лосту километра полтора. Я бежала, и у меня было странное ощущение: будто я связалась с шайкой бандитов, и чувство реальной опасности снова тяжким

свинцовым предчувствием придавило душу. Призрак неизбежной гибели так явственно встал передо мной, что я замедлила бег. Какой-то внутренний голос шепнул: «Спасешь на свою голову». («Ну и стерва», — выругался Колябин).

Опомнившись, рванулась с новой силой: «Ну и пусть! Будь, что будет!» («Все-то о себе прежде всего!»)

Минут через пять мы уже прямо по пашне мчались в Троицу, ни путем, ни дорогой. («Почему?»)

Я вынесла пальто из дома и открыла дверцу машины. На меня в упор, не мигая, с тяжелой уничтожающей ненавистью смотрели глаза Рубцова, уже лежащего на носилках. На желтом без кровинки, восковом лице этот лихорадочный блеск был страшен. Не сказав ни слова, я захлопнула дверцу.

Вошла в дом. На столе недопитая бутылка вина. Я поставила ее в угол за шкаф и, давясь слезами, стала собирать с полу осколки стекла. «В больницу не пойду, — решила. — Все кончено. Я его боюсь. Пусть он оставит меня в покое».

Стекло мне врезал сосед. А дня через два, вроде бы невзначай, пришел участковый милиционер. Разговор начал издалека.

— Ничего не случилось, — сказала я. — Никаких битых стекол, сами видите.

— Слушайте, Надя, — усмехнулся участковый, — не притворяйтесь. Только скажите — и мы отсадим его от вас, как от титьки! Он вам на глаза не покажется.

— Неужели сможете?

— Сможем.

— Не трогайте его! Этого не нужно делать. Вы не знаете, что это за человек. И не напоминайте ему ни звуком, ни жестом.

— Ну, как хотите, дело хозяйское. Только смотрите, как бы хуже не было! («А что же она его в свидетели не позвала??? Странно... Все-таки милиционер!»)

Дня через четыре я получила чудное письмо.

На конверте почерком неуспевающего первоклашки был выведен мой адрес и фамилия. С нетерпением вскрываю.

«Милая Надя, твое вероломство и мой безоглядный поступок чуть было не лишили меня жизни...» Боже мой! Вот от кого! Трогательные каракули были написаны левой рукой. Бедный мой! Не выдержал — написал. В письме извинялся и просил, чтоб я не рассказывала о случившемся в Союзе писателей. Но я была там до этого. Кое-кто уже навестил его.

Решетов шутил:

— Так и погибнуть недолго. Погиб и погиб, похоронили бы, поплакали на могиле, выпили рюмку-другую, потом, как у нас на Руси водится, дорогу и могилу бы забыли, где и похоронен

не найти! Да, трудно жить с поэтом: лучше с маляром. А то тут: спереди кладбище, сзади — поэт. Куда бабе деваться? («Ох, уж эти шуточки старцев...»)

— Надо как-то спасти его! — сказала я.

— Внушать надо!

— Что внушать: что пить — вредно?

Слова, слова. А что по существу предпринять? До сих пор не знаю. Не знали, наверно, и его товарищи. А может, не хотели знать. Так ведь удобней, спокойней. Встретятся, выпьют, повеселятся, а я отдувайся за всех. Коль он живет со мной, значит, я ответчица.

На следующий день не выдержала, пошла в больницу. Как отнесется к моему визиту, я, конечно, знать не могла, ведь с такой ненавистью смотрел на меня, когда увозили в «скорой помощи». Его позвали, я ждала в коридоре.

Стремительно вышел, радостно сверкая глазами, бережно неся перед собой загипсованную руку в лямке. На голове какое-то больничное изобретение — шапочка из газеты. Синий фланелевый халат болтался на худом теле.

— Наденька, наконец-то пришла, — воскликнул он. — Ну, здравствуй, здравствуй, — и приобнял меня здоровой рукой.

Он действительно вбирал меня глазами, ласково вглядывался, радостно смущался.

— Как рука? — мягко спросила я.

— Врач сделал операцию. Оказывается рана-то была смертельная, выхлестала бы кровь — и все. Ну, а теперь заживет. О, тут за мной ухаживают. Я даже им стихи в газету стенную написал. Ну, вроде благодарности.

— Почитай.

— Пойдем на улицу.

Вышли, сели на лавочку, и он, внимательно вглядевшись в меня, сказал:

— Ты моя самая дорогая гостья, самая дорогая. Меня навещают, не забывают. Уже черешни принесли. Но я ждал тебя.

— Черешню приносила, конечно, женщина? — спросила я.

— Да, женщина! Ну и что! Ой, до чего ты смешная. Разве кто-то из женщин имеет для меня какое-то значение, кроме тебя?

— Ну, а выпить тебе приносят?

Он рассмеялся:

— Друзья не забывают.

— Неужели совести хватает в больницу приносить, — возмущалась я.

— Ой, Надя, я иногда поражаюсь твоей наивности.

Мы долго говорили. Уже вечерело, от реки тянуло свежестью, на другом берегу светился купол Андрея Первозванного.

— Тебя в палате не хватятся?

— Сейчас я там объявлюсь. А ты зайди ко мне домой? А?

— Зачем?

— Посмотри почтовый ящик и вообще что там, как там...

Я согласилась, и он дал мне ключ. Дом был рядом, через дорогу. Пять минут — и я там. Только закрыла дверь, вдруг звонок. Открываю, на пороге Рубцов в синем халате, в несуразной газетной шапочке, в огромных больничных тапочках.

— Сбежал? Из больницы? Что теперь будет...

— Ничего не будет,— лукаво заулыбался он и сгреб меня в гипсовые объятия.

Проводила потом его до парадного подъезда. Он показал мне свое окно.

— Ты меня больше не вызывай. Подойди сюда, я тебя увижу и сам выйду.

Тогда он читал Бальзака и говорил: «Ой, Бальзак! Какой мудрец!» и вдруг посерьезнел, помолчал, потом будто выпалил:

— Нам нельзя было с тобой встречаться.

— Да? Это интересно — почему? — засмеялась я.

— Вот читаю Бальзака, тут одному герою нельзя было встречаться с одной женщиной. Встречи с ней приносили ему несчастье, раны, кровь. Он это и сам уже заметил. Надя, а разве ты не замечаешь, что между нами тоже роковое?

— И может быть, не будет муки в последнем роковом «прости»?

— Да нет, я же серьезно! Ты не смейся! Ты — мой рок!

— А ты — мой,— сказала я.— И давай в самом деле скажем друг другу «прости».

— Пока пусть все останется по-прежнему,— с лаской попросил он.— Я жив, а рана залечится. Лево́й пишу, может быть, вообще в левую превращусь. Левша-то был гениальным человеком. А чем хуже я?

— Ну, положим, блоху не подкуешь, но кой-кому из поэтов нос утрешь,— засмеялась я.

* * *

Однажды я вышла из автобуса напротив городской больницы, собираясь к Рубцову, и спохватилась, что ничего из зелени не купила. «Как же это я?»

Решила дойти до базара, купить что-нибудь, а потом вернуться в больницу. Ничего не подозревая, направилась по улице, все больше погружаясь в свои мысли. Очнулась, когда за спиной

услышала крик. Рубцов догонял меня в том же синем халате, полы которого разлетались, как крылья лениво летевшей птицы.

— Надя, глухая, что ли? Сколько за тобой бежать!

— Откуда ты взялся?

— Я видел, как ты вышла из автобуса, а ко мне не зашла.

Говорил обиженно. Казалось, вот-вот расплчется, как ребенок, о котором забыли.

— Ну, пойдем, пойдем,— успокоила я его.— Хотела свежих огурчиков принести.

— Не надо никаких огурчиков. Ты что? Прошла мимо, как будто так и надо. Я крикнул, не слышишь. Пришлось бежать. Подумают, что из дурдома драпает.

Он увел меня в укромное местечко, где нас никто не мог ни видеть, ни слышать, и прочел «В больнице».

*Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из пурпуровых перьев
Для кого-то последний закат...
Вроде крепок, как свеженький овощ,
Человек, и легка его жизнь,—
Вдруг проносится «скорая помощь»,
И сирена кричит: «Расступись!»
Вот и я на больничном покое.
И такие мне речи поют,
Что грешно за участие такое
Не влюбиться в больничный уют!
В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...
Нет, не все — говорю,— пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез...*

Я представила человека, который в последний раз видит закат, и всю пронзило ощущение катастрофичности человеческого бытия. Больно сжалось сердце.

— Ты заметила, что я написал «посильней мы и этой беды». Не я, а мы. Это мы с тобой!
Я прочитала ему тоже:

*Заненастило... Дальняя рига
Из-за серых дождей не видна,
Но лучи незабвенного мига
Освещают мне душу до дна.
Из какого случайного звука,
Я уже не припомню сейчас,
Родилась молчаливая мука
Губ немых и настойчивых глаз.
Только помню, как вся холодела,
Услыхав дорогие шаги,
И навстречу беспечно глядела,
А в глазах расплывались круги.
Но однажды с призывною силой
Я взглянула — весь замер он!
Из груди его вырвался стон,
Радость ноги мои подкосила.
Все ж рванулась бежать без оглядки,
Замелькали деревья, ларьки.
Сердце бросилось с радости в пятки,
Но глаза мои были горьки.
Молчаливая кончилась мука!
Нам понятен друг друга язык.
Поняла по единому звуку,
Как он странен, и темен, и дик!
О, язык человеческой страсти!
В тот же вечер с предвестьем в груди
Я оплакала грустное счастье
То, что ждало меня впереди!*

Пока я читала, краем глаза видела, что Рубцов все более сутулился и мрачнел, уставив взгляд в землю. Наконец я закончила. Он не двигался, будто окаменел. Я тронула за плечо: «Ну что, Коля?» Он резко отдернул плечо, продолжая смотреть под ноги. Я была в недоумении.

— Ты что рассердился?

— Рассерди-и-и-лся! — передразнил он, повернув злое лицо, пронзая колючим взглядом. — Значит, из груди его вырвался стон?! — издевательским тоном спросил он:

— Это же воспоминание, — воскликнула я, поняв, наконец, что его задело.

— Видите ли, у него из груди вырвался стон, а у нее от радости ноги подкосились.

Я вскочила со скамейки:

— Ну, Рубцов — ты ревнуешь меня даже к моим стихам! Я так не могу! Не могу! Не хочу!

— И долго он стонал? — тихим, нарочито серьезным тоном спросил Рубцов.

— Иезуит! Ты иезуит! — крикнула я и пошла прочь, но он догнал, схватил за руку.

— Надя, постой! Ты сама виновата, нельзя читать такие стихи. Я же понял: это не про меня, а про другого. Как же я могу на них реагировать?

— Что ж теперь даже стихи писать только тебе угодные? Писать и оглядываться? Я так не могу!

— Не знаю, не знаю. Но я так тоже не могу. Ты специально меня дразнишь даже стихами, мучаешь. Я знаю: то, что есть между нами, держится только на моем к тебе чувстве. Я не заблуждаюсь. Но иду даже на это.

В глазах у него появился теплый огонек, но тут же снова наплыла какая-то тень:

— Больше стихи из дома с красным огоньком мне не читай.

— Что?! Какой дом с огоньком! Как ты смеешь?

— Все эти стоны, страсти-мордасти приземляют стихи. В поэзии должен звучать высокий строй души. Ведь настоящая поэзия — это и есть ее особое состояние. Запомни это!

Мы расстались без особых нежностей.

* * *

Во всех русских людях есть тяга, есть вера во все чудесное, сказочное, мистическое, в поверья, сказания, гаданья, приметы. Я не исключение, все таинственное меня страшно притягивает. Жив во мне сладкий ужас суеверного страха перед чудом жизни. А наши отношения с Рубцовым повергли меня в смятение. Они должны были или прекратиться, или обернуться неминуемой бедой. Видя мои мучения, соседка посоветовала сходить к непростой старушке, которая и приворачивает и отворачивает, и открывает дорогу, и закрывает дорогу, и лечит от порчи, и снимает наговоры. Слова падали на благодатную почву, я вся измучилась и готова была на все.

— Иди, она закроет ему дорогу к тебе. Не майся, иди!

Во всемогущество старушек я не верила, но знала, что они затем и живут на свете, чтоб поддерживать в людях веру в чудесное. Мной овладело природное любопытство и появилось желание испытать «колдовство» на себе.

Но старушка мне сказала:

— Нет, милая, ему закрыть дорогу я не могу. (Видно, он сильней).

Слова прозвучали как приговор, как благословение на неминуемую беду: и я тупо смирилась с этим приговором-благословением. А то, что старушка просто струхнула незнакомого человека (вдруг привлекут!), и верить, и знать не хотелось.

После выписки из больницы он меня спросил однажды:

— Зачем ты меня спаса? Ну, зачем? Была бы красивая смерть на клумбе среди цветов, среди маков...

— Не торопись туда,— сказала я.— Вот сейчас бы лежал в земле, а так солнышко светит тебе, травка зеленеет. Хорошо ведь?

Но он внушал мне:

— Все равно ты меня погубишь.

— Как это я погублю?

— Все дело в том, что я люблю тебя,— тихо и кротко признался он.— А скажи, ты не изменишь мне? (Этот вопрос он задавал часто).

Я отшучивалась:

— С чего ты взял? Конечно, не изменю.

Потом мне надоели эти пытки, и я отрезала:

— Коля, если изменю, то непременно скажу тебе об этом. Что я наделала? С этого времени мне покоя не было.

— Так все-таки ты изменишь? Какой я дурак! Я тебе верил, а ты собираешься изменить. Когда? Говори, когда изменишь?

Совершенно беспочвенная ревность, боязнь моей измены, болезненная подозрительность сделали нашу жизнь невыносимой. Его часто навешали друзья, поклонники его стихов. Они уходили, а он накидывался на меня с упреками за то, что я улыбалась мужчинам, «как майская роза». Особенно ревновал к О. Г. Многочисленные посещения изматывали его; тогда он просто не стал открывать дверь. А у нас с ним был условный звонок — два коротких и один длинный.

Однажды он открыл мне по условному звонку и тут же упрекнул:

— Надя, почему ты такая болтливая?

— О чем ты?

— Почему Решетову выдала наш код?

— Бог с тобой, Коля! Я его не видела, и как ты можешь так обо мне думать?

— Но он позвонил, как ты. Я открываю тебе, а передо мной — Решетов.

— Значит, случайное совпадение. А ты ему не рад?

— Нет, я ему рад, но тебе бы больше обрадовался. И потом, у меня подозрение, что выдаешь наши секреты.

— Оставь свои подозрения. Нельзя же так.

Если при мне кто-то стучал, и я шла открывать, он шел следом и ревниво слушал, о чем я говорю в дверях с другими людьми. Даже в моей библиотеке подходил иногда к читателям-мужчинам и задавал ошарашивающие вопросы:

— Вы зачем сюда пришли?

— За книгами! За чем же ходят в библиотеку? — отвечал, естественно, читатель.

— Да? Только ли за книгами?

Я не знала, куда глаза девать. Он часто сидел в библиотеке на стуле и что-нибудь читал. А иногда приходил в нее расхристанный, босиком, с сигаретой в зубах и подозрительно исподлобья оглядывал меня и читателей (их же мало). И не дай бог кому-нибудь улыбнуться (а я от природы улыбчивая).

— На сколько ты ему назначила свидание? — допрашивал он в очередной раз.

Он был рад, если я ни с кем не общалась, ни с кем не разговаривала; была бы его воля — запер бы под замок, держал, как пленницу. Мы и так жили с ним совершенно одиноко в пустынной Троице. А я любила общество. И около него могло бы быть много интересного народа, и с ними можно бы весело и содержательно общаться. Но... прекрасны были очень редкие вечера, когда мир и согласие нисходили к нам. Он играл на гармошке и пел. Я, как могла, подпевала. В эти минуты я любила его всей силой души. Пела и плакала, всхлипывала, обнимала его, прижимала к груди лысую голову.

* * *

В Вельске

Ранним утром 14 июля («Опять эта точность дат? Как хроникер, все высчитывала и словно вычисляла»), я только что проснулась и одевалась, вижу — на крыльцо вбегают мать, чем-то взволнованная. С порога:

— Надежда, встречай гостя. Твой Коля приехал: на лысине хоть блины пеки.

Признаться, я растерялась:

— Где он?

— Вон ходит у калитки, а зайти не решается.

— Боже, что же делать?!

Надо встречать. Я не торопясь сошла с крыльца, прошла до калитки. На скамейке под березами сидел и застенчиво улыбался Рубцов.

— Что ж, приехал, а не заходишь? Пойдем в дом.

— Я давно приехал, да зайти стеснялся, очень рано.

— Я же здесь, ты знаешь, чего ж стесняться. Пойдем, пойдем!

— Уже весь город обошел от нечего делать.

В коридоре я обняла и поцеловала в щеку:

— Здравствуй!

Отец лежал в больнице. Я познакомила Рубцова с матерью. Он был учтив, необычайно скромен и вежлив.

— Коля, может быть, сходишь в баню? — спросила я. — Вчера вечером топили, там еще тепло и вода горячая.

Он согласился. А после бани мы его принялись угощать. В бидоне стояла брага, предназначенная для отцовских именин. 14 июля ему исполнилось шестьдесят! В связи с болезнью отца юбилей отодвигался, а брага была готова. И главное, ароматна, хмельна и доступна. Во второй половине дня Рубцов уже сам подходил к бидону с чашечкой, черпал и пил. Мать куда-то ушла, и он не стеснялся. («Угостила и тут же пожалела и оговорила...» — сморщился Колябин не в первый раз).

— Коля, ты бы не набирался. Мне родных неудобно, — заметила я ему.

Этого было достаточно, чтоб он взъярился, начал нервно бегать, засучивая рукава, кричать на меня. Во второй половине дома жила моя сестра, которая немедленно явилась и дала ему отпор:

— Вы не в своем доме, чтобы так шуметь и командовать!

— Она ж меня пригласила.

Я махнула безнадежно рукой. Сестра моя, добрейшая и терпеливейшая, ушла, сердито хлопнув дверью.

Он выскочил из комнаты и заявил:

— Ну вот что! И баня была холодная, и брага невкусная. Я неволью расхотелась.

— И вообще, Надя, я к тебе охладел! Ехал со всей душой, а теперь охладел. Я уже не питаю к тебе того, что было вначале.

— Вот и хорошо! Легче расставаться.

Вечером, укладываясь спать, он все ворчал, а я ему впервые (?) бойко отвечала. Отвечала то, что хотелось, не боялась: дома как никак! Я забила его словами и мстительно думала: так тебе, так тебе! Будешь знать! Привык думать, что я покорная овечка. Не-е-е-т!

Рано утром я проснулась от чьего-то прикосновения. Открыла глаза — Рубцов сидит на стуле у моей кровати и тихонько гла-

дит меня по плечу. В глазах такая нежность, что я замерла и затаила дыхание. Светящаяся в глазах нежность была настолько глубока, искренна, что искупала собой все предыдущие размолвки, скандалы, обиды. Сердце откликнулось нежностью:

— Коля, милый, душа моя!

15 июля решили сходить за грибами. Облачились во что попало. От комаров отбивались веточками. Он сыпал остроты, шутил, был неистощим. Прочитал вдруг про комаров глазковское:

*Мы изнывали от жары,
Мы изнывали от любви,
Меня кусали комары,
Тебя кусали муравьи.*

— Рубцов, охальник! Бесстыжий, — рассмеялась я и хлестнула его ивинкой по спине, а он бежал, хохотал и оглядывался. Он много набрал рыжиков, а я — чуть. Я удивилась:

— Где столько насобирал?

— А мне везет на рыжих!

На третий день пребывания Рубцова браги во фляге осталось меньше половины, и мать мне сказала прямо:

— Слушай, Наденька, я чем буду юбилей-то справлять?

— Он сегодня уедет, — сказала я, в этом совсем уверенная.

Он уехал, взяв с меня слово, что через 4 дня буду в Вологде. Стало одиноко, тоскливо, пусто; и в то же время в душу сошло спокойствие: больше хоть не упрекнут меня за эту пресловутую брагу. А с ним мы увидимся.

23 июля я получила от него письмо. Оно сохранилось, и еще есть одно.

«Я по-прежнему в Вологде. Жаль, что теряется золотое время для работы на природе, но так приходится. Частенько уезжаю в Прилуки, чтобы выкупаться и попить пива на жару. По утрам хожу под холодный душ (мне его наладили). По-прежнему с большим интересом, а часто и с большой радостью читаю твои стихи. Ты говорила, что будешь, возможно, в Вологде 21-го. Сегодня 21-е, но тебя нет. Как ты там живешь? Не думай обо мне плохо. Это я только поначалу бываю такой, люблю даже производить впечатление, вредное для себя, чтобы увидеть только реакцию... А как же иначе, Надя? Нельзя же сразу в омут головой. Надо все-таки всмотреться всесторонне да подумать. Только после того могут наладиться ясные отношения и, конечно, более уверенные и спокойные. По-моему, так. В 6 номере «Сельской молодежи» вышла страница моих стихотворений. Может, посмотришь. Кстати, давай попробуем напечатать твои стихи в каком-нибудь московском журнале. Пора, Надя, пора! Кроме того, Надя, не думай, что в Вологде тебе будет плохо. Ведь ты помнишь, как тебя хорошо встретили? Придай этому побольше значения и будь во всем снова уверена. Совсем ничего тревожного в этом отношении тут для тебя быть не может. Остается решить только личные дела и тебе, и мне. Как чувствует себя Оля? По-прежнему нервничает? Что это с ней такое? Да, знаешь, что? Ты могла бы, если потребуется,

бывать у нашей Жени (помнишь?). Там красиво и хороший лес, и вода, и долины, и за несколько дней там действительно можно что-нибудь создать, да и отдохнуть. В Троице ведь очень пустынно.

До свидания, милая Надя! Счастливого тебе возвращения.

Николай. 21/VII-70 г.

P.S. Ко мне пока никто не приходил. Что бы там ни было, я решил не принимать серьезных действий... А рыжики-то кто съел? Я так хотел попробовать их вместе с тобой и со всеми.

Письма Рубцов всегда писал скупые, очень сдержанные, мысли выражал осторожно и не всегда прямо, иногда в завуалированной форме. В письме упоминается Женя. Это мачеха Рубцова. (Отец во время войны, в тылу, будучи работником какого-то ОРСа, женился на своей подчиненной. Женя моложе его на 20 лет. Она родила ему 3-х сыновей). Отцу он этого не прощал, поэтому писал: «На войне отец погиб от пули», а в графе о родителях писал: «Таковых почти не имею» — от обиды на свое круглое сиротство.

* * *

Где-то с осени, с сентября месяца, на противоположной от двери стене стал появляться странный светящийся крест. Как только я выключала свет в библиотеке, виднелось светящееся очертание креста. Сначала я не испугалась: подумала, что падает откуда-то отражение света. Подошла к кресту, осмотрела, откуда бы мог отражаться свет и ничего не нашла. В полной темноте обошла все окна, проверила, куда падает от переплетов тень, и опять ничего не выяснила. Может быть, креста нет? Наваждение? Стала пристально всматриваться и ужаснулась: чем больше я всматривалась, тем явственнее вырисовывался крест. Он мерцал, от него уже шло излучение, он разгорался сиянием!

Я бросилась в дверь, скорей повесила замок. Меня охватил ужас. Что это такое? Что за мистика? Я слыхала о знамениях, но как-то не верилось. Но я же вижу!

Крест появлялся отныне каждый вечер, стоило только погасить свет. Заранее я готовила замок, открывала дверь, подбегала к выключателю, и, не глядя на стену, опрометью кидалась в дверь.

Что такое? Уж не с ума ли схожу? Может, другой человек креста не увидит?

Рассказала об этом Рубцову.

— Пойдем, покажи, что там за крест.

Пошли в другую половину дома. Было уже поздно, темно, дождь хлестал по крыше. Открыла дверь в библиотеку — на стене мерцал крест.

— Видишь?

— Да, вижу крест,— ответил он, помолчав.

— Ну, тогда найди, откуда свечение.

Он все обошел в кромешной тьме, остановился у креста:

— Ничего не нашел!

— Значит, я умру. Это мне предвещает,— сказала я.

— Брось ты! Вечно — ты. Ну крест и крест. Ну и что?

— Пойдем отсюда,— сказала я и вытащила его на улицу.

(«Вот тебе и мистика пристегнута в подмогу,— хладнокровно подумал Колябин.— Мелочь, а действует»).

Однажды мы решили погадать по книге Тютчева. Один называет страницу и строчку, а другой зачитывает.

Рубцов назвал цифры. Я зачитала ему: «...песчаный грунт небес, равнинная земля». Он захохотал.

— Это ж кладбище. Ну и ну. Ты меня уморила!

Назвала цифры я, он зачитал: «Песок сыпучий по колена».

Теперь хохотала я, как бешеная. Мы хохотали, словно дразнили судьбу.

— Ну, а мне — пустыня,— сказала я, смеясь.

* * *

— Коля, мы должны расстаться! Видишь, ничего не получается. Ты ревнуешь, оплеухами угощаешь, а что, если я дам однажды сдачу?

Всякий разговор такой обязательно сводился к шутке.

Но я настояла: все перешью, перестираю, и — ни шагу друг к другу.

Он, казалось, согласился.

Так и сделала, и хотела уйти.

Он зажег три свечи (свет отключили за неуплату), в полумраке убрал и запер мое белье. Даже чулки.

— Никуда не уйдешь. Дверь заперта. Вот ключ! Больше его не увидишь,— и сунул в карман.

— Ты... гад! Как ты смеешь? Какая подлость!

Я кричала, а он молчал.

— Ничего, он подождет!

— Кто он? Мне нужно дочь из садика забрать!

— Знаю, какая дочь! Ты хочешь мне изменить. («Знал, что может...»)

Я села на диван, он присел рядом.

— Ну, вот! Ты в моей власти! Что хочу, то с тобой и сделаю. Дверь закрыта. Выйти можно только через балкон,— и захихикал.

Я с ненавистью смотрела на него:

— Ничего не добьешься насилем. Никогда. Я тебя ненавижу.

Он полез драться, но ему самому от меня досталось. Уже тогда мог быть смертельный исход. Или он, или я!

Выбралась: спряталась за дверь, пока он ходил к соседу за спичками. Потом отшвырнула его от двери, он выскочил на площадку, схватил за рукав, но я несколько раз хлестнула его сумкой и убежала, кинув:

— Я иду в милицию!

Но я не смогла туда пойти. Он — близкий мне человек, и никого не надо впутывать в наши взаимоотношения.

Я плакала одна на пустынной улице и знала, что с этим чудовищем наконец-то разорвано.

Но он снова появился.

— Все между нами кончено! — сказала я решительно.

— Но ты же меня не бросишь в беде?

— Что у тебя за беда?

— Кончилось вино, кончилась еда...

— Опять шуточки.

— Нет, вправду. У меня квартира сгорела...

— Ты сочиняешь.

— Я уже стихи написал об этом: сначала были потопы (залил соседа), потом начались пожары. И бегали антилопы и диких овец отары.

Мне представилось страшное зрелище: в степи бушует огонь, дым застилает горизонт, и мечутся бедные животные.

В который раз его юмор обезоруживал меня, всякое сопротивление было бессмысленно. Его нужно принимать такого, каков есть. Снова произошло примирение, а наутро — мы поехали к нему. Вся мебель, пол, потолок покрыты слоем сажи.

Присесть было некуда.

Пожар начался со стола, придвинутого к самой стене. На столе, прислоненные к стене, рядом стояли иконы. Тут же разные бумаги, пепельница и другие вещи.

Как он утверждал, на самую середину стола были поставлены те самые свечи на равном расстоянии друг от друга и зажжены. Когда свечи сгорели, начала гореть клеенка, бумага и сам стол. Теперь там зияла огромная дыра. Огонь дошел до икон и остановился. Они были целехоньки, и лишь у маленькой квадратной иконки Неопалимой Купины, которая стояла впереди всех, немножко зажелтела от огня нижняя часть. Дальше Неопалимой Купины огонь не пошел. Пожар потух. Но в квартире было чернее, чем в самой черной бане. Все мои труды пошли насмарку. Теперь требовался ремонт.

— Зачем ты зажег свечи?

— Я не зажигал, в том и дело. Я сразу ушел, и меня не было дома три часа. А когда вернулся, увидел эту картину. Я думал — это ты мне отомстила: вернулась и зажгла свечи.

— У меня же нет ключа. И я бы просто не могла.

— Значит, у нас бывает кто-то третий. Я давно замечаю: кто-то приходит, когда меня нет дома. Ухожу — вещи лежат на одном месте, прихожу — уже на другом. Все это мне неприятно, даже страшно.

— Ты выдумываешь. Ты сам зажег свечи со злости.

— Говорю — не зажигал. А если бы и зажег, то всего одну. А три-то зачем?

— Когда ушел из дому?

— Сразу после тебя. Не мог больше находиться один. Я себя ненавидел за то, что так с тобой обошелся. Но ты тоже хорошая штучка. Расстаться задумала. Нет! Есть роковое слово «поздно». Но это будет потом. А пока будем считать, что ничего не случилось. Ты меня прости и не грусти.

* * *

Он уезжал в Москву по делам, просил меня остаться у него, взять ключи. Но я хотела разрыва, не брала. Он чувствовал, что я иду на разрыв и цеплялся за каждую мелочь, чтоб сохранить наши отношения.

— Ты меня жди. Обещай ждать. Ну, скажи, что не изменишь.

— Коля, ты уезжаешь на три дня, а расстаешься, как на годы. Поезжай счастливо. Будь спокоен. Я никуда не денусь.

1 октября ко мне приехала мама, чтобы забрать внучку на время к себе. 3-го приехал Рубцов, мрачный, молчаливый.

— Навестил всех твоих любовников. Некоторые из них тебя уже забыли. Ха-ха-ха. Ну, нечего сказать в оправдание?

И снова иступленное, землистое лицо, ненавистный взгляд. Побежал на кухню, вернулся с ножами.

— Ни с места. Припорю!

Я смотрела ему в глаза и понимала: меня может спасти только хладнокровие.

— Коля, Коля... ну, что ты. Успокойся! На кого ты похож! Успокойся!

А ножи прикоснулись к телу сквозь ткань сорочки. Но я смотрела ему прямо в зрачки.

И он один за другим отбросил ножи. Сел, прикрыл ладонями глаза, чтоб я не видела его слез.

А потом подошел и говорит:

— Какая ты бываешь красивая! Даже когда в гнев.

Эти перепады его настроения пугали всего больше.

Случай с ножами окончательно убедил, что надо бежать, пока не поздно. Мне надоел дом, из окон которого видны кладбищенские кресты, ревность Рубцова, который мог взять за грудки человека в библиотеке и учинить допрос, зачем тот пришел в нее. Ждать Рубцова, когда он придет, и прежде чем мне что-то сказать, будет осматривать углы, заглядывать под пол, искать в печке окурки неведомого соперника. И свои же окурки принимать за чужие, истязать меня допросом, бросать чем попало. Я стала ходить к соседке в ближнюю деревню после работы, а он меня ищет в Троице.

Однажды натопила жарко печь, рано скрыла, легла. Вдруг стук. Едва подняла голову. Это был Рубцов.

— Что с тобой?!

У меня был жуткий вид. Он подхватил меня.

— Коля, я угорела.

— На улицу, скорей на улицу,— накинул на меня пальто и почти вынес во двор.

Я упала. Началась страшная рвота. Казалось, задохнусь.

— Уйди, ради бога,— в перерывах между приступами рвоты сказала я.

Ползала по траве, хотелось умереть. Наконец, отошла. Села на крылечко. Он рядом. Обнял, согрел. Было темно, а мы сидели одни. Гудел ветер. Он дыханием согревал мои ледяные руки. Так хорошо было. Казалось, душа вот-вот выпорхнет из тела. Боялась пошевелиться, да и сна не было. Руки падали, как плети. Он вдруг воскликнул:

— Да ты умираешь!

Я была безответна. Он схватил меня за плечи, начал трясти:

— Не умирай, милая, не умирай!

Я перевела дыхание:

— Не бойся, не умру...

— Милая моя, если ты умрешь, мир для меня будет пустыней. Да что я говорю: если ты умрешь, я умру на следующий день.

(«Интересно, была почти в беспамятстве, а все помнит»,— усомнился Колябин и покрутил головой).

— Коля, дорогой, давай будем лучше жить. Не будем умирать!

— Я без тебя буду живым и мучительным ничтожеством. Как Тютчев без Денисьевой. Я не могу себя представить без тебя!

И душа опоздалась глубокой всепрощающей любовью. Возвращались силы. Я обняла его, прижала к себе. Никого на свете не было у меня роднее его. Мы просидели на крыльце до позднего осеннего рассвета. («Все-таки без театральности она не может»).

22 ноября возвращалась от Рубцова к Золотовым. Не доходя до деревни, оглянулась и окаменела, как жена Лота... («Ишь ты!..») На совершенно черном небе я увидела светлое пятно, которое на глазах все более расширялось, превращаясь в прямоугольник, светящийся, как экран огромных размеров с четко очерченными углами. Озноб прошел по телу. Все существо замерло в ожидании. Я ждала появления на экране... Экран золотисто сиял. Вся дрожа, я твердила одну фразу: «Господи, твори волю свою!» Вдруг через весь экран пошли резкие черные тени. Стала машинально считать. Прошла восьмая тень, и небо мгновенно сомкнулось, и стало темно, глухо. Только вдали светились огни Вологды, да что-то рубиновое горело на верхушке телевышки. Совершенно потрясенная видением, всей кожей чуяла одно: меня ждет страшное горе, неизбежный рок. (!)

Спросила у Золотовой:

- Вы ничего не видели десять минут назад?
- Нет, у коровы в хлеву была.
- А мне открылось небо.
- Ой, плохо тебе, милая, будет! Теперь жди! Уж что-нибудь да будет...

22 декабря («Опять по числам!») мне пришлось сбежать от Рубцова. У меня уже выработался рефлекс бегства. Он бросил в меня кастрюлей с ухой, облил постель, мои волосы. И тут я начала одеваться. И с мокрыми волосами в декабрьскую ночь ушла на улицу Гагарина. Отчаявшись, решила все бросить и уехать в Вельск на совет к родителям.

24 декабря в 10 часов утра пришла к Рубцову, чтоб собраться и уехать домой. Он был не один. Какой-то радиожурналист был. Они что-то пили. «Как хорошо, что вы пришли! — воскликнул журналист. — Он без вас с ума сходит». Рубцов схватил за полы шубейки. («Да что он все за полы-то хватает, как за подол!») и стал усаживать:

— Отцепись от меня! («Проговаривается она...») Не хочу ничего.

Я схватила чемодан, бросила первые попавшиеся тряпки и направилась к выходу.

— Куда вы! — остановил меня незнакомый журналист. — Мы собираемся в картинную галерею. Там выставка вологодских художников. Пойдемте с нами. («Ну, это было в ее судебных

показаниях,— перелистнул лист Колябин.— Только там она имя журналиста помнила...»)

* * *

Накануне 1971 года получила длинную телеграмму. «Прощай, старый год! Здравствуй, новый...» Я прочитала, но тут начали интересоваться домашние, и я бросила в печку.

В ночь со 2 на 3— к дню рождения Рубцова — мне приснился странный сон. Пошла будто полоскать белье. А ручей течет меж бестравных берегов. Ну, ни одной травинки! А вода мутится, мутится. Так и ходила вверх и вниз, не зная, где выстирать свое бельишко.

Вдруг на другом берегу увидела новый белый дом.

— Чей дом? — спрашиваю.

— Рубцова, — ответил голос выше. («Уже готовит легенду о роке, об убийстве, о необходимости преступления»).

Какой-то вихрь схватил меня, втянул в провал. Увидела женщину, похожую на моего будущего адвоката. В доме грязь, холод. Я звала Рубцова, но он мне не ответил. И меня снова вихрем выхватило из дома.

Предчувствие надвигающейся катастрофы снова пронзило меня. По рассказам бабушки я знала, что новый белый дом — это гроб, домовина. Сказала родителям:

— Коля должен умереть. Видела худой сон. («Ишь ты, уже прямо о нем речь»).

В эту Новогоднюю неделю дочь не отходила от меня. А у меня все валилось из рук. Целыми днями лежала на печи. В тот же день получила новую телеграмму от Рубцова: «Надя, срочно выезжай!» («Вот так! Сам на расправу вызывает»).

Дома сказали:

— Забирай вещи и приезжай домой.

— Папа, поедем со мной, — просила я, он отказался.

Я была в тупике, но даже родные не посочувствовали мне. С прощальным чувством я покинула дом. 5 января прямо с поезда пошла к Рубцову. Он открыл дверь и заплакал. Свалка была на столе, на постели валялась куча моего белья.

— Почему тут? — спросила я.

— Тебя же не было, — ответил он, — а сорочки хранят запах твоего тела.

Я поняла, что обречена: мне с ним не расстаться. Бросить его равносильно тому, как бросить большого ребенка. Эта животная тоска по мне ужаснула и утвердила прощальное чувство смирения (?).

Я села на диван и заплакала. Он ткнулся мне в колени и тоже беззвучно зарыдал. Впервые плакали вместе. Словно прощались. Я сказала ему:

— Дорогой мой, я буду с тобой. Мы не расстанемся. И все будет так, как ты хочешь.

— Только ты меня можешь спасти. Нам нужно сходить в ЗАГС. Пойдем завтра же! — сказал он.

— Да, да! Мы пойдем в ЗАГС. Все будет, как хочешь ты.

В тот же день я увидела открытку из Николы. Новогоднюю. Он прыгнул, чтоб вырвать ее у меня и схватился за сердце. Признался, что у него уже был приступ. Но «скорую» не вызвали.

Мы лежали рядом, и я до подробностей рассказала ему свой сон. Он не произнес ни звука. Потом заговорил совершенно о другом. И прочитал стихи: «Когда приносим женщине страдание». В его архиве этой вещи нет. Значит, не записал. Десять дней мы жили, как двое возлюбленных, обреченных на казнь. Мы прощались. Я вспоминала детство — земляничные поляны, ржанье лошадей и т. п. Но все сводилось к разговорам о смерти. Она заглядывала в окна, стояла на пороге, витала в воздухе.

Эти десять дней он совершенно не выпивал. У него появился хороший аппетит, он окреп. Был ровен и ласков со мной. У меня появилась надежда, что, может, все как-то образуется. Это было томительное предгрозовое затишье. Он спрашивал:

— А тебе было бы страшно умереть?

— Все равно один раз нужно. Но мне неприятен сам похоронный ритуал — венки, ленты, музыка.

— А мне страшно, — говорил он. — Как ты думаешь, есть загробная жизнь?

— Не знаю.

— А я знаю! Есть. Хорошо бы там снова встретиться.

Получил он еще одну открытку от той женщины: «Береги свою голову, пока цела».

— Как ты думаешь, это угроза или предчувствие? — спросила я.

— Предостережение. Она знает, что я из-за тебя уже однажды чуть не погиб, вот и предупреждает. Я теряю с тобой голову, а это опасно.

Я невольно рассмеялась: «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения!»

— Пусть я погибну, но знай, что если я и любил кого, так это тебя.

— Погоди еще, куда торопишься.

— Нет, я скоро умру. У Бунина есть о тлетворном дыхании. Почитай-ка. Я люблю, когда ты читаешь Бунину...

8 января мы зашли в ЗАГС. Был тусклый заснеженный день. Ребята катались на лыжах с Соборной горки.

Рубцов крикнул:

— Дайте-ка я скачусь.

Тогда я молила: «Пусть он скатится и сломает ногу. Тогда мы вернемся обратно». (!)

Спряталась за дверь. Он подошел.

— Коля, ну скатись, скатись, пожалуйста! — просила я.

— Я передумал, — сказал он.

— А я раздумала в ЗАГС идти. Давай вернемся.

— Нет, пойдем!

И я поплелась за ним. Я ж сказала, что все будет так, как он захочет.

Там потребовали мое свидетельство о разводе с Жарковским. Заявление не приняли.

Рубцов помрачнел. Я его успокоила.

— Придем завтра...

— Где у тебя свидетельство о разводе?

— Оно есть. Я найду.

— Ты обманываешь.

— Я ж сказала, что все будет так, как ты хочешь.

Домой пришли поздно.

— Ищи свидетельство, — потребовал он.

— Завтра. Я устала.

— Ищи! — разбудил среди ночи. — Ищи! Ты потеряла и обманываешь меня.

— Все есть, спи, я прошу тебя.

— Ты врешь. Я пригрел змею на своей груди. Ты змея. Я не ошибаюсь.

Я растерянно молчала.

— Ты хоть немножко-то любишь меня? — допытывался он. Я молчала.

— Ты хоть была со мной счастлива?

— А ты со мной?

— Я был, и не один раз.

Я обняла его. Он покрылся гусиной кожей. (?..)

— Если б мне знать, что тебя делает счастливым. («Ишь ты, не знает»).

— Я люблю каждую клеточку твоего тела, звук твоего голоса, каждое движение... — шептал он.

9 января утром я нашла бумажку о разводе. Мы замешкались (?) и в ЗАГС зашли уже в потемках. Нам назначили 40 дней, на 19

февраля регистрацию. А я летела по тропинке и внутри билась ясная мысль:

— Не бывать! В ЗАГСе больше не бывать! («Почему такое?»)

Рубцов пригласил посмотреть свой портрет в картинной галерее. Вот-вот должны были ее закрыть. И он провел сразу к нему. Я долго молчала, разглядывая аскета на портрете. Он был похож и не похож. Иконный лик, мертвенная бледность, взгляд по-неживому застывший, скрещенные руки, и все это на фоне холмов и церкви (!!!). Величие скорби, самоотречение от жизни, глубокая и жестокая (?) душа. («Одним словом, не жилец», — подумал Колябин зло).

Я ему сказала об этом, он ответил:

— Ты читаешь мои мысли...

Пошли домой, взяли бутылку рислинга. Решили праздновать. Перед глазами торчала статуэтка, подаренная его другом Клавдием.

— А ты бы вышла за него замуж? — спросил он.

— Вышла бы, с ним бы была спокойна, не то, что с тобой.

Вдруг звонок. Клавдий на пороге.

Я помертвела. Схватила шубейку, чтоб уйти.

— Куда ты? — остановил Рубцов.

— Мне лучше уйти. Ты опять будешь ко мне придирааться.

Он держал меня, а в глазах была мольба. Я ушла на кухню. Клавдий почувствовал неладное и ушел.

Рубцов сходил наконец к врачу. Ему прописали корвалол и валидол. Он не пил ничего в эти дни, кроме лекарств. За неделю до катастрофы мы поехали за картошкой к Золотовой. Она давно предлагала купить Рубцову избу. Всего за 200 рублей. Избушка стояла на отшибе. На другое утро он сказал: «Так хочется увидеть старшего брата Алика, как перед смертью...»

— Так напиши, пригласи в гости.

Подавал в Ленинград на розыск.

В эти дни написал еще одну «Элегию»:

*Отложу свою скудную пищу.
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.*

*Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом.
И цветы не выращивать мне...*

В эти дни я встретила знакомую женщину.

— Как живешь?

— Выхожу замуж на Рубцова.

— Да ты что? С ума сошла. У вас не будет жизни. Он же пьет. Я знаю, у меня тоже пьяница, пришлось разойтись. И с ножом бегал, и с топором бросался. Ходил, упрашивал вернуться. Я ни в какую. Так он драться. Он меня за руку, а я его за горло.

— За горло? Как?

— А так! Схвачу, сразу отцепится, как миленький!

— Вот наука-то!

Нет, я не намотала на ус это откровение, но в подсознании отложилось, видимо, и в критический момент дало толчок к действию (!).

Наступили последние дни нашей совместной жизни.

За три дня до смерти он сказал утром, что сходит за молоком и пропал. Я спустилась в магазин, его не было. Угрюмо слонялась по квартире. Вдруг голос:

— Наденька, это я — твой муж явился.

От слова «муж» меня передернуло, я содрогнулась, до того было неестественно слышать из его уст слово «муж». Друг мой, больной ребенок, мой мучитель, истязатель. Но муж?.. Что ж теперь делать?

В ночь на 17-е я проснулась под утро, будто не спала. Внизу хлопнула дверь и тяжкие медленные шаги стали подниматься. «Бух, бух, бух», — неумолимо шли вверх. «К нам», — метнулось сердце.

— Коля, ты спишь?

— Нет.

— Слышишь?

— Конечно.

Это были шаги не человека, это была поступь рока. Резкий звонок прозвенел над нами, обмершие от суеверия и страха, мы прижались друг к другу, замерли, не пошевелились. Почти не дышали. Шаги мерно удалились. Удалялась беда. Но до нее оставалось ровно два дня.

Только на другой день мы вышли на улицу. («А ребенок сплавлен к родителям, чтоб не мешал злодейству?») Ходили к Чулкову, не застали дома. Именно около его дома была та беленая стена, за которой мне пришлось отсидеть 5 лет. То, что произойдет, не будет вмешаться в мой рассудок, и долго я там буду ходить потерянной тенью. Там угнетали мое «я», требуя смирения и дева-

львации чувств, но я ни разу не изменила своему «я». («Только «я», в первую очередь!»).

Вернувшись домой, он выпил и снова играл на гармонии и пел реквием самому себе «Над вечным покоем». Потом швырнул гармонь, она отлетела от стены и упала в угол дивана.

Разбил любимую пластинку Вертинского. Я молчала. «Разнеси хоть все вдребезги!» Видимо, его ужасно раздражало, что я никак не реагирую. Он шлепнул меня по задку. Нет, я ему не простила, по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с ненавистью смотрела на него. Еще немного, и я кинулась бы! Но я выдержала и ушла на кухню. Но именно сейчас был перейден рубеж: напрасно все — жизнь, честь, достоинство, возможность счастья. Я взяла совок и веник, подмела мусор.

Где-то в четвертом часу пыталась уложить его спать. Ничего не получилось. Он пнул в меня, я еле устояла на ногах. Сама была как пружина и боялась, что она лопнет.

Нельзя до конца попирать человеческое достоинство, в конце концов, человек восстает. Нервное напряжение достигло своего апогея, и это вместе с чувством обреченности, безысходности. Я подумала — вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. («А дочь?») Пусть он раскается, почувствует себя виновным, пусть поплачет. («Ах-ах-ах!»)

И вдруг всю ночь глумившийся надо мной, сказал как ни в чем не бывало:

— Надя, давай ложиться спать. Иди ко мне.

— Ложись, я тебе не мешаю.

— Иди ко мне!

— Не зови, я с тобой не лягу!

Тогда он подбежал, схватил за руку и потянул к себе в постель. Я вырвалась, он снова, заламывая руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась, стала поспешно надевать чулки, собираясь убежать.

— Я уйду!

— Нет, не уйдешь. Ты хочешь оставить меня в унижении, чтобы надо мной смеялись. Прежде я раскрою тебе череп.

Он был страшен. Стремительно пробежав к окну, оттуда ринулся в ванную. Я слышала, как он шарит под ванной рукой, ища молоток. Меня всю затрясло, как в лихорадке. Надо бежать! Но я не одета! Однако животный страх кинул меня к двери. Он увидел меня, мгновенно выпрямился. В одной руке он держал комок белья (взял из-под ванной, когда искал молоток). Простыня вдруг развилась и покрыла его от подбородка до ступней ног.

«Господи, мертвец», — мелькнуло у меня в сознании. В одно мгновение он кинулся ко мне, с силой толкнул обратно в комнату,

роняя на пол белье, теряя равновесие, и я схватилась за него (?) и мы упали. Та страшная сила, которая долго копилась во мне, вдруг вырвалась, словно лава, ринулась, как обвал. Набатом бухнуло мое сердце. («Неплохо излагает»).

«Нужно усмирить, усмирить!» — билось у меня в мозгу. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей и сильно укусила (потом в судебных протоколах мой укус этой руки будет специально упущен, не указан, дабы представить Рубцова полностью моей жертвой, не способной к агрессии). Другой своей рукой, вернее, двумя пальцами я схвачу за горло и отпущу. («Так уж и двумя... Горло-то было все истерзано! Вот когда вспомнила уроки своей подружки»). Он крикнул мне: «Надя, я тебя люблю!» В судебном протоколе полное искажение истины: «Рубцов кричал Д...: «Надя, я люблю тебя». Д... схватила Рубцова руками за горло и задушила его». А на самом деле он кричал именно в тот момент, когда я душила его. Вероятно, он испугался меня, вернее, той страшной силы, которую сам же из меня вызвал. Но разве можно членораздельно произносить целые предложения, когда тебя душат?

Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу вокруг нас. Лица Рубцова я не видела. Ни о каком смертельном исходе не помышлялось. Хотелось одного, чтоб он пока не встал, т. е. был усмирен. Сильным толчком он откинул меня и перевернулся на живот. В этот миг я увидела его посиневшее лицо и остолбенела: он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье, которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды. Увы, я не заметила грань, то мгновение, когда превратилась в преступницу. Нечаянным взглядом я отметила, что из всех упавших со стола икон раскололась пополам лишь одна — икона Николая-угодника. Эта деталь еще острее подчеркнула зловещий смысл всего происшедшего.

Теперь я знаю: мои пальцы парализовали сонные артерии, его толчок был агонией; уткнувшись лицом в белье и не получая доступа воздуха, он задохнулся потому, что был без сознания. («Ловко! Даже очень, — с неприязнью подумал Колябин. — В общем, и не душила, а сам задохнулся...»)

* * *

Самыми любимыми поэтами Рубцова были: Пушкин, Тютчев, Есенин. Из писателей — Гоголь, Бунин, Гаршин.

Пушкина он обожествлял. Однажды вечером, когда мы сидели одни, он сказал:

— Вот если бы сейчас вдруг вошел Пушкин? Что бы я стал делать? Я бы упал к его ногам. Ни к чьим бы не упал, а к его упал!

О Тютчеве он говорил:

— Это страшный поэт. Он страшен своей глубиной.

Тютчев постоянно занимал его мысли. Говорил о нем, как о близком своем друге, восхищался Тютчевым-человеком, рассказывал эпизоды из его жизни, часто читал наизусть его строчки.

Как-то с жутью в голосе прочел «Последний катаклизм». Чтение сопровождал жестами и, повторяя еще раз последнюю строчку «...и Божий лик отобразится в них», сказал:

— Как страшно! Вода — и в ней божий лик!

Мне он говорил не раз:

— Надя, если тебя не будет, я буду таким же, как Тютчев без Денисьевой — совершенно несчастным.

Прочитала рассказ в «Литературной России» Ю. Нагибина «Сон о Тютчеве» в 1973 году. Где однажды Денисьева чуть не убила Тютчева, бросив в него тяжелое пресс-папье. Я обрадовалась за Елену Александровну, бог ее миловал, и теперь уже навсегда память ее будет светла и печальна.

* * *

За полтора года нашего общения с Николаем Рубцовым, через запои, скандалы, буйства, безобразные сцены ревности световыми солнечными островками запечатлелись в памяти наши долгие сокровенные беседы, беседы, состоящие из редких односложных фраз, наши молчаливые беседы, когда взаимопонимание достигало такой степени, что слова казались лишними. В хорошие добрые минуты нашей жизни он поведал мне о своей скитальческой судьбе, о годах сиротства и неуюта. Такие минуты были для меня большим наслаждением. Постепенно в моем представлении из разрозненных рассказов сложилось как бы единое повествование, которое я и хочу записать от первого лица, как бы из уст самого Н. М. Рубцова.

«Первое детское впечатление относится к тому времени, когда мне исполнился год. Помню снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери. Надя, а оказывается, это мы отца провожали. Его забрали, так мы с ним прощались. Это было в Емецке в начале 37-го. Отца арестовали, ну, как многих тогда. Он год был в тюрьме, чудом уцелел. А знаешь, почему уцелел? Он Сталину письмо написал прямо на съезд, и его освободили.

Как раз XVIII съезд был, и несколько человек догадались написать. Их всех освободили, остальные так и пропали. А ведь их там много было. Вот отцу сообщили среди ночи, что он свободен. Он сначала не поверил, а потом собираться стал. Ему писем насовали, чтоб передал на свободе родственникам. Выпихнули его за ворота в глухую ночь, на улице мороз, а он в одном пиджаке, и идти далеко. Ну, отец у нас крепкий был, ходовый мужик. Тетка потом мне рассказывала, отцова сестра, она тут в Вологде жила. Говорит: «Смотрю утром в окошко, вроде Миша бежит, ожигается, в одном-то пиджачке да по морозу-то. Забегает,— правда, Миша! Ну я тут в слезы!» Ой, что было. Что было, Надя! Сколько миллионов тогда, может быть, самых лучших людей! Николай Иванович Ежов тогда отличился. Но он сам после этого жить уже не смог, спился, а потом его самого расстреляли. Знаешь, и еще я помню. И тоже зиму. Мне было два года, не больше. Сестра Надя меня выносила погулять на улицу. Она мне на лес показывала и все говорила: «У-у-у-у! Там волки!» И мне так страшно становилось, я к ней прижимался от страха. Надя меня очень любила. Такая была добрая, ласковая, как ты. Она умерла от менингита в 1939 году. Она ведь комсомолка была, активистка. Послали ее, как Павку Корчагина, железную дорогу где-то строить. Там она простудилась, осложнение на голову, и умерла. Было ей 17 лет, старшая самая была среди нас. Надя, помню, дома лежала. Видимо, ей плохо было, так она к стене все отворачивалась. Подруги к ней придут навестить, а она от них отвернется к стене. Они посидят и уйдут. Наверное, чувствовала, что умрет, и умерла. Мне 4 года было. Помню похороны. Ее как комсомолку хоронили. Красный гроб помню, венков много, около дома народу полно. О, если бы Надя сейчас была жива. Если бы она была жива! Она бы мне вместо матери была. Ведь я ее больше запомнил, чем мать. Мать как-то выпадает у меня из памяти. Ты удивляешься: неужели не помнишь? Я помню, как приходил домой отец, садился за стол и кричал: «Александра, кипяточку!» Мы уже жили здесь, на улице Ворошилова, у Горбатого моста. Как отец освободился, мы и поселились в Вологде. Ну, а когда началась война, нас четверо у матери осталось. Алик, Галка, я и Борька. Голодно стало, и мать заболела к тому же. Она еще дома была, правда, все лежала. Я подойду к ней, есть хочется, она мне возьмет и отломит хлеба. А у самой маленький кусочек. Она уже почти ничего и не ела. Водянка у нее была. Я в то лето в основном в садике пропадал. Там рос аленький такой, красивый цветок, так я его все время поливал, да любовался на него. Потом мать увезли в больницу. Я помню в садике был, меня соседка окликнула. Я подошел, и она мне сказала:

— Коля, у тебя мама умерла.

Мне было 5 лет, в 41-ом. Ты спрашиваешь: заплакал ли я? Нет. Я вообще не представлял, что это такое «умерла». Я потом на похороны пошел с этим аленьким цветочком. Маме сорвал. Она похоронена на кладбище за Горбатым мостом, но сейчас там и могилы плохо заметны.

Ты, знаешь, Надя, меня ведь милиционер гонял с этого Горбатого моста. В 41-ом было. Как воздушная тревога, так мы с пацанами выбегали на мост — немецкие самолеты смотреть. А милиционер на нас как засвистит! А мы все равно. Страшно? Нисколько! На Вологду ни одна бомба не упала. Ее немцы не могли в лесах найти. Вот такая она зеленая. Ну, а потом детдом. Нас раскидали по разным детдомам. Так я попал в Никольское, в деревню Николу.

Я хорошо учился, отличником был. На Новый год отличникам давали два подарка. Однажды мне не дали два, а всего — один. Моя очередь подошла, мне дают один, я говорю: «Мне два», а та, которая давала, отвечает: «Хватит одного!» Я ушел с одним, но ревел, сильно ревел от обиды. Но вообще-то воспитатели добрые были. Меня одна воспитательница сильно любила. Она потом уехала от нас. Так вот, когда она от нас уезжала, я как раз по кухне дежурил, посуду мыл. Она подошла ко мне, поцеловала в голову и обняла сзади. Я вывернулся от нее и убежал. Вот ведь дурак, даже «до свидания» не сказал. Жалею сейчас, обидел ее тогда.

Ты знаешь, я в детстве красивый был. Это сейчас облысел, а тогда... Иногда сижу в столовой, обедаю, а ко мне подсядет та, которая со столов убирала, и смотрит, смотрит на меня. А однажды сказала: «Ой, до чего же ты красивый! Ну такой красивый, век бы на тебя смотрела!»

Помню еще запах капусты. У нас в коридоре, как с крыльца заходишь, стояла большая бочка с квашеной капустой. Все время стояла, постоянно. Как заходишь с крыльца, а тебе в нос как даст кислятиной! Зимой ночью в одной рубашонке выскочишь на это крыльцо нужду справить, а поблизости волки бродят. Страшно! Не схватят? Еще как хватали! У нас учительницу разорвали, одни валенки нашли в снегу. В школе задержалась, пошла домой, а нужно было через лесок идти, поздно было. Ну и на завтра одни валенки нашли. А молодая была, еще девчонка. Надя, да что тебе рассказывать. Ты и сама должна помнить, сколько волков было в наших лесах. Ты ведь недалеко от меня жила. Верховажье-то от Тотьмы рукой подать. Я однажды вот так выскочил на крыльцо, смотрю, в стороне четыре светящихся точки — два волка. Я — назад! Потом слышал, как они выли. Ой, как они воют! Ты слы-

хала? Ничего подобного я еще не слышал. Кровь в жилах стынет!

Знаешь, я ведь из детдома-то сбежал, и не раз. Надоест — убежишь. Через 2—3 дня или сам обратно придешь, или тебя найдут. Куда сбежал? А так куда-нибудь в деревню, к приятелю. Я ведь тогда не знал, что отец жив. А он, оказывается, потом женился на другой. Мои братья с сестрой у них некоторое время жили, а про меня они думали, что умер. Даже не искали меня. У моего отца от второй жены еще 3 сына родилось: Алексей, Геннадий и Саша. Отец здесь дом купил в Ковырине. Сейчас это Октябрьский поселок. Я потом бывал у них. А тогда не знал ничего. Думал, что круглый сирота. Но зато коноводом был среди ребят. Эх, бывало, как с ребятами рванем в гороховое поле! Ну, как саранча! А бригадир такой долговязый мужик был. Он — за нами, ловить нас. А мы — от него! Бежишь — сердце в пятках, а за тобой вот такими огромными прыжками бригадир! Хорошее время было! Потом еще в Толшме купались, я плавать любил. А то еще играли с ребятами в карты на пайку хлеба. Не хватало? Конечно, не хватало! Надя, какие годы были! Я ведь в бедности рос. Ты, конечно, не знаешь, что это такое. Нет, я не жалею. Хорошо было, все равно хорошо! Ну, а все-таки мы тайком от воспитателей поигрывали на пайку хлеба.

Я семилетку закончил, себя взрослым почувствовал. Поступил в Тотемский лесотехнический, я тебе его показывал, бывший Спасо-Суморин монастырь. Вот там мы с Сережей Багровым бегали по карнизу церкви. Но я сбежал из техникума в Архангельск. Вот тогда архангельский дождик меня донимал. Наступила осень, идут дожди, а я в одном обтрепанном фланелевом костюме и без работы. Вот тогда у меня были тяжелейшие дни.

*Потонула во тьме
Отдаленная пристань.
По канаве помчался —
Эх — осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И порой раздавался
Пароходный свисток.*

*Ну так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!
На тревожной земле
В этом городе мгlistом*

*Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.*

*А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил.
На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...*

Я еле тогда пережил. А потом взяли меня в траловый флот на корабль, вот тогда я ожил. На сушу вышел уже моряком, в морской форме, бывалым человеком себя почувствовал. А все-таки понимал, что мне учиться нужно. Не буду же я все время на море плавать. Через год решил поступать снова. Поехал в Кировск в горный техникум. Знаешь, на пароме через Двину переплывал (раньше ведь моста-то не было), и деньги у меня вытащили. Бичи там такие водились, полно их было на берегу. Это бывшие моряки. Их списали на берег за какую-нибудь провинность, они нигде не работали. Самые настоящие бичи. Жить-то надо, вот они где могли, там и подворовывали. Хватился я денег, а их нет. Что делать? Все равно поехал. А потом уж из Кировска написал своим товарищам. Выручили меня. Собрали деньги, выслали мне. Ой, Надя, ведь это моряки! Какие люди! Пропать не дадут! Вот когда я почувствовал силу товарищества!

Но в горном я тоже учиться не стал. На следующее лето махнул в Ташкент. Денег на билет не было, на крыше вагона ехал. Там со мной еще были безбилетники наподобие меня. Нам проводник кричит: «Слезайте с крыши!», а мы голые до пояса, рубахи сняли. Делаем вид, будто уже совсем от жары изнемогаем, потому и на крышу вылезли. А у самих билетов нет. Ой, как вспомнишь! И унижаться приходилось. К властям ходил, чтоб пятерку дали. Как? А вот так, пришел к горсовет, так, мол, и так: один в чужом городе, денег нет, ехать надо. Так вот вся моя юность в скитаниях прошла.

А перед самой армией я под Ленинградом в Приютине жил, на военном полигоне работал. Тогда я Тайку встретил. За ней многие ребята гонялись. Мне она тоже понравилась. Как увидел ее, думаю, все равно моя будет. Я ее ото всех отбил. Дружить с ней стали. Любил я ее!

Вечером придем с ребятами в клуб, девок еще ни одной нет. Я начинаю на гармошке играть. Специально на улицу выйду, иг-

раю, чтоб Тайка слышала. Потом отдам гармошку приятелю, чтоб тот играл, а сам — к Тайкиному дому. Попроюсь как-нибудь задворками, и прямо — к крыльцу. Туман стоит, вблизи да же плохо видно. Смотрю — стоит Тайка на крыльце в белом платье и гармошку слушает. Она думает, что я играю, а я вот он иде! Сердце стучит, на душе хорошо! Выскочишь из тумана и — к ней. Она вся испугается, а я смеюсь. Хорошо было! А однажды мы с ней поругались. Она от меня побежала за речку, а я за ней на велосипеде. Да прямо на велосипеде в речку трах-бах! Тайка надо мной смеется, а мне не до смеха.

Когда меня в армию взяли, я через сутки к ней из казармы сбежал прощаться. Я ее любил! Она меня ждать обещала. Да что?! Одни обещания! Меня ведь на флот взяли. А там четыре года нужно служить. Долго в отпуск не опускали. Переписывались с ней. Ну, а к исходу 3-го она мне письмо прислала, что замуж вышла. И мне как раз тут отпуск дали. Я поехал. Думаю, все равно зайду к ней, просто зайду и увижу ее. И зашел, Надя! В словах это не передать! Она дома была, как увидела меня, сразу побелела. Я смотрю на нее, а она бледнеет, бледнеет и плохо с ней. Я больше не мог, сразу ушел. Так ничего и не поговорили. Ведь она меня тоже любила, а не дождалась. Как же так? Если бы она знала, что я скоро в отпуск приеду, она бы не вышла. А так не выдержала. Привязался к ней этот ее муж. Мне потом рассказывали, что она жалела меня, а с ним несчастлива была. Сама виновата, Таечка! Да, может быть, так и надо, так и к лучшему. Ну, женился бы я на ней, все было бы хорошо. Ну, а так я страдал, стихи писал, поэтом стал. Дело даже не в этом. Я тебя бы тогда не встретил. Тайку больше тебя любил? Да что ты?! С Тайкой было юношеское. Мне было 18 лет. Что я понимал? И она была девочка, застенчивая девочка, но и только. Надя, ты знай: то, что с тобой, ни с чем не сравнить. Ты смеешься? Не веришь мне? Ну ладно! Не буду, не буду! Но ты знай: уж кого я любил, так это тебя! Не скрою, тогда в Москве ты показалась мне, как и многие другие, мелкой, обыкновенной. Жаль, что тогда у нас с тобой ничего не завязалось. Столько лет мы с тобой потеряли!

Ты знаешь, вот я служил четыре года на флоте. Дальномерщиком был. Это значит, что у меня хорошее зрение. Туда не каждого возьмут. Но все равно! Я ведь не принадлежал самому себе. Одно слово — служил! Дисциплина железная, кругом вода. Потом это все надоело. Правда, я там впервые напечатался в нашей моряцкой газете. И как раз это было на какой-то праздник, кажется, 1 Мая. Корабли стоят праздничные в заливе, солнце такое яркое, и мои стихи в газете. Приятно! А потом гонорар

прислали, еще приятней. Как я был ряд, Надя! Потом мне больше присылали гонорары, а я так не радовался, как тогда первому. Но тогда я плохо писал. Сейчас я нигде бы не напечатал те стихи. Я еще не понимал, еще не разобрался, что к чему. Я с этой морской службы тельняшку люблю. Надо бы купить хоть пару штук. После армии я ведь в Вологду приехал, отца нашел. Это было в 59 году. Мне уже 23 года было, когда с отцом встретился. Ой, как он плакал! Как плакал! Неудобно ему передо мной было. Жить я у них не стал, у него своя семья большая была. Я уехал в Ленинград, на Кировском заводе слесарем устроился, жил в общежитии.

В 60 году, оказывается, мы оба с тобой в Ленинграде жили и даже в одном книжном магазине в одно и то же время были, а вот не познакомились тогда. Магазин был битком набит народом. Помню и Евтушенко, и Романова. Евтушенко еще стихи про Иру читал, а Романов за прилавком стоял. Мы вдвоем с другом были. Потом вышли из магазина, на улице весна, а он мне говорит: «Все равно твои стихи сильнее всех!» Я тогда еще совсем неизвестный был. В литобъединение ходил при заводе. Там всякие чудачки его посещали: однажды вышел такой длинный мужик в больших ботинках и начал читать:

*Я тебе, любимая, написал стихи,
Я в этом деле мастер, хоть и не ахти.*

Гм! Мастер! Да? Вот ведь как заявил! Я в этом деле мастер! Хе-хе. Хотя и не ахти! А ты знаешь, он так серьезно это прочитал! Гра-ф-ф-фоман! До таких не доходило и никогда не дойдет, что такое мастер! Да, вот так. И смех, и грех.

Однажды я был у Г. Горбовского и прочитал ему «Жалобу алкоголика»:

*Ах, что я делаю? Зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм?
Ах, по какому же такому случаю?
Ведь люди борются за коммунизм!*

Ему понравилось, и он попросил продиктовать стихотворение. Я продиктовал, а он напечатал его на машинке. Глеб ведь тогда уже известным был. Он еще раз прочитал стихотворение и сказал: «А ведь ты пишешь сильнее меня». Я с Глебом дружил, хороший Глеб. В Ленинграде я экстерном сдал на аттестат зрелости. Ну и что, как «тройки». Ты пойми: я ведь почти без подготовки!

В 62-м в Литературный поступил. Когда творческий конкурс прошел, тогда уже не страшно было. Этим же летом и в Николе побывал, и с отцом виделся. Отец провожал меня на вокзале, когда я учиться поехал. Он уже тогда болен был, вскоре умер. Я больше его и не видел. Сам больной, а мой чемодан всю дорогу нес до вокзала, мне не дал нести. Я, Надя, думаю так: этим он хотел свою вину передо мной загладить. Ему и пить-то ведь совсем нельзя было. А все-таки выпил со мной на прощанье. У него рак был. Я потом приезжал на его сороковины. Меня положили в отдельную комнату, одного. Мне там тревожно было, заснуть никак не мог. Вдруг слышу стук в окно где-то среди ночи. Так явственно: тук-тук-тук. Я сразу же убежал в другую комнату, не мог больше один оставаться. Надя, я понял: это ведь отец мне стучал! Что ты рукой-то машешь?! Я тебе говорю, что отец приходил. Да! Да!

Да, вот так у меня не стало отца. Но я как-то все это не осознавал. Только уже летом приехал опять в Вологду, тетку встретил, поговорил с ней. Она мне все подробно рассказала об отце. Я вышел от нее, пришел на берег реки и понял, что отца-то у меня нет. Какой ни на есть, а ведь отец был. А теперь его не стало.

А тут вскоре у меня в Литературном не заладилось. Все было в моей жизни, Надя, и драки, и крупные скандалы, и так, что голова болела с похмелья.

*Куда пойти бездомному поэту,
Когда заря опустит алый щит?
Знакомых много, только друга нету,
И денег нет, и голова трещит.*

Хе-хе... Меня ведь на заочное перевели. Куда мне было деваться? Поехал я в Николу. Там уже Лена росла. Жили мы в сельсоветской избе, работать мне было негде. Трудно было. Все на меня смотрели как на тунеядца. Я и есть тунеядец-энтузиаст. Но именно там я написал первую книгу — настоящую. Весь костяк книжки — 50 стихотворений я написал там. Я любил ходить один в поле, в лес. Иногда останавлиюсь где-нибудь на холме: стою, курю, думаю. Увидит меня кто-нибудь из земляков и гадают: что это он там делает? Не иначе, как Гете изменяет, ждет какую-нибудь. Это мне потом сказали. Да, грустно, Надя. Вот так и жил.

Теща у меня была злая до гениальности, злословила талантливо. Ее бы талант да направить в другое русло! Она меня заедала, я ведь помощник им плохой был. Утром как начнет

ухватами греметь! Гремит-гремит. Я думаю: ну, наверное, чего только там не наготовила! Встанешь — один чугунок с картошкой в мундире стоит посреди стола.

Местные власти меня тоже не жаловали. Мол, как так — не работаешь? Ну, приходилось журналы им показывать, где мои стихи печатались. Я ведь уже тогда в столице начал печататься. Иногда Сереже Багрову в тотемскую газетку тоже стихи посылал. Вот так и жил. В горнице иногда сядешь что-нибудь записать на бумаге, вдруг дверь открывается, Ленку мне суют: «Иди к папе поиграй!» Не любил я это, раздражало меня. Я Ленку — обратно в избу, и дверь захлопну. Они же не понимали, думали, что я без дела сижу. Знаешь, в этой горнице я любил сидеть один. Разложу свои бумаги на столе, сяду под окошко, смотрю на реку. Сижу, думаю. Такой зеленый косогор перед окном, солнце, река... Летом хорошо в Николе. Зимой я тосковал. Пустынно, снег кругом, не с кем слова сказать. Гета? Ой, Надя, зачем спрашивать? Гетка баню хорошо топила. Вот уж всегда истопит баню, когда я возвращаюсь из долгих странствий. Сразу первый вопрос: «Ну, что? Баню затоплять?» И пойдет затопит баню. Если меня осень или зима в Николе застигали, то я там сидел безвылазно. Бездорожье, никакого сообщения с миром! Даже на сессии опаздывал. Меня ведь даже из института отчисляли. Не явился на сессию и все. Правда, потом восстанавливали. Да, Надя, собственно, как я учился? Я не учился, а учил. Я других учил, а не меня учили. Иногда на семинаре не выдерживал, спорил. Они — Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. А я — Пушкин, Лермонтов, Блок. Я за русскую классику ратовал. Вот у кого нужно учиться, у наших классиков!

Однажды пригласили к нам в институт Сергея Городецкого. Он такой старенький, худенький, глазки голубые, водянистые. Моргает глазками, что-то говорит еле внятно, начнет говорить — забудет, долго вспоминает. Ему кричат: «Расскажите про Есенина!» Вот он начал: «Вот мы с С. Есениным то и то, так-то жили...» В аудитории кричат: «Громче! Не слышим!» А он громче не может. Так он и ушел. Я его проводил, одеться помог. Я на него с почтением смотрел, ведь Городецкий, можно сказать, живая история, друг Есенина. А он на меня так пристально посмотрел своими голубыми глазами, сказал: «Спасибо Вам, молодой человек!»

Надя, а знаешь, как я с Яшиным познакомился? Я ему рыжиков привез. Позвонил по телефону, сказал кто и откуда. Он меня пригласил в гости. Вот я с рыжиками и заявился. Стихи ему свои читал. С тех пор частенько бывал у них, даже жил иногда. Семья у них большая, детей много было. Жена у него Злата Кон-

стантиновна. Она ведь тоже поэтесса, но она всю себя Яшину посвятила. У них ведь страшная трагедия в семье была: старший сын застрелился в кабинете отца. Потом В. Тушнова умерла. Это его совсем доконало. Без Вероники он осиротел. Любил он ее! Ты знаешь, он говаривал: «Это я ее поэтессой сделал». Она ему много стихов посвятила. А у него вот этот цикл «Ночная уха» — о ней. Сильнейшие стихи. Эх, Александр Яковлевич! Был бы ты сейчас жив! Ты никогда его, Надя, не видела? А жаль! Жаль!

Однажды мы идем с Е. Исаевым по Тверскому, навстречу — Яшин со Златой Константиновной. Было это весной где-то в марте — апреле 1968 года. Он уже сильно болен был. Оказывается, его клали в больницу, есть такая на Каширском шоссе. Они шли к памятнику Пушкину. Мы тоже с ними пошли. Постояли у Пушкина, хотели еще «Шампанского» выпить, но раздумали. Потом растались. Знаешь, что я сказал Исаеву? Я сказал: «Яшин приходил к Пушкину проститься!» И точно, Надя! Он приходил проститься с Пушкиным.

Потом он лег в больницу и оттуда уже не вышел. Он знал, что не выйдет. В июле умер. Я видел его мертвым. А знаешь, как было?

Услышали мы эту мрачную весть, я пришел к Яшиным. Там уже Вася Белов приехал из Вологды. Злата Константиновна печальная сидит, тишина такая, сумрак в квартире. Потом поехали в больницу. Приехали, мне надо было позвонить. Я зашел тут в одно помещение. Открыл дверь, смотрю на полу лежит мертвый Яшин, весь голый. Оказывается, я в морг попал. Я тут же повернулся, вышел и пошел, и совсем ушел. Не мог я видеть его мертвым, это было выше моих сил. И на похоронах не был. Ведь как он жить хотел. Жить хотел, чтобы писать, писать!

Но Русь жива. Еще Шукшин есть! Василий Шукшин, он еще развернется. Я был в его Сростках. Тоже был скиталец и бездомник, как я.

Однажды ехал из Москвы. Ленке кое-что из одежды вез. Присел в Вологде в скверике на скамейку. Раскрыл чемодан, хотел было подкрепиться, вдруг слышу: «Коля». Оглянулся, — стоит в кустах мужик, я его не знаю. «Коля, иди сюда». Я подошел. Руку мне протягивает: «Здравствуй, Коля. Не узнаешь?» Я говорю: «Нет, я тебя не знаю». «Ну, а я тебя сразу узнал!» Тут я оглянулся на чемодан, а его уже нет на скамейке. Другой мужик с ним убегает, я рванул за ним. Бегу — вдруг милиционер. Схватил меня, я ему говорю: «У меня чемодан украли. Мой чемодан!» Где там! А у меня там была рукопись прозы о флотской жизни. Навсегда пропала теперь. Меня же и в КПЗ посадили. Вот мы сидим в КПЗ с одним мужиком, есть хочется! Мужик говорит: «У

меня есть хлеб и соль, а кипяточку горячего попроси у дежурного». Вот так иногда рад бываешь кипяточку с хлебом да солью. Да еще вкусно-то как.

Ну, меня тогда отпустили вскоре, разобрались. А чемодан я так и потерял. Но что жалко, так это фотографий. Там много моих фотографий было.

Когда у меня должна была выйти книга, я в Вологду приехал. Решил здесь насовсем остаться. Целую зиму жил у Бори Чулкова. Вот уж он действительно меня поддержал. И материально, и душевно. Поддержал в трудные времена.

Ну, а здесь я с весны 69 года. Эта пещера мне нравится: на 5 этаже, в углу, выше надо мной уже никого, кроме бога. Я вот подумываю, стены в красный цвет выкрашу, и будет настоящая башня смерти. Жить надоело и умирать страшно. Такое у меня сейчас состояние.

*Живу в предчувствии осеннем,
Не самых лучших перемен.*

Да! Вертинский пел в свое время: «Мадам, уже падают листья». Я спел бы по-другому: «Мадам! Уже падают бомбы!» Я скоро умру и больше не буду поэтом. Пойти, что ли, в библиотекаря? А? Буду читать детям сказки, стихи. Вот как ты. Но меня уже не вычеркнуть из русской поэзии. Нам нужно иметь сотню прекрасных стихов. Одну сотню, но прекрасных. Этого хватит. Как Фет, Тютчев. Я их, кажется, имею. И мое имя переживет меня».

Дочитав, Колябин долго сидел молча. Время словно перестало для него существовать. Противоречивые чувства обуревали его.

С ними он и встретил новое утро.

ЭПИЛОГ

Незадолго до своей кончины Решетов позвонил Мише на работу и попросил заглянуть.

Стояли морозные дни января. Закуржавевшие березы цепенели в глубоком снегу аллей. Торопливые шаги спешащих прохожих слышны были за квартал. Оконные стекла в домах походили на оцинкованное железо, и нередко по ним тюкали замерзшие синички — просили подаяния. Сердобольные люди открывали форточки и насыпали на подоконники пшено, хлебные крошки или перловую крупу. Холодно и несыто было в мире, трудно в такую пору одному, без поддержки, тепла, понимания...

Решетов сидел в кресле нахоженный, на плечах шерстяной плед, от прежней говорливости и энергии остались крохи. Теперь только задавал вопросы и слушал. Ангелина Ивановна неотступно сидела при нем, но обычно в сторонке, на отшибе, и в разговорах почти не участвовала.

— Что долго не заходил-то? — пожимая руку, с укором посмотрел на Мишу Колябина.

— Весь в делах — служебных да семейных, — объяснил Колябин.

— Хоть бы дочку пришел показать.

— Потеплее будет — приведу, — пообещал Миша.

— Молодец, парень. И с третьим не тяни. Когда много детей в доме — он живет, а то что вот вдвоем остались, — и он ско-сил глаза на Ангелину Ивановну, но та не откликнулась.

— Так что, поставили памятник на родине? — спросил он и серьезно глянул на Колябина.

— Да, на берегу Сухоны. Двухметровый. Вот, захватил фотографии, — и Миша достал из кармана толстый пакет.

— Хорошо. И место выбрали достойное. И памятник могуч, — похвалил Решетов. — Дождался Николай Михайлович. И народу-то, народу сколько!

— По существу народный праздник был. Речи, песни, декламация, фольклорные ансамбли...

— Так что, и детдом, говорят, реставрируют? — задавал за вопросом вопрос Алексей Петрович.

— Первый мемориальный детдом в стране, вырастивший выдающегося поэта, — погордился Колябин.

— Ну, а с изданием — что?

— На сегодняшний день тираж перевалил за пять миллионов, а все не хватает. В двадцати странах запланированы издания.

— Вот так! — покачал головой старый писатель. — А что при жизни видел, бедняга?...

— Открылась выставка, посвященная 50-летию. Проведены юбилейные вечера в ЦДЛ, снят часовой телефильм, десять часов продолжалась научная конференция в Ленинградском университете... и многое другое.

— Жаль, старость и нездоровье мешают... А то везде бы побывал, — вздохнул Решетов.

— Готовится вечер и у нас в Политпросе. Доклад сделает секретарь обкома по идеологии. Думаю, здесь-то сам бог велел вам выступить, — испытующе посмотрел Колябин на старика.

— Соберусь с духом и приду, — пообещал тот. — А ты скажи, что слышно о душегубке-то? Или как он называл — Козырная дама?

— Живет в Ленинграде. Работала одно время в библиотеке

Академии наук. Видимо, вышла замуж, потому что видели с фингалом под левым глазом. Значит, попало с правой стороны.

— Кто же ее в Академию-то устроил? — удивился Решетов.

— Похоже, снова на горизонте выплыл Голубь, помогает устроить судьбу «настрадавшейся женщине».

— Эти устроят, — протянул Решетов. — Ее саму-то, дуру, пользовали, как хотели, почувствовали дурной порывистый нрав... Недруги никогда не дремлют. Почувствовали и воспользовались возможностью, что нашли подходящее оружие. Она даже осознать этого по глупости не смогла.

— Не знаю, Алексей Петрович, так ли, — рассуждал Колябин. — Я читал ее записки. Мне думается, она знала по стихам его настрой, кладбищенские мотивы и поняла, что тут помощи чуть-чуть, и все случится само собой. И от вина не отучала, врет все. Скорей наоборот — поощряла!

— Конечно, полную правду знали только двое, но один в земле, а вторая не откроет. И правда, что присутствуют тут, кроме прочего, — Моцарт и Сальери..., — согласился Решетов. — А позвал я тебя, чтоб вместе сходить на могилку да помянуть. Пора отдавать последние долги.

Колябин почувствовал жуткую правду сказанных слов и не стал перечить.

— Так она все же пишет и, говорят, рвется напечататься? — спросил снова Решетов.

— Еще как рвется! Записки свои распространяет среди известных литераторов. Видимо, надеется, что если не здесь, так, может, за кордоном опубликуют.

— А что — могут! — подтвердил Решетов.

— Поэтому и надо разоблачить их как можно оперативнее, — с жаром заговорил Колябин. — Чтоб люди знали изначальную правду. А то уже один столичный мэтр написал в наше издательство рекомендательное письмо. Мол, стихи ее вполне можно печатать, это, мол, письменно подтверждал сам Рубцов, и если бы он жил, простил бы ее...

— Спекулянты, — выругался Решетов. — Они и тут все за него решили и по-своему оценили. Ничего, эта баба, может, кому-нибудь и из них голову окрутит. С нее станет...

— Не заржавеет, — согласился Колябин. — Она даже, сидя в тюрьме, написала несколько писем с угрозами тем свидетелям, которые на суде выступали не по ней. Говорят, в карцере за это отбывала. А еще слышал от работников тюрьмы. Стояли заключенные в очередь в прачечную. Д... отошла куда-то, а на ее место встала другая. Та вернулась, увидела, что ее место занято, — и сразу за глотку бабенку-то. Едва отташили...

— Все-таки ненормальная она,— заключил Решетов.— Есть что-то звериное.

— И с этим зверем в одном городе живет дочь Рубцова. Вот жизнь!..— покрутил головой Колябин.

— Не слышал,— нахмурился Решетов.— Что за новости?

— Ну, мать-то вышла замуж. За какого-то тракториста. Тот, конечно, попивал, но своего ребеночка сочинил, и девочку забрала к себе бабушка. Лена хорошо закончила школу и захотела в Ленинград. Поступила в полиграфический техникум, получила диплом, теперь работает в каком-то издательстве.

— Возможно, батюшкины книжки придется печатать,— улыбнулся по-доброму Решетов.— Ну, что ж! Она вправе выбирать свою дорогу. Гонорары за отца идут хорошие. Будет с умом жить — надолго хватит. Лишь бы не позорила такого отца...

— А убийца-то приходила в Ленинградский университет на конференцию по творчеству Рубцова,— сказал, погодя, Колябин.

— Да ну? — не сразу поверил удивленный Решетов.

— Мне рассказал Александр Романов. Он там выступал.

— Все по-Достоевскому. Тянет преступника-то, тянет...

— Говорит, раздеваюсь,— продолжал Колябин.— Вдруг вижу — Д... Растолстела, подурнела, но такая же огненно-рыжая. И они встретились глазами. Она замерла сначала, оторопела, а потом резко опустила голову и — шмыг в толпу. Народу в раздевалке полно. Затерялась. Но он, сидя в президиуме, все-таки взглядом отыскал ее. Сидит с краю, около прохода, недалеко от дверей. Голову опустила, ни с кем в контакт не вступает, слушает. А они тайну поэзии Рубцова десять часов разгадывали, да так и не разгадали. Только прозвенел звонок на перерыв, она резко встала, выскочила в вестибюль — и больше не появлялась.

— Значит, с его дочерью в одном зале сидели,— покачал головой Решетов.— Невероятно!

Когда приехали на кладбище, день был в разгаре. Морозное солнце стояло недвижно над тихим местом, словно не решаясь обогреть его чрезмерно, чтоб люди помнили, куда пришли, и не очень размягчались да раскутывались.

Над заиндевелым бронзовым обликом Рубцова сидел нахохленный голубок и доверчивым глазом спокойно наблюдал за пришельцами. Могила была прибрана; видно, люди недавно навещали, и Решетов высыпал на очищенное место крупу, поданную еще дома Ангелиной Ивановной (с собой он ее не взял), и голубок, почти не остерегаясь их, слетел и начал клевать.

В заснеженном саркофаге стояли два горшочка с живыми — вернее, застывшими — фиалками. В стороне торчал стакан с замерзшей темной жидкостью.

— Тоже дань народа, — недовольно проворчал Решетов и поставил посудину за стелу, с глаз долой, а цветочки приподнял и установил на обметенный мраморный бортик. — Вот это другое дело!

— И ведь так всегда, Алексей Петрович, — сказал Колябин, — как ни приду — стоят живые цветы! Хотя никто не организовывает, мероприятий не проводит.

— Ты напомни-ка мне его «Тихую родину», — попросил Решетов. — Самое место, по-моему. Очень уж я люблю эту вещь.

Миша, несколько помолчав, прочел:

*Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.*

*— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу, —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.*

*Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.*

*Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.*

*Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!*

*Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.*

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

— А я тебе отвечу твоим любимым стихотворением «Посвящение другу»,— и Алексей Петрович хрипловато, но точно и четко, с потаенной и, видимо, укоренившейся верой не то чтоб прочел, а продышал:

*Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины.
За ограду летят лепестки...*

*Нет, меня не порадует — что ты!
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.*

*Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои,—
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!*

*Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.*

*Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...*

*Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!*

И, переведя дух, глянул снова на фиалки, сказал:

— А то, что у него всегда цветы — это прекрасно! Так и должно быть. И так будет! Потому что его бессмертие — только начинается...

**ФОТОГРАФИИ
ИЗ АРХИВОВ ДРУЗЕЙ**

В минуты музыки печальной.

В минуты музыки печальной.
Я представляю желтый снег,
И голос женщины прощальной,
И шум порывистых берез.

И путь без солнца, путь без веры
Топающих ветром исуровей;
И первый снег под небом серым
Среди погнувшихся трав ...

Давно душа блуждала усталая
В белой любви, в белой хмели,
Давно плечей пора настала,
Ты слишком прирадела любви.

Но все равно в песенках эвских -
Попробуй их кисточкой! -
Переключалась, таяла в эвских
О желтом снеге, о любви.

И все равно под небом низким
Я высту лютневенно, до слез,
И желтый снег, и голос близкий,
И шум порывистых берез.

Как будто ветер нас прощальной,
Как будто в окне мы учили.
В минуты музыки печальной
Не говорите же о нем ...

31/V - 66 г.



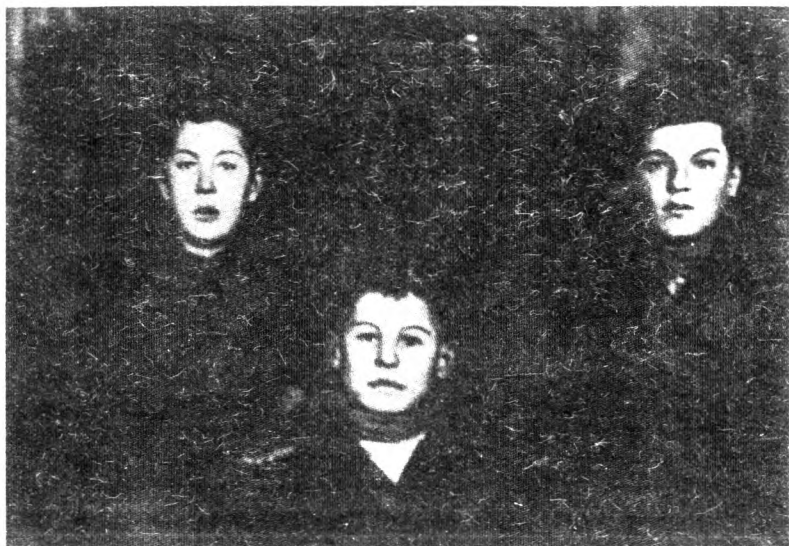
Родственники поэта. В центре отец



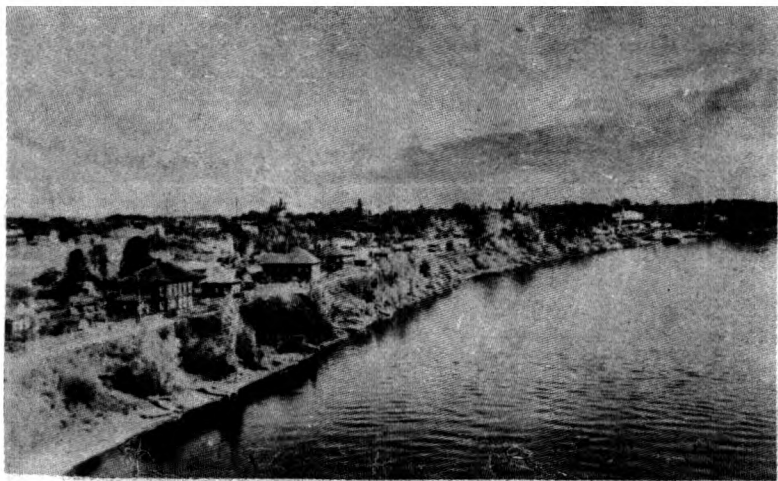
Перевоз на реке Сухоне близ Тотмы



Н. Рубцов в юности



П. Рубцов в Никольском детдоме среди сверстников (в центре)



Вид на Тотьму



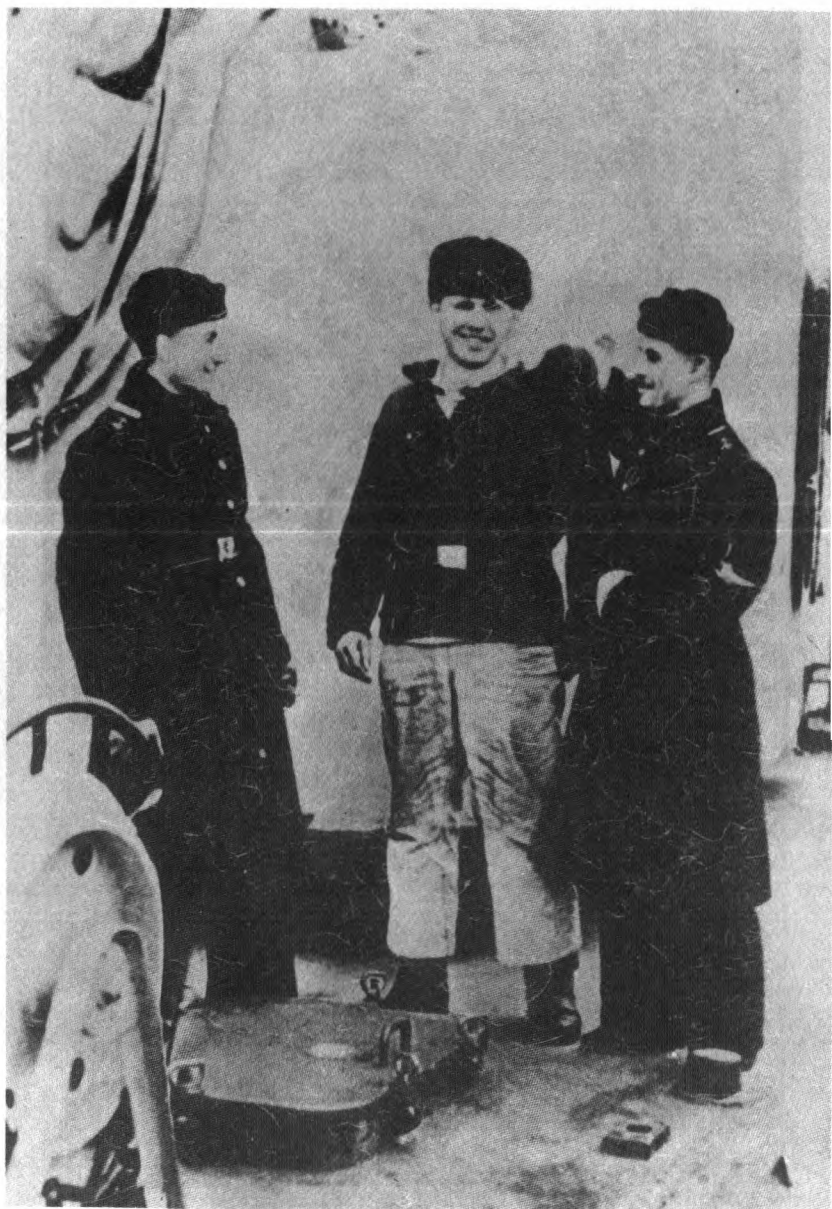
С мечтою о море



Детдом в селе Никольском, перестроенный в 80-х годах



На родной земле



Николай Рубцов — военный моряк (крайний справа)



Среди флотских товарищей (Н. Рубцов крайний справа)



В минуты отдыха (Н. Рубцов с гармонью)



На вахте



На корабле (присел крайним справа)



Стоят слева направо: Л. Беляев, В. Белов, В. Коротаев, А. Романов, А. Яшин,
Р. Щербаков, Г. Соколов
В нижнем ряду слева направо: Н. Рубцов, Б. Чулков, С. Чухин



В. Коротаев и Н. Рубцов



Николай Рубцов и Сергей Чухин



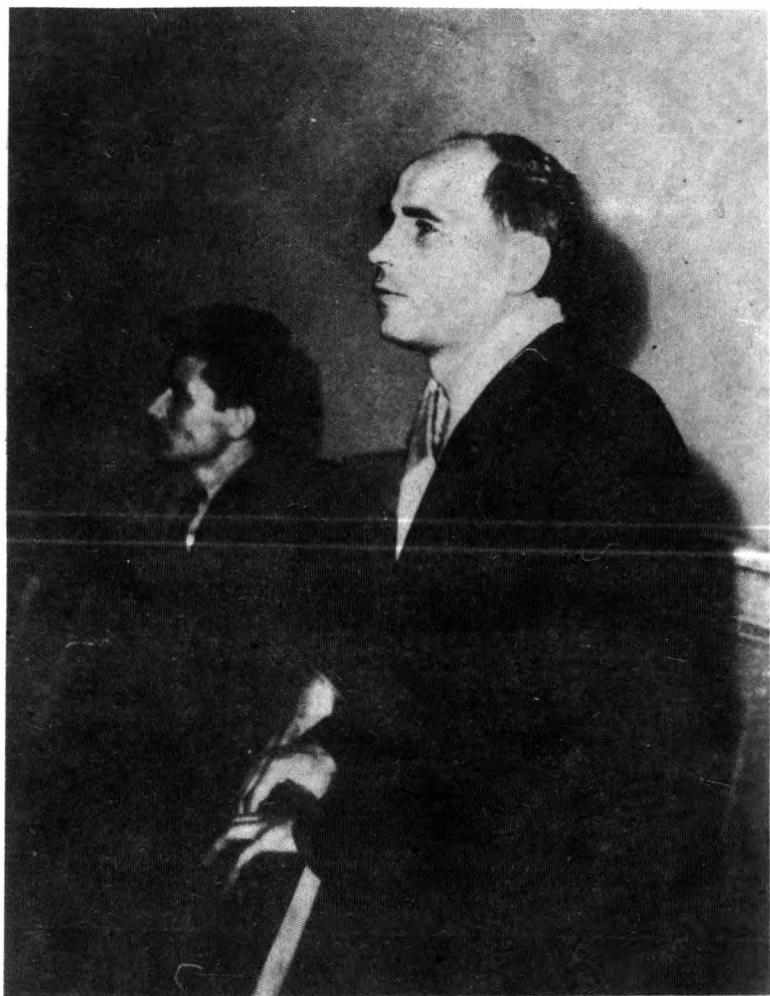
А. Романов, Н. Рубцов, В. Астафьев



А. Кузнецов, М. Кузнецова, Н. Рубцов



На поэтическом семинаре



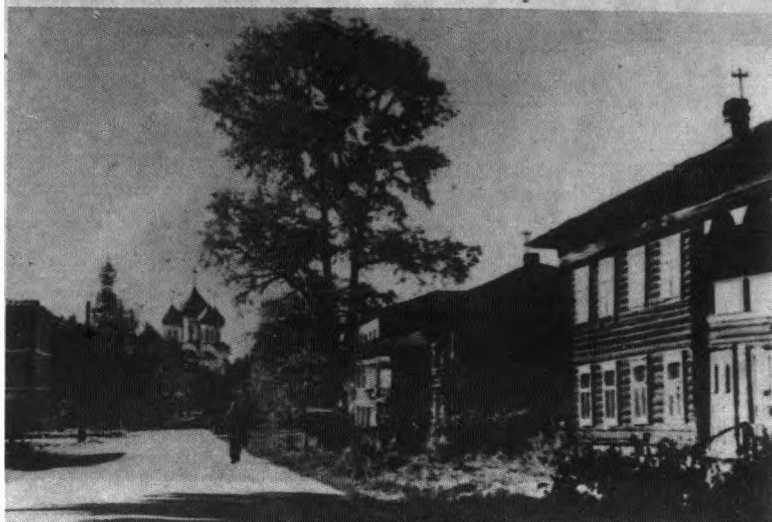
На поэтическом семинаре (слева Л. Фролов)



Участники поэтического семинара (Н. Рубцов второй справа)



А. Сушинов, А. Шилов, Н. Рубцов (слева направо)



Вид на Вологодский кремль и Софию



В доме политпроса. Н. Рубцов в центре



Б. Чулков и Н. Рубцов



С художницей Генриеттой Бурмагиной



В семье Астафьевых



Слева направо: И. Астафьева, В. Коротаев, М. Корякина, Н. Рубцов, В. Астафьев



На Цыпиной горе, Кирилловский район. В. Вахромеев, Э. Федосеев, Н. Рубцов



С неразлучной гармонью



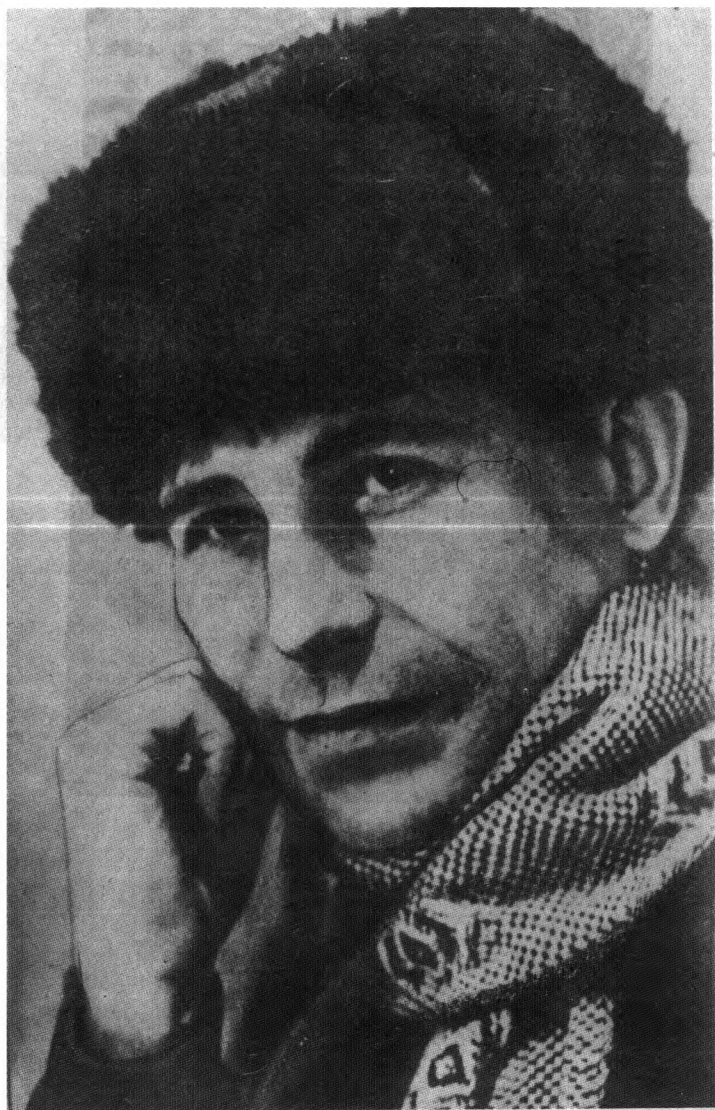
Н. М. Рубцов в 60-е годы



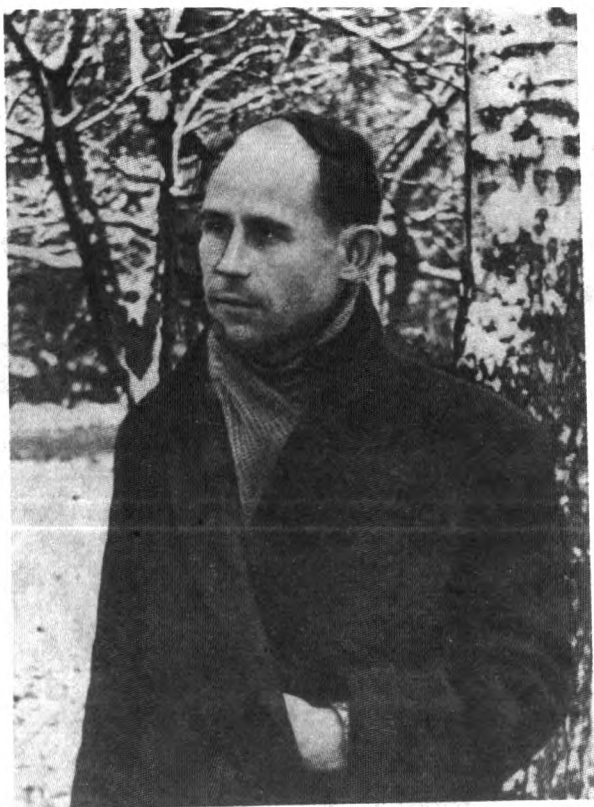
На перекуре



На родине не холодно



В минуты раздумья



В зимнем лесу



Н. Рубцов. Снимок 60-х годов



Слева направо: А. Сушинов, Н. Рубцов, А. Шилов, А. Кузнецов, В. Корбаков



В Кириллове, 1967. В. Белов, Н. Рубцов, В. Коротаев



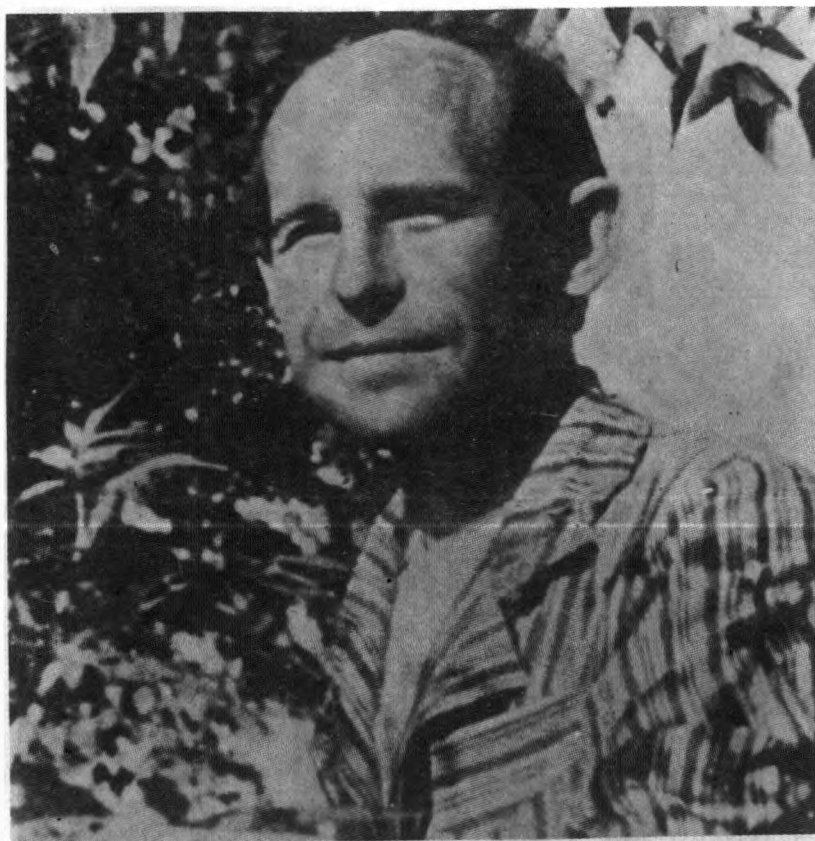
Н. Рубцов, А. Кузнецов



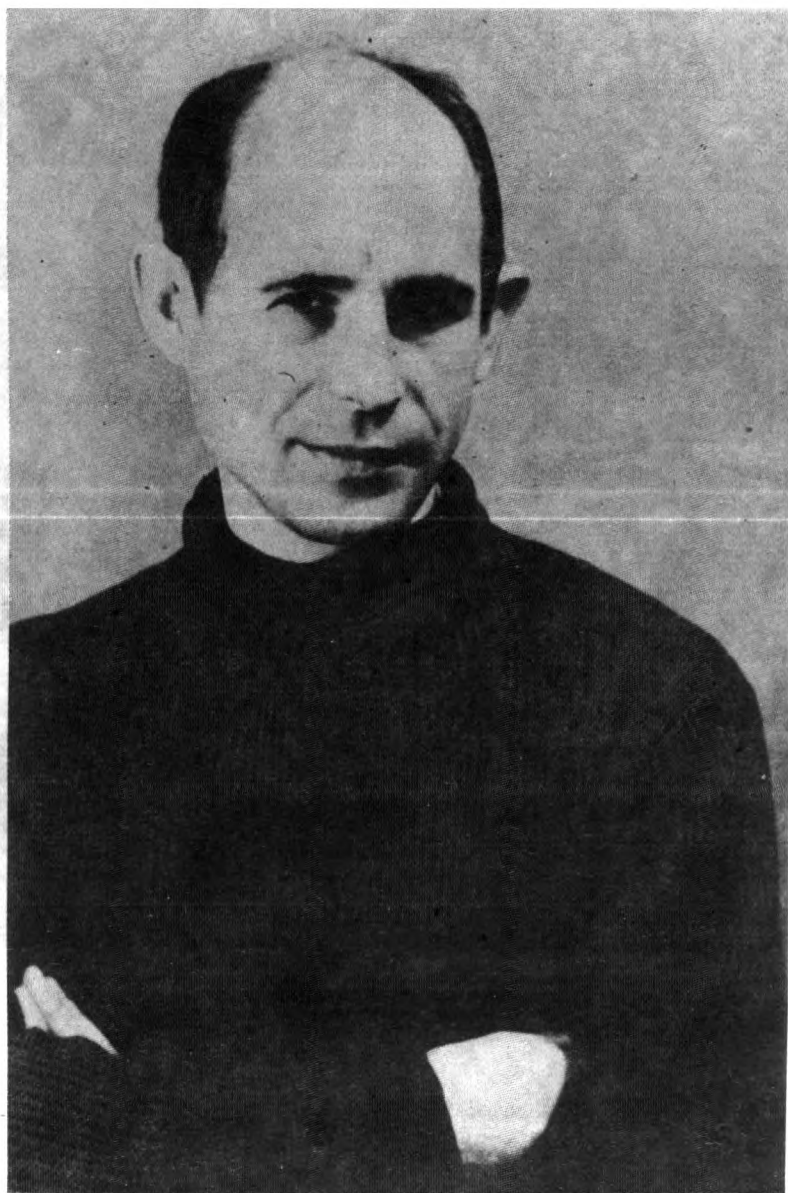
Н. Рубцов, В. Коротаев



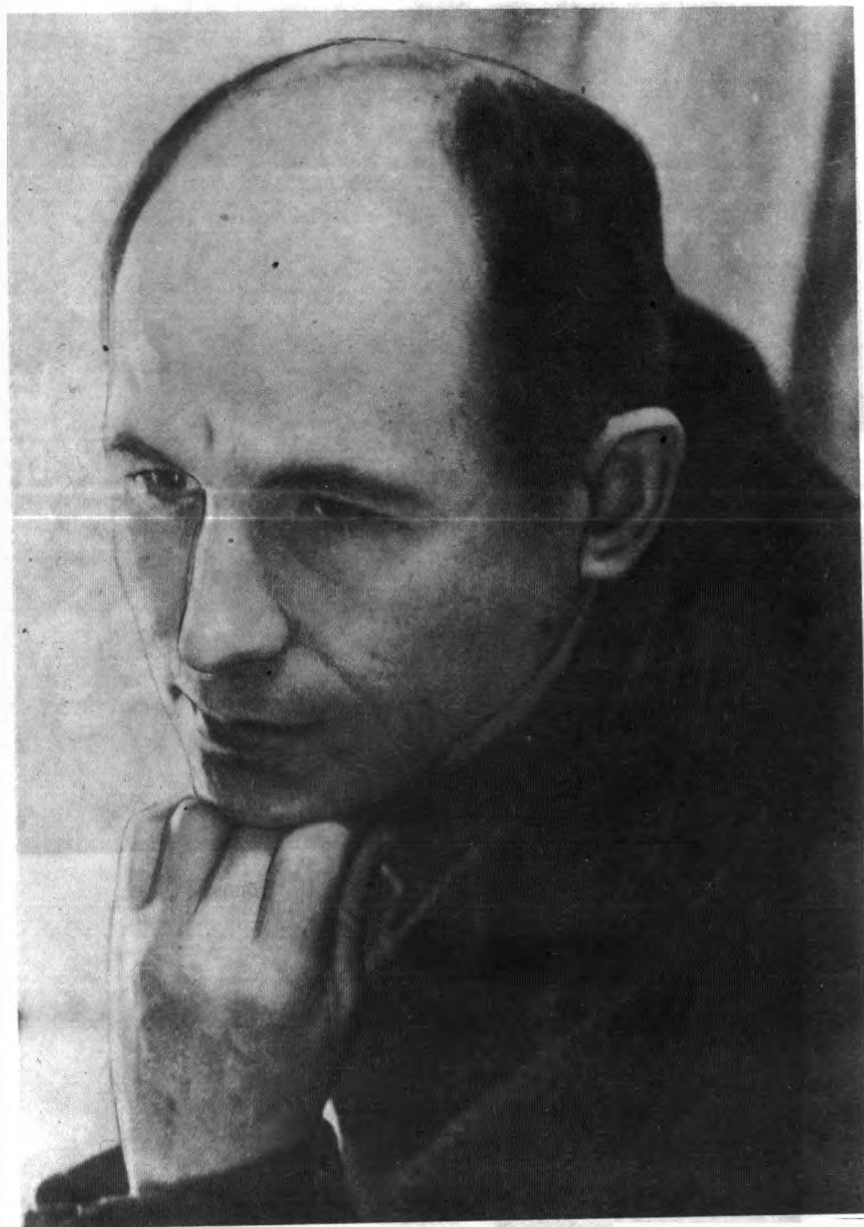
А жизни оставалось немного



В больнице



Одна из последних прижизненных фотографий



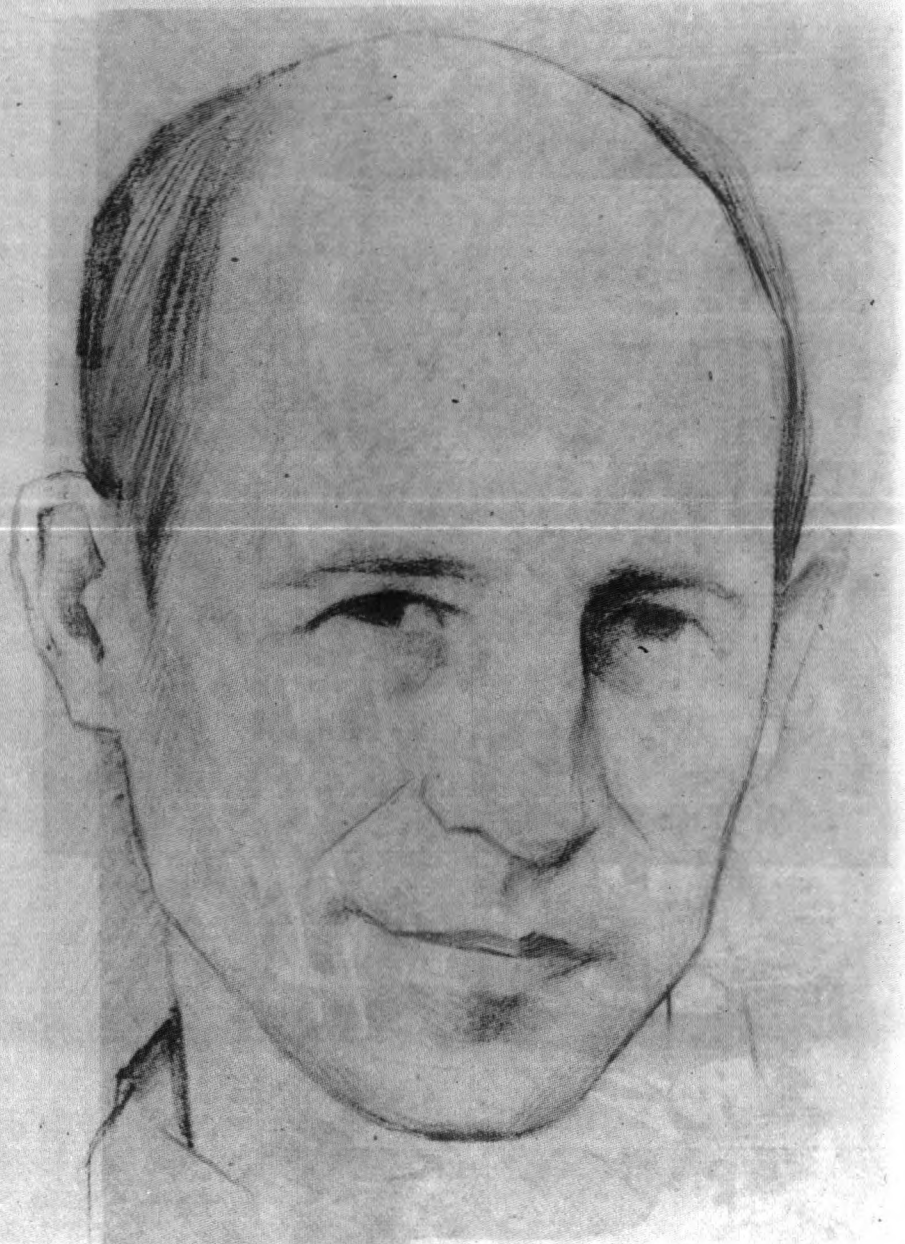
В минуты музыки печальной...



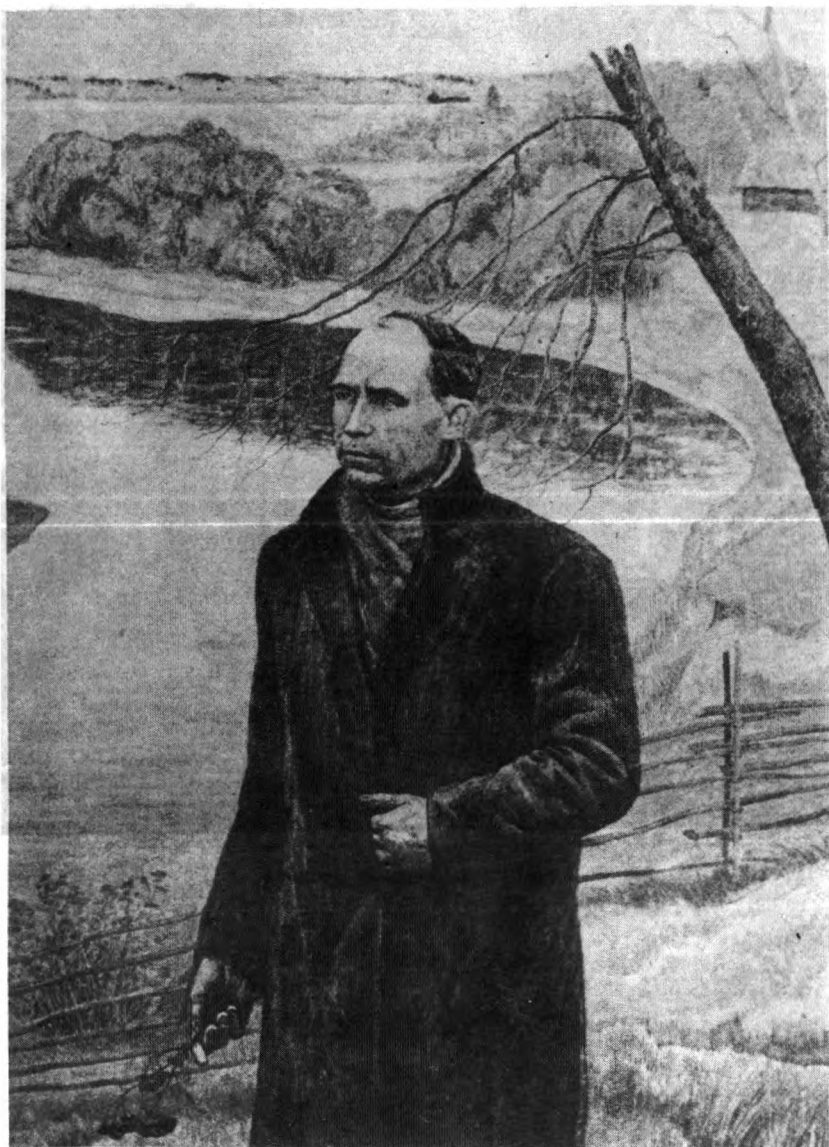
В. Белов у гроба поэта Н. Рубцова



А. Романов у могилы Н. Рубцова



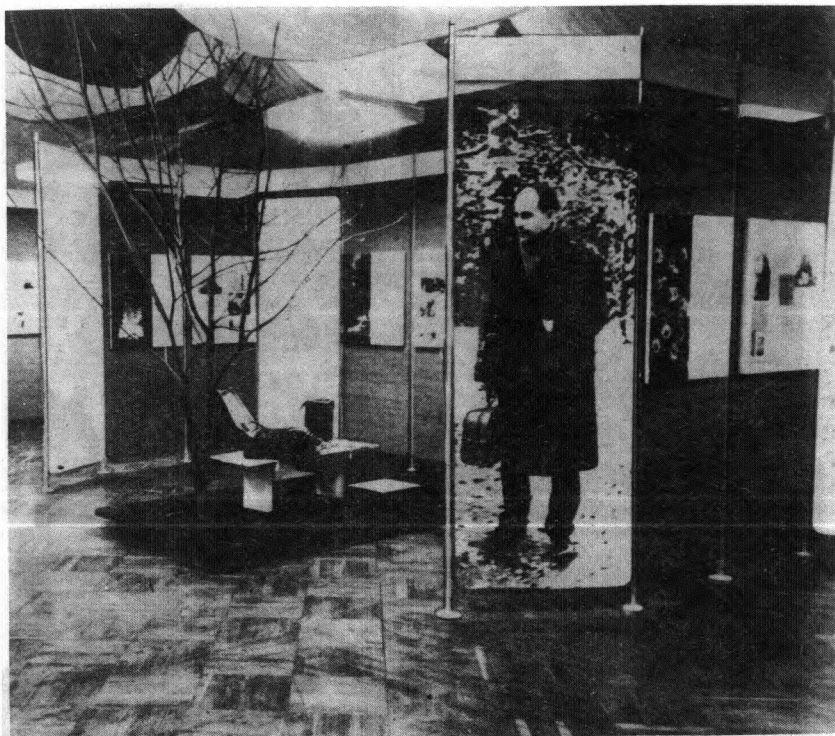
Портрет Н. Рубцова работы художника Вл. Сергеева



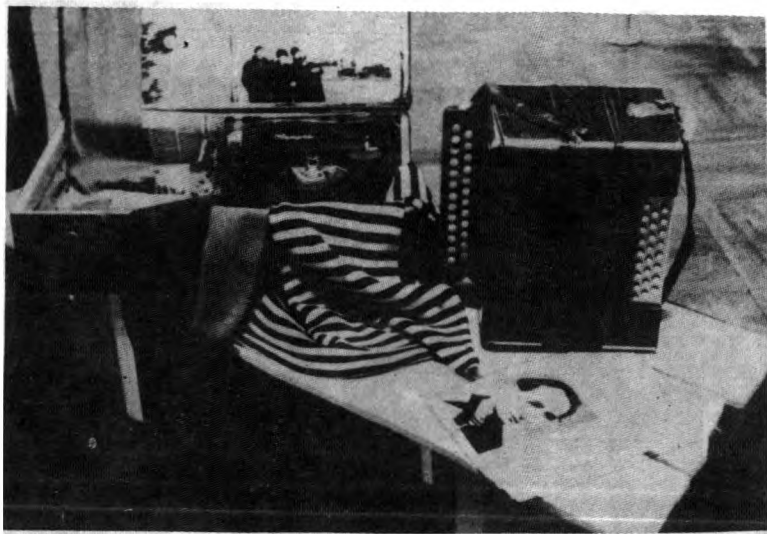
Картина «Поэт» работы художника Евг. Соколова (фрагмент)



Вечер памяти Н. Рубцова



В музее Н. Рубцова



Уголок рубцовой экспозиции. Гармонь, подаренная Н. Рубцову В. Беловым

Мемориальная доска на улице поэта





Памятник поэту в Тотъме работы Вяч. Клыкова

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Часть 1. ЖИЗНЬ | 3 |
| Часть 2. СМЕРТЬ | 131 |
| Часть 3. БЕССМЕРТИЕ | 196 |
| Фотографии из архивов друзей | 255 |

Коротаяев В. В.

Козырная дама: Почти документальная повесть с эпилогом о том, как убили поэта Н. М. Рубцова, — ИЧП «Крис-Кричфалуший», 1991. — 304 с., 3 л. ил.

В народе слишком долго и много ходило кривотолков о кончине Николая Рубцова.

Виктор Коротаяев был непосредственным участником судебного процесса над убийцей выдающегося поэта и имел доступ к документам этого закрытого дела.

В издании отражены последние годы жизни Н. М. Рубцова, его безвременная смерть и документы процесса.

ISBN 5-86402-001-X

Редактор *А. В. Давыдова*
Технический редактор *Н. И. Быкова*
Корректор *Л. А. Марина*

Сдано в набор 28.06.91. Подписано в печать 21.08.91. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага писчая. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,67. Уч.-изд. л. 19,40. Тираж 100000. Заказ 4254. Цена договорная.

ВПО. Областная типография, 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.